

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ДОСТОЕВСКИЙ

—

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ



ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
Ленинградское отделение
1980

ОТ РЕДАКТОРА

Четвертый том «Достоевский. Материалы и исследования» в основном построен по типу трех предыдущих. Он состоит из четырех разделов: «Статьи», «Сообщения. Заметки», «Из научного наследия», «Новые материалы».

Ссылки на произведения Достоевского даются по изданиям: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Т. 1—19. Л., 1972—1979 (при цитатах указываются арабскими цифрами и том, и страницы); Достоевский Ф. М. Полн. собр. художественных произведений. Т. XI и XII (Дневник писателя), XIII (статьи). М.—Л., 1926—1930 (при цитатах указываются римскими цифрами том, арабскими — страницы). Письма цитируются по изданию: Достоевский Ф. М. Письма. Т. I—IV. М.—Л., 1928—1959 (при цитатах: П., том — римская цифра, страница — арабская).

В редакционно-технической подготовке рукописи настоящего тома ближайшее участие принимала Г. В. Степанова.

Редактор IV тома

Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

ДОСТОЕВСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Вып. 4

Утверждено к печати

Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР

Редактор издательства *К. Н. Феноменов*. Художник *Л. А. Яценко*

Технический редактор *Н. А. Кругликова*

Корректоры *З. В. Гришина*, *Ф. Я. Петрова* и *А. Х. Салтанаева*

ИБ № 9005

Сдано в набор 28.09.79. Подписано к печати 21.02.80. М-36518. Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 18=18 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 20.24. Тираж 25050. Изд. № 7452. Тип. зак. 760. Цена 1 р. 90 к

Издательство «Наука», Ленинградское отделение

199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»

199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

Д 70202-524
042 (02)-80 532.80. 4603010101.

© Издательство «Наука», 1980 г.

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО
К Н. Н. СТРАХОВУ**

(Публикация Г. Ф. Коган)

Четверг 27 сент<ября> <18>73

Любезнейший Николай Николаевич,

Вы верно *забыли* о двух № обещанных Вами для последней странички (из газеты: *наплевать* на этих господ). А между тем «Последняя страничка» составлена именно ввиду этих 2-х №. Таким образом типографс<кая> задержка: нельзя ни набрать, ни навестать статью. Сделайте милость доставьте поскорее (ведь это только несколько строк!) в Редакцию. Вы не поверите, как это важно в общей типографской работе! Притом если теперь не доставите, то на следующую неделю будет уже поздно — *застарелая выписка* из газет.

Ваш весь

Ф. Достоев<ский>.

Письмо написано в первый год редактирования Достоевским «Гражданина». В то время на него падала основная работа по подбору статей, писанию редакционных обзоров, фельетонов и заметок, просмотру газет для извлечения из них злободневного материала, по составлению очередных номеров и расчетам с авторами (см. записные тетради Достоевского 1872—1875 гг. и примечания Г. Ф. Коган к ним — Лит. наследство, т. 33. М., 1971, с. 289—348). «Читатели, которые вздумают перечесть „Гражданин“ за этот год, тотчас увидят, как много старания и труда положено было на журнал его редактором. Заботливость была величайшая», — отмечал Н. Н. Страхов (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 299).

В письме, судя по дате — 27 сентября, речь идет о № 40 «Гражданина», который должен был выйти в понедельник 1 октября. Письмо написано в четверг. В этот день Достоевский обычно занимался составлением плана очередного номера. В летние месяцы он специально приезжал для этой цели в Петербург из Старой Руссы. В «пятницу ночью <...> прием статей»

уже заканчивался, и еженедельный номер «Гражданина» изготовлялся, по свидетельству метранпажа, в три дня (см. об этом: Лит. наследство, т. 83, с. 304, 309; П., IV, с. 298).

Отдел «Последняя страничка» появился в «Гражданине» впервые 10 сентября (№ 37), Достоевский постоянно заботился об этом отделе, редактировал его и участвовал в нем как автор. Его перу принадлежат некоторые анонимные фельетоны для «Последней странички» (см.: XIII, 473, 604; Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, 573—585).

В этом отделе наряду с заметками о нравственном состоянии различных сословий современного общества, фельетонами и краткими зарисовками бытовых сцен, записанных сотрудниками редакции «с натуры», приводилось немало курьезных материалов из различных газет или давались отклики на них. Так, например, в № 37 подверглись осмеянию газеты «Голос» и «Неделя», в № 38 — газета «Новости».

Для № 40 Достоевский готовил подборку материалов из «Петербургской газеты». Почти в каждом номере ее «Гражданин» подвергался насмешкам. Немало выпадов «Петербургской газеты» было направлено против самого Достоевского и как редактора, и как автора «Бесов» и «Дневника писателя» (см.: Петербургская газета, 1873, № 41, 52 и 56. Так, например, в № 77 от 22 сентября говорилось: «... г-н Достоевский по-прежнему „бесится“ в „Гражданине“»).

Выступление «Гражданина» против «Петербургской газеты» в «Последней страничке» № 40 начинается с выписки из передовой статьи «Петербургской газеты» (1873, № 79), написанной С. Н. Худековым по поводу происшедшего в те дни убийства в гостинице «Бель-вю», явившегося предметом оживленных толков в периодической прессе. Об этом гнусном и бесчеловечном убийстве, жертвой которого стала жена известного сотрудника «С.-Петербургских ведомостей» А. С. Суворина (выступавшего в них с фельетонами под именем «Незнакомца» и на участие которого рассчитывал Достоевский и в «Гражданине» — см.: Лит. наследство, т. 83, с. 301), писал и «Гражданин» 24 сентября 1873 г. (№ 39). Но статья Худекова, появившаяся в «Петербургской газете» 25 сентября, вызвала в «Гражданине» острое негодование. Помещенная в «Последней страничке» под заглавием «Столпы петербургского радикализма» выписка из статьи Худекова, писавшего, что катастрофа в Бель-вю «никому не причинила *социального* (?) огорчения», но скорее возбудила в сонном обществе *поэтические искры*», сопровождается комментариями, которые могли быть написаны Достоевским.

Обещанные Страховым из газеты «два №», появившиеся в № 40 «Гражданина», также связаны с «Петербургской газетой». Вот их текст: «В той же „Петербургской газете“ извещают о том, что будет сделано новое издание сочинений Решетникова, и при этом замечают: „О литературном достоинстве этих сочинений много распространяться не нужно. Высокого значения их не признают только какие-нибудь современные Менцели и Булгарины «Русского вестника» (например, сам г. Катков или его критик г. А). Но на таких господ стоит только плюнуть и отойти прочь“ (Петербургская газета, 1873, № 78)».

В той же газете по поводу выхода книги М. П. Погодина «Простая речь о мудреных вещах» было сказано: «В этом сочинении г. Погодин обрушился своим *бряхлым* телом на молодежь и женщин. Это уже не язык, не слог или манера: это просто *зарапортовался*» (цитировано: Гражданин, 1873, № 40, с. 1085).

Первая заметка Страхова составляет в «Гражданине» на с. 1085 — 10 строк, вторая — 7.

Слова: «наплевать на этих господ» в письме Достоевского приводятся, очевидно, по памяти.

Первая заметка написана на основе сделанного «Петербургской газетой» 23 сентября (№ 78) в отделе «Изо дня в день» извещения о предпринятом московским издателем К. Т. Солдатенковым полным собранием

сочинений Ф. М. Решетникова, редакцию которого принял на себя Г. И. Успенский:

«О достоинствах Решетникова, как писателя, распространяться нечего; теперь только какие-нибудь Менцели и Булгарины „Русского вестника“ (вроде самого г-на Каткова или его критика г-па А.) могут отрицать высокое значение Решетникова. Но на таких господ стоит только плюнуть и отойти прочь». Г-н А. — консервативный критик В. Г. Авсеенко. Позднее на страницах «Гражданина» в «Дневнике писателя» Достоевский будет с ним резко полемизировать (см.: Лит. наследство, т. 83, с. 55 и 524).

Вторая заметка Страхова связана с выпадом «Петербургской газеты» против сотрудничавшего в «Гражданине» историка М. П. Погодина:

«М. П. Погодин обрушился своим дряхлым телом на молодежь и женщин, причем досталось и Белинскому, и Добролюбову, и Чернышевскому, и Герцену. Все эти господа, по словам этого старца, носили *распутные книжки* (?). Книгу свою М. П. Погодин оканчивает словами: „...горе тому человеку, от которого соблазн происходит“.

Многие, прочитав сказание Погодина, оканчивают, закрывая книгу, словами: „Горе писателю, выжившему из ума“» (Петербургская газета, 23 августа, № 60, раздел «Хорошего понемножку»).

Обе заметки явно библиографического и полемического характера, появившиеся в «Последней страничке» № 40 «Гражданина», подтверждают, что адресатом письма Достоевского был Страхов, постоянно сотрудничавший в «Гражданине» по библиографическому отделу. В записных тетрадях Достоевского 1872—1875 гг. есть записи: «Постоянное сотрудничество Страхова» и «Библиография Страхова» (Лит. наследство, т. 83, с. 300 и 301). С библиографическими статьями выступал на страницах «Гражданина» и Е. А. Белов (в его адрес в № 56 «Петербургской газеты» за 1873 г. также появлялись резкие выпады. — См.: Лит. наследство, т. 83, с. 341). Но принадлежность Страхову обеих приведенных заметок из «Последней странички» очевидна, так как в это время Страхов выступал на страницах «Гражданина» с другими библиографическими статьями, в которых шла речь и о Решетникове и о Погодине. Решетников упоминается Страховым в «Заметках о текущей литературе», печатавшихся в «Гражданине» в апреле и мае 1873 г. (о Решетникове см. № 15—16, с. 471; № 19, с. 572). А осмеянной в «Петербургской газете» книге Погодина Страхов посвятил статью в отделе критики и библиографии ближайшего № 43 «Гражданина» от 22 октября — «М. П. Погодин. „Простая речь о мудреных вещах“. Москва, 1873». По высказывавшемуся мнению исследователей, в составлении «Последней странички» «Гражданина» кроме Достоевского принимали участие В. П. Мецкерский, А. У. Порецкий и, вероятно, В. Ф. Пущыкович.

Теперь мы можем расширить круг участников этого отдела «Гражданина», установив участие в нем также Н. Н. Страхова.

Первая заметка Страхова составлена, как уже было указано, на основе материала, появившегося в «Петербургской газете» 23 сентября. Между этой датой и 27 сентября, до написания Достоевским письма Страхову, между ними могла иметь место встреча и, вероятно, была достигнута договоренность о составе «Последней странички» для ближайшего номера. По свидетельству мегранжака М. А. Александрова, Достоевскому-редактору была присуща «привычка объясняться всегда лично, а не путем записок» (Александров М. А. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872—1881 годах. — Русская старина, 1892, № 4, с. 185). Но в данном случае не обошлось и без записки. Она представляет большую ценность как еще одно из свидетельств, дающих представление о характере повседневной редакторской работы Достоевского. Из писем-записок Достоевского 1873 г., связанных с его редакторской деятельностью, до сих пор были известны лишь две сентябрьские записки к М. А. Александрову (относящиеся к № 40) и одно письмо к Н. Н. Страхову 1873 г. (см.: II, III, 49, и IV, 301). В записной тетради Достоевского 1872—1875 гг. послед-

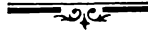
няя запись по составлению очередного номера «Гражданина» заканчивается на записи к № 39 (Лит. наследство, т. 83, с. 309).

Письмо свидетельствует и о характерном для Достоевского-редактора стремлении «придать свежести завтрашнему номеру», не отстать от «злобы дня», подробностей текущего во всех его проявлениях. Часто ради нескольких газетных строк, «чтобы хоть что-нибудь свежее было», он, приезжая по воскресеньям в типографию, заставлял метранпажа переверстывать в последнюю минуту весь лист (Александров М. А. Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика. . ., с. 185).

Так и в этом письме к Н. Н. Страхову его, прирожденного, по признанию современников, журналиста, прочитывавшего ежедневно «до последней литеры» все газеты, глубоко беспокоит «застарелая выписка из газет». Посланное Страхову письмо представляет собою листок почтовой бумаги. Написано черными чернилами (текст печатается с соблюдением пунктуации подлинника).

Письмо публикуется по подлиннику, подаренному «Музею-квартире Ф. М. Достоевского» (Москва) в день его пятидесятилетия, 11 ноября 1978 г. московским коллекционером, Изольдом Аркадьевичем Полонским.

СТАТЬИ



Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

О НЕКОТОРЫХ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ И ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО

1

В последние годы число работ советских литературоведов, посвященных вопросам жизни и творчества Достоевского, постоянно растет. Углубляется и расширяется и проблематика этих работ. После того как в 60-е годы у нас появился ряд обобщающих фундаментальных исследований, сыгравших в изучении творчества Достоевского в советской науке переломную роль, наметивших для этого изучения новые широкие задачи и открывших для него новые перспективы (к числу таких исследований относятся второе, дополненное переиздание книги М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», биография Достоевского Л. П. Гроссмана, итоговый сборник трудов А. С. Долинина «Последние романы Достоевского», монографии В. Я. Кирпотина, Н. М. Чиркова, В. Б. Шкловского, а также некоторые другие, в том числе книга автора этих строк «Реализм Достоевского»), возникли благоприятные условия для позитивной разработки и общих, и многочисленных частных проблем творчества писателя. В работах 20-х и 30-х годов, посвященных поэтике Достоевского, в том числе в таких ценных трудах, как статьи и книги акад. М. П. Алексеева, акад. В. В. Виноградова, Л. П. Гроссмана, Б. Г. Реизова, А. Г. Цейтлина, творчество Достоевского рассматривалось по преимуществу в его связях, с одной стороны, с творчеством Гоголя и писателей натуральной школы, а с другой стороны — с произведениями современных ему западноевропейских писателей-романтиков и реалистов первого (Бальзак, Гюго, Диккенс, Ж. Санд) или второго (Т. де Квинси, Э. Сю, Ф. Сулье) ряда. В настоящее же время творчество Достоевского все чаще изучается также в системе более широких связей с различными творческими методами, жанрами, художественным опытом и стилистическими исканиями всей предшествующей Достоевскому и позд-

нейшей русской и мировой литературы — от древности до наших дней. В довоенное время исследователи (например, В. Л. Комарович) при изучении мировоззрения Достоевского были озабочены по преимуществу поисками его ближайших и непосредственных теоретических истоков (французский утопический социализм, славянофильство и т. д.). Сегодня в науке возникла потребность в более многостороннем подходе к вопросу о глубинных национально-народных истоках и основах этого мировоззрения. В 20-е и 30-е годы общественно-политическая позиция Достоевского на раннем этапе его развития сближалась с позицией Герцена, Белинского либо других представителей дворянского и последующего разночинно-демократического этапов русского освободительного движения той эпохи, а на позднейших — рассматривалась главным образом под углом зрения его идейных расхождений и разногласий с ними. Сегодня же, как уже нам приходилось писать,¹ возникли необходимые научные предпосылки, позволяющие рассматривать демократизм Достоевского (со всеми присущими ему противоречиями) не как антитезу по отношению к мировоззрению революционеров и социалистов той эпохи, а как качественно особый, специфический тип демократизма, отличный от сознательного политического демократизма участников тогдашнего революционного движения, но в то же время, как и последний, отражающего одну из граней процесса пробуждения национально-общественного самосознания мыслящей интеллигенции и народных масс пореформенной России в эпоху, предшествовавшую первой русской революции. Наряду с трудами названных выше исследователей существенную роль в разработке различных аспектов и направлений этого более широкого и универсального понимания специфики художественного гения Достоевского, его национальных истоков и мирового значения сыграли работы акад. Д. С. Лихачева, акад. М. Б. Храпченко, А. В. Чичерина, Т. Л. Мотылевой, Н. И. Пруцкова, В. Е. Ветловской, Б. И. Бурсова, Л. М. Розенблюм, Ф. И. Евнина, Р. Г. Назирова и многих других.

Тем не менее естественно и закономерно то, что каждый новый этап развития науки выдвигает перед исследователями новые проблемы и задачи, особенно актуальные и важные в условиях сегодняшнего дня. Характеристику некоторых из таких проблем мы постараемся дать в настоящей статье.

Одной из главных проблем, всю жизнь мучивших Достоевского, была идея синтеза, идея воссоединения народа, общества, человечества, а вместе с тем обретения каждым сознательно мыслящим человеком — внутреннего единства и гармонии. Достоевский мучительно сознавал, что в том мире, в котором он жил, единство это нарушено — и во взаимоотношениях человека

¹ См.: Фридлендер Г. М. Наука о Достоевском сегодня. (Спорные вопросы. Искания. Проблемы). — Русская литература, 1971, № 3, с. 3—24.

с природой, и во взаимоотношениях людей внутри общественного и государственного целого, и в каждом отдельном человеке.

Эти вопросы, занимавшие центральное место в кругу размышлений Достоевского — художника и мыслителя, приобрели особое значение в наши дни. Ибо, с одной стороны, современная научно-техническая революция во много раз по сравнению с прошлыми периодами исторического развития человечества усилила внимание людей к вопросам жизни Вселенной, а с другой — наша эпоха, эпоха зрелого социализма, особенно остро поставила и ежедневно продолжает ставить перед нами вопрос о путях трансформации всех веками слагавшихся межчеловеческих отношений, создании нового гармонического строя общественных и нравственных отношений и о воспитании полноценного, всесторонне развитого человека, здорового духовно и телесно.

Не случайно одно из наиболее выдающихся произведений советской литературы последнего двадцатипятилетия — роман Л. Леонова «Русский лес» — генетически, в своих истоках, связан, при всей актуальности своей социально-исторической и нравственной проблематики, с тревожными размышлениями Достоевского о судьбе русского леса в «Дневнике писателя». А сегодняшние проблемы освоения космоса не раз побуждали писателей и ученых нашего времени вспоминать о беседе Ивана Карамазова с чертом, где в иронически-скептической форме затрагивается вопрос о возможности возникновения искусственного «спутника» земли. Точно так же современная философия и психология, современный театр и изобразительное искусство, современная этика и эстетика не могут пройти мимо многообразных и противоречивых философских и этических идей, художественного анализа глубин общественной жизни и сокровенных тайн души человеческой» в произведениях русского романиста.

Достоевский едва ли не наиболее болезненно из всех великих художников мировой литературы ощущал то зло, которое несет общественное разъединение и «обособление» людей. Он не только был горячо уверен в земном (а не в отвлеченном, потустороннем) братстве людей, но и твердо считал, что движение к этому братству уже началось, реально происходит в его эпоху. И точно так же Достоевский мучительнее, чем кто-либо из его предшественников и современников, ощущал, какую огромную трагедию несет каждой отдельной личности потеря твердого нравственного центра, без существования которого личность — согласно его диагнозу — превращается в механический агрегат внутренне разъединенных, органически не связанных между собою, дробящих ее на части и влекущих в противоположные стороны помыслов, страстей и побуждений. Отсюда такие, новые не только для искусства, но и для науки того времени формы социальной патологии, впервые открытые и бесстрашно исследованные Достоевским, как социально-психологическое «двойничество» или мрачное и разрушительное душевное «подполье», которое может

таиться в глубинах души даже высоко нравственной человеческой личности и, вырвавшись наружу, при определенных условиях стать вполне реальной и ощутимой угрозой обществу и человечеству.

«Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой».² Эти известные слова Достоевского побудили в последнее время некоторых из исследователей писателя поставить вопрос: можно ли считать Достоевского писателем-психологом, каким его считали не только многочисленные критики и литературоведы, давно и прочно утвердившие за Достоевским право считаться величайшим реалистом-психологом мировой литературы, но и такие крупные авторитеты в области психологии и физиологии высшей нервной деятельности, как В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский и И. П. Павлов, придерживавшиеся того же мнения.

Между тем следует иметь в виду, что отношение Достоевского к терминам «психология» и «психолог» далеко не было однозначным. Достаточно напомнить о том, что в письме к М. Н. Каткову от начала сентября 1865 г., где писатель впервые излагает замысел будущего «Преступления и наказания», он характеризует идею романа как «психологический отчет одного преступления» (П., I, 418). Да и в той же записной книжке 1880—1881 гг., где Достоевский в полемических целях отводит традиционное в критике 70-х годов определение своего писательского пафоса как пафоса «психолога», Достоевский в связи с анализом образа Ивана в «Братьях Карамазовых» ставит перед собой задачу «психологического и *подробного* критического объяснения» Ивана и сцены его беседы с чертом.³

И это вполне понятно, ибо стремление изобразить «все глубины души человеческой» в нашем современном понимании, естественно, требует от автора именно искусства писателя-психолога, включает в себя это искусство как свою необходимую предпосылку, хотя и не исчерпывается одним этим искусством.

В сцене суда, да и во многих других эпизодах «Братьев Карамазовых», Достоевский сам разъяснил, в чем состоял метод «психологического объяснения» человеческих поступков, который он отвергал, так как метод этот представлялся ему — и вполне справедливо — недостаточно глубоким. И прокурор, и защитник в «Братьях Карамазовых», как и многочисленные свидетели, дающие свои показания во время следствия и суда над Митей, строят свою версию, объясняющую характер и мотивы Дмитрия

² Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 373.

³ Там же, с. 369. О Достоевском-психологе см. подробнее: Фридляндер Г. М. Реализм Достоевского. М.—Л., 1964, с. 208—214, 384—393. Близкое истолкование приведенной полемической записи Достоевского («Меня зовут психологом <...>») содержится также в работах Л. М. Розенблюм.

Федоровича, а также либо воссоздают определенные штрихи из истории семейства Карамазовых, либо рисуют достаточно убедительную и эффектную картину убийства старика Карамазова. Да и не один Митя, — Федор Павлович, Иван и многие другие герои романа на разных этапах движения фабулы получают и от лица рассказчика, и от лица других персонажей достаточно полные и убедительные в каждом отдельном случае, как это может показаться на первый взгляд, психологические характеристики. Однако ни одна из таких характеристик, как свидетельствует дальнейшее движение фабулы, не дает полного, исчерпывающего представления о данном лице. Каждое из этих лиц сложнее, чем характеристика его, данная в «предисловном рассказе», вложенная в уста другого персонажа или в уста самого героя. Это не значит, что характеристика эта вовсе не верна, не содержит в себе той или иной *части* правды. И все же палка оказывается в каждом случае «о двух концах» (15, 152). Другими словами, раскрывая о герое определенную часть правды, характеристика эта раскрывает именно лишь *часть* правды, а не *всю* ее в целом. Между тем всякая частная правда, как верно понимает автор, получает свой истинный смысл лишь с учетом других сторон той же правды, будучи воспринята не изолированно от них, а в составе целого, в котором она занимает свое, строго определенное место. Вырванная же из состава целого, изолированная от него и абсолютизированная частная правда о человеке может не только не помогать пониманию глубинной основы его характера и истинной природы его движущих мотивов, но *заслонять* их собой, закрывая тем самым путь к постижению глубин души человеческой в подлинном философском (и вместе с тем подлинном научно-психологическом) ее понимании.

Нередко представление о Достоевском как о художнике-психологе ставят под сомнение на основании того, что мысли и чувства его персонажей часто развиваются скачкообразно, что их поступки, как это было давно отмечено,⁴ совершаются ими нередко «вдруг», как бы под влиянием некоего внезапного прозрения или смутного, неосознанного наплыва чувств, резко противоречащего нормам ожидаемого и привычного для окружающих героя людей (равно как и для читателя романа, сознание которого привыкло к иному, более традиционному «стереотипу» мысли и поведения литературного персонажа). Однако любовь Достоевского-художника к психологической «исключительности», к анализу «странных», «внезапных», «необычных» человеческих поступков, которые на первый взгляд кажутся прямым вызовом привычной логике и нормам ходячего «здорового смысла», отнюдь не противоречит хотя и традиционному, но от этого не менее

⁴ Слонимский А. Л. «Вдруг» у Достоевского. — Книга и революция, 1922, № 8, с. 9—16.

верному представлению о Достоевском как о величайшем мастере психологического анализа. Верно другое: Достоевский — писатель-психолог, но вместе с тем он *не только психолог*: в той же мере его можно назвать величайшим мастером как социально-философского, так и психологического романа. Философия, история, этика, социология, анализ сокровенных глубин человеческой души и человеческого сердца — все это в романах Достоевского сложным образом соединяется, сливается воедино, поверяется одно другим. И именно в этой многоаспектности восприятия и изображения человека и истории, человека и общества кроется тайна единственного в своем роде художественного величия Достоевского — повествователя и романиста, делающего его современником не только нашего, но и грядущих поколений.

При этом важно подчеркнуть, что то, что в повестях и романах Достоевского многие поступки совершаются неожиданно, «вдруг» и не только кажутся окружающим персонажам немотивированными, но и представляются им прямым вызовом логике и здравому смыслу, вовсе не означает, что подобные поступки не мотивированы, не подчиняются своей, особой внутренней закономерности. То, что и в общественной, и в личной жизни людей не все совершается в любых случаях одинаково и далеко не все происходит постепенно, — элементарная азбука общественной науки. И в истории общества, и в повседневном быту есть свои революции, свои «взрывы», где меняется привычный тип поведения, а обычные устойчивые, нормальные на первый взгляд цепи причинно-следственных связей разрываются под наплывом более глубокого и мощного подземного движения снизу. Такие разрывы постепенности и общественно-психологические «взрывы» отнюдь не являются нарушением законов реальной «живой жизни». Величайшим мастером художественного изображения подобных социально-психологических переломов и «взрывов» и в жизни общества, и в жизни отдельного лица и был Достоевский. Именно эта особенность его мастерства художника-психолога и делает его одним из великих романистов, искусство которого особенно созвучно духовной атмосфере XX века — века огромных революционных преобразований, социальных и культурно-исторических потрясений в жизни человечества.

2

Художественный мир Достоевского не раз соотносился с художественным миром Эсхила, Шекспира, Шиллера, Бальзака, Диккенса, Гюго. М. М. Бахтин сблизил жанр романов Достоевского с жанром античной мениппеи, а другие исследователи — с жанром средневекового жития. Каждое из подобных сопоставлений бросает дополнительный свет на те или иные стороны творчества Достоевского. Часто оно может быть продолжено и

углублено. В связи с этим хочется сопоставить последний, итоговый роман Достоевского «Братья Карамазовы» с еще одним замечательным произведением мировой литературы, с которым, насколько нам известно, он никогда не сопоставлялся. Речь идет о «Годах странствования Вильгельма Мейстера» Гете.

«Годы странствования Вильгельма Мейстера» (1829) — второй из двух романов дилогии, посвященной заглавному герою. От «бурных стремлений» и романтического индивидуализма герой Гете приходит в ней к ощущению своего единства с другими людьми, становится членом созидающегося при его участии межчеловеческого братства. Но дело не только в этом сходстве общего направления жизненных путей главных героев романов Гете и Достоевского, духовное воспитание которых связано с идеей нравственного «самоотречения». И роман Гете, и «Братья Карамазовы» — опыты грандиозного по охвату материала и по количеству персонажей «роман-синтеза», подводящего философский итог творчеству автора и представляющего собой энциклопедию духовных исканий и устремлений современного человечества, которая сливается воедино с обращенной к будущему гуманистической социально-философской утопией. Реально-бытовые образы и события в обоих романах соседствуют с философской символикой и назидательной дидактикой.

В центре «Годов странствования Вильгельма Мейстера» — не один, а множество разных по характеру, происхождению, уровню духовного и нравственного развития персонажей, большинство которых первоначально не связаны между собой. Многие из них выступают вначале в качестве героев особых, самостоятельных вставных новелл, из которых перед главным героем и перед читателем всякий раз возникает «странная», причудливая и неожиданная фигура человека со своей сложной судьбой, особыми психологическими нравственными проблемами. Но появившись на страницах романа в качестве героев отдельных, самостоятельных новелл, все эти персонажи позднее встречаются с главным героем романа лицом к лицу. Так же как Алексей Карамазов, Вильгельм Мейстер выступает в роли своеобразного посредника между остальными героями. Его судьба оказывается сложным образом сопряженной с их судьбами. Втянутые в общее движение и захваченные им персонажи в конце концов составляют единый духовно-нравственный «союз» людей, решающий сообща вопрос о путях переустройства старого общества с целью создания условий для будущей гармонической земной жизни человечества.

Роль духовного пастыря и наставника Алеши Карамазова играет Зосима. Но и в романе Гете есть образ духовной покровительницы остальных персонажей, скрытой «души» их полумистического филантропического содружества. Это — Макария, мудрая мать и наставница Вильгельма и его друзей. Душа Макарии сродни и небу, и земле, в равной степени открыта как движению звезд, так и человеческим заботам и треволнениям.

Укротив собственные страсти и укрощая разъединяющие их эгоистические страсти других героев, Макария объединяет их, помогая им обрести в себе нового, истинного человека. Помощниками Макарии являются аббат, астроном и другие члены таинственного общества «башни», следящего издали за развитием всех тех, кто кажется им достойным членом будущего гуманистического сообщества свободных людей, сможет обрести в нем место, соответствующее его дарованиям и наклонностям.

В романе Гете прообразом искомого будущего идеального общества и вместе с тем силой, направляющей движение к нему человечества, является некое фантастическое масонское братство, полусимволический союз «посвященных». В «Братьях Карамазовых» ту же роль играет церковь, возвышенная и идеализированная в поучениях Зосимы. И все же для нас сегодня важнее не то, что разъединяет Гете и Достоевского, а то, что их духовно сближает и объединяет. Оба великих писателя-гуманиста — немецкий и русский — полны трепетного удивления красотой вселенной и человека, ставят своей задачей способствовать воспитанию в человеке «благоговейного отношения» к себе как «совершеннейшему созданию бога и природы», причем оба они полагали, что «страдание», «позор» и «преступление» могут быть для человека путем не только к падению, но и к внутреннему просветлению, к «святости», пользуясь выражением Гете.⁵ И не случайно в романе последнего в качестве символа величайшей опасности для человека приводятся те же самые слова о его «теплохладности», обращенные к ангелу Лаодикийской церкви, которые позднее цитируются в «Бесах» Достоевского.⁶

Во вступительном разделе первой главы январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский писал о гетевском Вертере: «Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более „прекрасного созвездия Большой Медведицы“ и прощается с ним. О, как казался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта таинственность чудес божьих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь *своему лику человеческому*».

„Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне“.

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его» (XI, 146).

⁵ Гете И. В. Собр. соч. в тринадцати томах, т. VIII. М., 1935, с. 181.

⁶ Там же, с. 438.

В этих замечательных словах, обращенных Достоевским не только к современникам, но и к потомству, выражено гуманистическое credo, которое объединяет обе части «Фауста», как и диалогию Гете о Вильгельме Мейстере, с последним, итоговым романом русского писателя. И Достоевский, и Гете страстно любили жизнь и человека, были не только предельно чутки к текущим событиям и «злобе дня», но и обращены мыслью к будущим векам, стремились уловить в «беспорядке» и «хаосе» своей исторической современности признаки зарождающегося и создающегося в ее глубинах движения, ведущего к росту взаимопониманий, к сближению и братству разобщенных в их эпоху людей и народов. Эти общие черты гения обоих великих писателей особенно ярко проявились в последних, итоговых их произведениях, представляющих их духовное завещание грядущему человечеству.⁷

3

Одна из особенностей искусства Достоевского — нераздельность в нем художника и мыслителя. Так же как Лев Толстой, Достоевский с полным правом может быть назван художником-философом. Его творения оставили глубокий след не только в истории художественной литературы, но и в истории всей духовной культуры человечества.

Уже Пушкин в таких своих произведениях 30-х годов, как маленькие трагедии, «Медный всадник», «Пиковая дама», явился первым в русской литературе классическим представителем «поэзии мысли». Вслед за Пушкиным в 30-е и 40-е годы русскую интеллектуальную прозу — художественную и публицистическую — развивали в различных направлениях В. Ф. Одоевский, П. Я. Чаадаев, А. Ф. Вельтман, И. В. Киреевский, М. Ю. Лермонтов, А. И. Герцен.

Следует сказать, что генетическая связь произведений Достоевского с этой — философско-интеллектуальной — линией развития русской прозы изучена нами пока недостаточно, хотя вопрос о русской философско-интеллектуальной прозе 30—50-х годов XIX века как особом общественно-литературном явлении и о роли ее для формирования художественного стиля Достоевского не раз привлекал к себе внимание исследователей от А. С. Долинина и В. Ф. Переверзева до В. А. Туниманова и современного молодого венгерского ученого И. Месерича.

Думается, что особенный интерес в этом плане имеет изучение творческих связей Достоевского с тремя из его предшественников и старших современников — М. Ю. Лермонтовым, В. Ф. Одоевским и А. И. Герценом.

⁷ Сводку основной литературы по теме «Гете и Достоевский» см.: 15, 468—469.

Достоевский начал свою писательскую деятельность в недрах гоголевской «натуральной школы». Но уже в первых своих произведениях — «Бедных людях» и «Двойнике» — он не только стремился синтезировать гоголевское и пушкинское начала, но и продолжить ту линию русской интеллектуально-психологической прозы, высшими достижениями которой после появления гоголевских «Арабесок» и «Пиковой дамы» Пушкина явились «Герой нашего времени» Лермонтова и философские повести В. Ф. Одоевского.

На принципиальную важность проблемы «Достоевский и Одоевский» недавно уже указал Р. Г. Назиров.⁸ Вывод, к которому он пришел, о недооцененной до сих пор, заслуживающей пристального внимания генетической связи творчества Достоевского с некоторыми произведениями В. Ф. Одоевского подтверждает обращение к тому рассказу последнего, отрывок из которого Достоевский предпослал в качестве эпиграфа первому своему роману «Бедные люди» (1, 13, 480). Речь идет о рассказе Одоевского «Живой мертвец» (1839).

«Живой мертвец» — произведение, связанное с творчеством Одоевского многообразными и сложными нитями. Одни из них тянутся к ранним повестям Достоевского — прежде всего к «Бедным людям» и «Двойнику» (1846), другие — к позднему, «кладбищенскому», рассказу писателя «Бобок» (1879). Герой рассказа «Живой мертвец» — начальник канцелярии, чиновник. Получив в наследство от отца «медные» и выучившись сам на «железные» гроши, он детям своим оставил «кб́ку с соком».⁹ Последнее фамильярно-просторечное выражение из жаргона тогдашней чиновничьей среды непосредственно перешло в повесть Достоевского «Двойник», где отозвалась также, хотя и в трансформированном виде, излюбленная автохарактеристика Василия Кузьмича: «я человек простой, я человек простой».¹⁰ Еще более существенна, однако, пожалуй, связь «Живого мертвеца» с «фантастическим» рассказом «Бобок». Как и в рассказе Достоевского, повествование в «Живом мертвце» ведется от первого лица и содержание рассказа составляют посмертные переживания героя. Подобно Достоевскому, Одоевский как бы ставит над своим героем психологический эксперимент, причем цель этого эксперимента — в том, чтобы заставить Василия Кузьмича осознать, что при жизни он был не живой человек, но всего лишь мертвец, ибо, заботясь лишь о себе и о своем состоянии, оставался глух ко всему человеческому в себе и других людях. После смерти героя нравственный эгоизм, заставивший Василия Кузьмича заглушить в себе все то, что могло бы напомнить ему и окружаю-

⁸ См.: Назиров Р. Г. Владимир Одоевский и Достоевский. — Русская литература, 1974, № 3, с. 203—206.

⁹ Одоевский В. Ф. Соч., ч. III. СПб., 1844, с. 101.

¹⁰ Там же, с. 107. Ср.: 1, 119, 124, 125.

щим о присутствии в нем живого человека, дал, как убеждается он в своих посмертных фантастических странствованиях, страшные плоды: каждый безнравственный его поступок стал источником нового, удесятяченного зла для окружающих. Много общего с «Бобком» имеет не только жанр гротескно-фантастического рассказа-предупреждения, но и общая тональность трагического монолога Василия Кузьмича: «Что это? — никак я умер?.. право! насилу отлегло.. нечего сказать — плохая шутка.. Ноги, руки холодеют, за горло хватает, душит, в голове трескотня, сердце замирает, словно душа с телом расстается...». И дальше: «Нет сил больше! уж где я не таскался! Кругом земного шара облетел! и где только не прикорну к земле — везде меня поминают... Странно! ведь, кажется, что я такое в свете был? <...> а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно зацепляется одно за другое! Смотришь, в тюрьме сидит человек, и в глаза его не видал, — пойдешь добираться, и доберешься, что всё по моей милости! Иного за тридевять земель занесло — и опять по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — все меня поминает и отчего? все от безделицы: <...> от какого-нибудь слова, сказанного или недосказанного...».¹¹

Ту же мысль, что все люди составляют единое целое, членом которого всегда остается, сознает ли он это или не сознает, каждый отдельный человек, а потому ни одно движение души, ни одна мысль и ни один поступок его не принадлежат ему одному: связанный с человечеством «круговой порукой», он должен нести за свои мысли и поступки ответственность перед ним, — выражает эпитаф, предпосланный Одоевским рассказу «Живой мертвец». На связь идеи русского писателя-романтика, выраженной в этом эпитафе, с одним из центральных философско-этических мотивов, проходящих через все творчество Достоевского, справедливо указал Р. Г. Назиров в упомянутой выше статье.¹²

При этом заслуживает особого внимания то обстоятельство, что выраженный Одоевским в эпитафе к его рассказу социально-гуманистический принцип межчеловеческой «солидарности» (именно так определяет этот принцип сам Одоевский) Достоевский в последнем своем романе сделал тем краеугольным камнем, на котором основываются записанные Алексеем Карамазовым беседы и поучения старца Зосимы. Таким образом, в беседах и поучениях Зосимы налицо элементы не только «восточного» православия, но и «западного» гуманизма, в них ощутима связь с теми духовными исканиями предшествующих XIX веку эпох, которые отлились в традиционную для них религиозную форму, а также и с современными Достоевскому социально-критическими и социально-утопическими настроениями. Воспользовав-

¹¹ Там же, с. 98, 133.

¹² Назиров Р. Г. Владимир Одоевский и Достоевский, с. 206.

пись в качестве жанрового и стилистического образца для бесед и поучений Зосимы произведениями древнерусского и позднейшего духовного ораторского красноречия, Достоевский, о чем свидетельствует сопоставление основного зерна философских рассуждений Зосимы с рассказом Одоевского, сложным образом синтезировал в этих рассуждениях переосмысленные в гуманистическом духе религиозные заветы прошлых веков с социальными и философскими идеалами XIX века.

4

Творения Достоевского — огромный культурно-исторический синтез не только в том смысле, что создатель их поставил перед собой задачу «перерыть» в них все вопросы исторического прошлого, настоящего и будущего России и человечества, но и в том, что они представляют собой единственный в своем роде, предельно емкий, энциклопедический по охвату материала синтез разнообразных общественно-литературных и культурно-исторических традиций.

Поэтому в процессе дальнейшего изучения Достоевского исторически закономерно его биография и произведения будут выступать перед нами всякий раз в новых исторических связях и опосредованиях. При этом важно одно: чтобы эти связи и опосредования не искажали лик Достоевского, не уводили нас в сторону от верного понимания социально-исторического и философского смысла его произведений и их значения для нашей современности (как это — увы! — слишком часто случается в работах реакционно и идеалистически настроенных зарубежных исследователей, подходящих к Достоевскому предвзято и тенденциозно), а способствовали их верному, глубокому раскрытию и постижению, ибо всякое искажение и фальсификация идейно-художественного наследия Достоевского глубоко враждебны духу марксизма и социалистической культуры.

Задача настоящего тома серии «Достоевский. Материалы и исследования», как и предыдущих, — пополнить науку новыми идеями и гипотезами, новыми фактами и наблюдениями, которые, как нам представляется, могут в той или иной степени помочь дальнейшему углубленному осмыслению жизни и творчества Достоевского. Причем мы не пренебрегали в этом и предыдущих томах и не будем пренебрегать в дальнейшем наряду с исследованиями и статьями, поднимающими широкие, общие вопросы изучения Достоевского — человека, мыслителя и художника, различного рода эпистолярными, мемуарными и библиографическими материалами о писателе (таковы, например, публикующиеся в данном томе письма П. И. Вейнберга к Достоевскому, мемуарные отрывки о нем, извлеченные из воспоминаний С. И. Смирновой (Сазоновой), каталог части недошедшей до нас библиотеки писателя и т. д.). В настоящем томе помещены

также отдельные дополнения и уточнения к комментариям, помещенным в академическом полном собрании сочинений Достоевского.

Достоевский любил подчеркивать, что одним из основных источников, питавших его творчество, были факты текущей газетной хроники. Гомер и создатели античной трагедии черпали свои сюжеты из мифологического предания, Шекспир — из средневековых хроник и новеллистики эпохи Возрождения, а зерном таких великих произведений русской литературы начала XIX века, как «Пиковая дама», «Шинель» или «Мертвые души», явился, как мы знаем, устный рассказ или анекдот. Скупые строки текущей газетной хроники и изложение судебных процессов 60—70-х годов играли для творчества Достоевского-художника во многом аналогичную роль. Они стимулировали работу его воображения и служили для него неисчерпаемым кладом жизненного материала при обдумывании сюжетов и образов будущих его произведений. Причем, не рискуя быть обвиненным в преувеличении, можно сказать, что газетные факты не были для Достоевского одним лишь богатейшим источником романических образов и сюжетов: они помогали ему поверять свои художественно-идеологические концепции «живой жизнью».

За шестьдесят лет истории советской науки о Достоевском ею накоплен огромный материал, позволяющий проследить процесс постоянного творческого взаимодействия между сменявшимися замыслами Достоевского-художника и материалом русской периодической прессы 60-х и 70-х годов. Итоги этого изучения подведены в комментариях к каждому из произведений Достоевского в полном собрании его сочинений. Тем не менее здесь по-прежнему остается широкое поле для дальнейшего изучения, дальнейших наблюдений и выводов. В подтверждение этой мысли сошлемся всего лишь на один пример.

В марте—апреле 1875 г. в Петербургском городском суде слушалось дело о подлоге завещания капитана гвардии Седкова, совершенном после смерти мужа его вдовой. Обвинителем вдовы Седкова выступал А. Ф. Кони, речи которого неизменно привлекали в это время интерес и внимание Достоевского. Отчет о деле Седковой регулярно публиковался в конце марта—начале апреля петербургскими газетами.¹³

Процесс Седковой и обвинительная речь на нем А. Ф. Кони дают в руки исследователей Достоевского интересный материал для изучения сложного художественного метода писателя. Это изучение с особенной наглядностью показывает, насколько навны и ошибочны представления тех, что полагал и продолжает полагать в наши дни, что художественные образы Достоевского можно психологически непосредственно свести к тому или иному

¹³ См.: Голос, 1875, № 87—99 (28 марта—9 апреля); Судебные ведомости, 1875, № 67—70; Кони А. Ф. Собр. соч., т. 3. М., 1967, с. 307—334.

единичному, «готовому» жизненному или литературному источнику.

Героиня судебного процесса, привлеченного пристальное внимание Достоевского, Софья Константиновна Седкова была вдовой гвардейского капитана, выгнанного сослуживцами из полка и после этого ставшего одним из самых энергичных и деятельных (по характеристике одного из свидетелей) петербургских ростовщиков.¹⁴ Еще во время службы в полку ее будущий муж ссужал своим сослуживцам деньги под проценты. Это послужило причиной его осуждения товарищами по полку и увольнения из гвардии. После изгнания из полка Седков, оставшись без средств, необходимых ему для его ростовщических операций, женился из-за денег на восемнадцатилетней девушке — сироте богатых родителей, отец которой разорился и которая после смерти отца и окончания института, испытывала «невыносимую жизнь» у одной из своих родственниц, «вела себя не совсем безукоризненно».¹⁵ Став женой Седкова, она вскоре почувствовала себя глубоко несчастной из-за жестокости и равнодушия мужа и в результате решила покончить с собой, оставив ему письмо: «Прощай, милый! Если когда я против тебя дурно поступила, то я все искупила своею жизнью. Судьба».¹⁶ Но, задумав броситься в Фонтанку, Седкова не решилась осуществить это намерение, свыклась со своею новой жизнью и даже стала помощницей мужа в его ростовщических операциях, а после его смерти подделала его завещание в свою пользу.

Творческая история повести (или «фантастического рассказа», если следовать жанровому определению самого автора) «Кроткая», созданной в 1876 г. и опубликованной Достоевским в ноябрьском номере «Дневника писателя» за этот год, не раз привлекала внимание исследователей.¹⁷ Причем все они полагали, что лишь один центральный образ этой повести — образ внутренне цельной и непосредственной, созданной для любви и счастья и духовно просветленной своим страданием героини — был создан Достоевским под влиянием поразившей его воображение газетной заметки о самоубийстве швеи Марьи Борисовой, выбросившейся из окна с образом божьей матери в руках. «Этот образ в руках — странная и неслыханная еще в самоубийстве черта! Это уже какое-то кроткое, смиренное самоубийство», —

¹⁴ Голос, № 90, 31 марта.

¹⁵ Там же, № 91. 1 апреля.

¹⁶ Там же.

¹⁷ См.: Долгин А. С. «Кроткая». — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. Л.—М., 1924, с. 423—438; Туниманов В. А. Художественные произведения в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского. Автореф. канд. дис. Л., 1966, с. 11—13; Гроссман Л. П. «Кроткая» (комментарий). — В кн.: Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. 10. М., 1968, с. 517—520; Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. — Лит. наследство, т. 83, М., 1971, с. 86—88.

писал по поводу этой заметки сам Достоевский в предыдущем, октябрьском, номере «Дневника писателя», пересказывая ее и противопоставляя друг друга «два самоубийства» — Марьи Борисовой, покончившей с собой из-за невозможности найти работу, и девушки-аристократки, дочери Герцена (XI, 422—425). Обращение к материалам процесса о подлоге завещания капитана Седкова свидетельствует, что творческая история «Кроткой» сложнее, чем было принято думать до сих пор. Заметка о самоубийстве Марьи Борисовой появилась в петербургских газетах 2 октября 1876 г., через полгода после судебного разбирательства дела вдовы Седкова. Между тем именно материалы этого дела подсказали, по-видимому, Достоевскому основные контуры биографии главного героя «Кроткой» — офицера, с позором изгнанного из полка и ставшего ростовщиком.

Итак, «Кроткая» — итог творческой работы, вобравшей в себя материал не одного, но по крайней мере двух, а скорее всего и целого ряда других, сегодня еще не известных нам газетных сообщений. При этом следует подчеркнуть, что повесть эта отнюдь не была для писателя простым откликом на «злобудня». С самого начала творческого пути Достоевского в центре внимания его стояли образы многочисленных «петербургских мечтателей», «уединившихся философов», в глубине души страстно тоскующих по любви и взаимопониманию, но в то же время глубоко уязвленных в своем самолюбии, а потому лелеющих в своем сознании жажду мести окружающим людям, желающих подчинить их своей власти и доказать таким образом свое превосходство над ними. Герой «Кроткой» — одновременно «философ» и ростовщик, мучитель и мученик — заключительное звено в истории разработки Достоевским целой галереи образов «озлобившихся», «подпольных» мстителей общества, генеалогию которых писатель склонен был вести от пушкинского Сильвио (в повести «Выстрел»),¹⁸ лермонтовского Арбенина и Незнакомца (из драмы «Маскарад»). Еще в 1869—1870-х гг. среди планов Достоевского мелькают замыслы романа о героине-ростовщице, а также повести о сложных драматических взаимоотношениях мужа и жены, изводящих друг друга сомнениями и взаимным непониманием (см., например: 9, 119, 122—125). Свообразным вариантом образа «петербургского мечтателя», с детских лет оскорбленного окружающим обществом и мечтающего стать новым «Ротшильдом», чтобы доказать людям свою независимость и в то же время поразить их своим великодушием и душевным благородством, был Аркадий Долгорукий в «Подростке» (1876), с которым герой «Кроткой» связан сложными нитями внутреннего идейно-психологического средства. Непосредственно перед

¹⁸ Ср.: Поддубная Р. Н. Герой и его литературное развитие. (Отражение «Выстрела» Пушкина в творчестве Достоевского). — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 3. Л., 1978, с. 54—66.

тем, как писатель остановится на замысле «Кроткой», он весной 1876 г. обдумывал планы романов «Отцы и дети» и «Мечтатель», многие образы и ситуации которых также в определенной мере подготовляли «Кроткую» (см.: 17, 6—10). А характер героини этой повести явился определенным звеном в истории творческого воплощения Достоевским образа хрупкой, порабощенной и униженной, но в то же время великой в своем страдании, гармонически цельной и стойкой души народной России.

Таким образом, в работе Достоевского над газетным материалом отчетливо проявлялась та же общая закономерность, которая характерна для всех случаев обращения писателя (или шире — для обращения литературы определенной страны и эпохи, определенного направления) к тому или иному литературному или культурно-историческому источнику. Достоевский умел находить и выбирать в читаемых им номерах газет те возбуждавшие его пристальное внимание «странные» факты (П., II, 169—170), которые как бы сами шли «навстречу» его художественной мысли и для которых, как писатель сознавал, он один мог найти нужную психологическую разгадку. Он пользовался материалом газетной хроники не пассивно, но активно, отбирая из нее те жизненные явления и факты русской жизни, которые способствовали творческому развитию и оформлению идей и концепций, на протяжении долгих лет уже прежде выношенных и выстраданных им. Благодаря подобному активному творческому усвоению эти явления и факты трансформировались под пером Достоевского, обретая символический и глубокий философский смысл, который они никогда не могли бы получить, как сознавал автор «Дневника писателя», под пером того, менее глубокого и требовательного наблюдателя, для которого «все явления жизни проходят в самой трогательной простоте, и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит» (XI, 423).

И последнее, о чем следует упомянуть, говоря о «Кроткой». В предисловии к этой повести Достоевский указал, что необычная, «фантастическая» форма повествования, примененная в ней, — рассказ от лица мужа, пораженного обрушившимся на него страшным фактом самоубийства жены и под влиянием ее самоубийства изливающего в едином порыве читателю всю сложную историю их взаимных отношений, историю, подготовившую этот трагический финал, была в определенной мере подсказана писателю романом Гюго «Последний день приговоренного к смертной казни» (XI, 444). Однако, как нам представляется, параллель между этими шедеврами двух литератур — французской и русской — можно значительно расширить. Герой романа Гюго осужден законом за совершенное им преступление. Но и герой «Кроткой» — тоже преступник, хотя не перед лицом государственного закона, а перед судом своей совести и высшей, общечеловеческой нравственности.

Таким образом, Достоевский не только воспользовался в своей повести сгущенно драматической формой повествования, разработанной Гюго, но и расширил и переосмыслил философскую проблематику его романа. Герой «Кроткой» не стал физическим убийцей. Но он совершил не менее страшное — моральное — убийство, заглушив человеческое начало в самом себе и из-за этого став причиной страданий и гибели другого человека, человека самого близкого и нужного ему на земле. И лишь став *двойным убийцей* — убийцей своей жены и своего собственного человеческого счастья — герой «Кроткой» смог ощутить то великое зло, которое несет человечеству «обособление» и духовное одиночество, трагическое разъединение и разобщение людей. Призыв преодолеть это разобщение, разрушить воздвигнутые буржуазной цивилизацией перегородки на пути обретения людьми жизненно необходимого им взаимопонимания и единства, составляет идейно-художественный пафос «Кроткой», как и других произведений великого русского романиста.

5

Мощное стремление к синтезу, к объединению исторически раздробленного и разъединенного, протест против всяческого «уединения» и «обособления» людей — такова одна из сторон мировоззрения Достоевского, близкая нашей эпохе. Но Достоевский не только особенно остро и болезненно переживал то трагическое разъединение людей и народов, которое порождает буржуазная цивилизация. Его творчество отличал глубокий историзм, принципиально отличавший Достоевского — художника и мыслителя от писателей-просветителей XVIII и романтиков начала XIX века.

Еще в молодые годы из учений Сен-Симона, Фурье и последующих представителей социалистической мысли 30—40-х годов Достоевский усвоил представление о том, что «золотой век» не прошлое, но будущее человечества. Какими бы радужными красками писатели классической древности или позднейшие поэты-идиллики не пользовались, изображая доисторическое, патриархальное состояние общества, все же возврат человечества к нему невозможен. Патриархальное состояние само таило в себе семена своего будущего разложения, и путь человечества от него к эпохе цивилизации, ввергшей человечество в пучину социальных противоречий, душевной раздвоенности, глубочайших моральных и религиозных сомнений, был исторически закономерен и неизбежен.

Поэтому даже в 60-е и 70-е годы, когда Достоевский испытал в своем мировоззрении воздействие социальной утопии славянофилов, он никогда не мог принять свойственной им идеализации допетровской Руси. И точно так же, полемизируя с Толстым,

Достоевский горячо доказывал, что предлагаемый Толстым отказ от благ исторически сложившейся цивилизации и культуры (который Толстой считал необходимой платой за отказ от порожденных ею трагических заблуждений и противоречий) невозможен, ибо задача интеллигенции не «опростить» свое сознание и свою жизнь до уровня сознания и жизни патриархального крестьянина, но, наоборот, «вознести» мужика до собственной «осложненности». «Старания „опроститься“, — писал Достоевский, полемизируя с Толстым, — лишь одно только переряживание, невежливое к народу и вас унижающее. Вы слишком „сложны“, чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком» (XII, 63).

Вот почему не случайным, а исторически закономерным для Достоевского-художника было то, что, страстно ища путей к будущей «гармонии», он главными героями своих романов постоянно делал не «созидателей», а «бунтарей» и «разрушителей», подобных Раскольникову или Ивану Карамазову. Ибо Достоевский был убежден, что сомнение и отрицание являются не только разрушительной, но и великой созидательной исторической силой. Без движения вперед, а следовательно, без «горнила сомнений» история человечества навсегда остановилась бы, и оно оказалось бы осужденным на мертвое прозябание, спячку, унылое повторение пройденного.

Достоевский мечтал о грядущей «гармонии», но эта «гармония» представлялась ему не в виде некоей, раз навсегда данной блаженной идиллии, а в виде жизни, обретшей наивысшие полноту и всесторонность развития, жизни, насыщенной духовным и физическим напряжением, движением и бурей.

Однако как проложить исторические пути, ведущие к достижению человечеством искомого нового состояния «гармонии», одинаково далеко отстоящей и от блаженной «невинности», «незнания» людей первобытных, патриархальных времен, людей «века Авраама и стад его» (6, 421), и от мучительных противоречий эпохи «цивилизации» с неотделимыми от нее, по Достоевскому, властью меньшинства над большинством, социально-историческими противоречиями и антагонизмами? Именно этот вопрос постоянно занимал Достоевского на всем протяжении его творческого пути.

Эпоха Достоевского не давала ему реального ответа на этот вопрос. Отсюда — основное противоречие творчества писателя.

Мечтой Достоевского, как мы старались показать выше, было объединение всех положительных, ценных элементов, накопленных исторической жизнью России и человечества, в едином, высшем синтезе. Но когда он обращался к вопросу о путях возможного достижения Россией и человечеством искомого синтеза, он, не осознавая этого, постоянно подменял мечту о *синтезе* исторически разъединенных и разобщенных в условиях дворянско-буржуазной цивилизации начал призывом не к синтезу, а к *прими-*

рению» тех готовых исторических форм, которые начала эти приобрели в условиях той же дворянско-буржуазной цивилизации, наложивших на них печать свойственной ей исторической ограниченности.

Отсюда ложный, утопический призыв Достоевского к «примирению» того, что на деле, в реальной истории было несоединимо и непримиримо — господствующих классов и народа, самодержавия и людей в «серых зипунах», возвышенных этических идеалов гуманизма и казенного догматического учения церкви. Как трезвый наблюдатель действительности, глубокий мыслитель и аналитик Достоевский постоянно сам ощущал невозможность проповедовавшегося им «примирения», рост и углубление социально-исторических и культурно-психологических противоречий русской и западноевропейской общественной жизни своей эпохи. И вместе с тем чем мучительнее и болезненнее Достоевский ощущал рост этих исторических противоречий, тем более страстно он, мечтая о «мировой гармонии», настойчиво, убежденно призывал к «примирению» антагонистических классов, противоположных социальных групп и идеологических направлений, как к единственно возможному, по его представлениям, пути к осуществлению и утверждению будущего единства и братства людей.

В действительности, чтобы мечта Достоевского о победе созидательных начал истории над разрушительными, о грядущем братстве народов и воссоединении всего того, что в его эпоху было разъединено и раздроблено, стала исторической реальностью, нужно было не «примирение» славянофилов и западников, не единение самодержавия и представителей народных низов, одетых в «серые зипуны», и духовное возвращение русской интеллигенции к родной «почве», — то, к чему Достоевский призывал в речи о Пушкине и в последнем, январском, номере «Дневника писателя» за 1881 год. Для этого нужна была Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую эру в истории человечества.

Достоевский гордился духовными сокровищами, накопленными и сбереженными народной Россией. Он высоко ценил возвышенные социально-этические идеалы братства и справедливости, которые веками продолжали жить в сознании ее крестьянских масс, способность русской интеллигенции жить «не для себя, а для мысли» (13, 377), ее нравственный максимализм, нежелание довольствоваться «малым», стремление русского «ски-тальца» не к одному своему узко личному, но к всеобщему, «все-человеческому» счастью. «Всемирная отзывчивость» Пушкина, вражда русской культуры ко всякой национальной исключительности, ее открытость горю и страданиям всех народов представлялись Достоевскому залогом ее великого исторического предназначения в судьбах человечества, залогом ее способности послужить нравственным средоточием грядущего единения и братства людей (XII, 377—390).

Эти мечты Достоевского не могли получить реального осуществления при его жизни. Ибо для того чтобы «всемирная отзывчивость» русской культуры, о которой столь вдохновенно писал Достоевский, получила возможность полного и свободного проявления, нужно было создание нового, советского социалистического государства. Только эпоха социализма создала предпосылки для достижения подлинного братства людей и народов, для сближения и мирного сотрудничества всех стран и культурных регионов нашей планеты. В этих условиях не только перед каждым человеком нашей страны и других стран социалистического содружества, но и перед любым человеком доброй воли, в какой бы стране он не жил, открыт широкий путь к участию в действенной, практической, каждодневной борьбе против сил, разъединяющих человечество и грозящих ему опасностью самоуничтожения, борьбе за тот высший творческий синтез общечеловеческих культурных ценностей, к которому призывал в своем творчестве и в своей Пушкинской речи великий русский писатель.

В. И. КАЙГОРСДОВ

ОБ ИСТОРИЗМЕ ДОСТОЕВСКОГО

Проблема историзма, соотношение истории и человека — одна из кардинальных проблем реалистического искусства. Она связана со всем комплексом вопросов, решаемых художником при создании крупного произведения. В подходе к решению этой проблемы проявляются наиболее существенные стороны творческого метода автора, его мировоззрения. Наконец, тем, как решается эта проблема, в значительной степени определяется и художественная структура произведения в целом, и постановка характеров и сюжета в частности. Сопоставление писателей с точки зрения того, как решается ими проблема истории, позволяет установить как общие признаки, присущие художникам определенной эпохи и определенного метода, так и индивидуальные особенности каждого из них.

Историзм как глубокое осознание сложных закономерностей развития человечества был, бесспорно, одной из органических особенностей Достоевского. Подобный вывод со всей очевидностью следует хотя бы из того, какое большое значение придавал писатель изучению истории, с каким пристальным вниманием и интересом следил он за всеми историческими процессами, на его глазах происходившими в Европе и России. Внимание это не было бесплодным — Достоевскому удавалось с большой степенью приближения к истине судить о многих явлениях современной ему исторической действительности.¹ Еще в 1849 г., объясняя свой интерес к европейским событиям конца сороковых годов, Достоевский замечает: «Это, наконец, история, а история — наука будущего» (18, 122). «Мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и с историческим прошедшим и с общечеловечностью, — пишет он в 1861 г. — Что ж делать? Без того ведь нельзя; ведь это закон природы. Мы даже

¹ См. об этом, например, Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы М, 1968

думаем, что чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию» (XIII, 91).

В продолжение всей своей творческой деятельности Достоевский — писатель и публицист — пристально продолжал анализировать и прошлое, и современность, желая постичь содержание и закономерность внутренних процессов исторического бытия. Всякое новое явление современности, всякая новая тенденция «текущей» действительности заставляли Достоевского вновь и вновь возвращаться к узловым моментам истории, искать в них объяснения мира сегодняшнего, а миром сегодняшним измерять и оценивать значение прошлого, выявляя в этом живом и подвижном единстве смысл и цели будущего — и самого ближайшего, и самого отдаленного. История и была интересна для Достоевского только исключительно тем, как она отзывалась в современности, а точнее, *как, из чего и для чего* она породила день сегодняшний. История поэтому мыслилась писателем как реальный путь, как путь становления, в котором человечество открывало, воплощало и совершенствовало себя. Ни в каком ином смысле история ему и не представлялась. История как экзотика, история как прошлое и утраченное, порождающее ностальгию, — все это было глубоко чуждо и даже непонятно Достоевскому. Он весь был нацелен в будущее, туда, где человек реально мог стать чище, совершеннее, *человечнее*. Всякий прошлый исторический этап потому и остался позади, что человек вырос из его форм, обрел то, что уже не вмещалось в устаревшие рамки. «Но в том-то и беда, что допетровская Русь и московский период только видимостью своею могут привлекать наше к себе внимание и сочувствие. А если повнимательней взглядеться в эту, по-видимому, чудную картину, в отдалении рисующуюся нашему воображению, мы найдем, что не всё то золото в ней, что блестит... Она потому и хороша, что вдалеке от нас, что ее показывают при *искусственном* освещении. Посмотри на нее вблизи, найдешь, что тут и краски слишком грубы, и фигуры аляповаты, и в целом что-то принужденное, натянутое, ложное... Действительно, лжи и фальши в допетровской Руси — особенно в московский период — было довольно... Ложь в общественных отношениях, в которых преобладало притворство, наружное смирение, рабство и т. п. <...> Ложь в семейных отношениях, унижавшая женщин до животного, считавшая ее за вещь, а не за личность <...> Этот квиетизм, унылое однообразие допетровской Руси указывают на какое-то внутреннее бессилие. Если московская жизнь хороша была, то скажите, пожалуйста, что же заставило народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? <...> Ведь выходит, что нельзя сливать Москву с народом, нельзя московскую, допетровскую жизнь призывать за истинное, лучшее выражение жизни народной» (XIII, 242).

Опровергая точку зрения славянофильской газеты «День», которая отрицала теперешнюю жизнь во имя московской теории, Достоевский указывал на главный отрицательный пункт ее: «... Для них всё наше развитие, положим, небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со времени Петра, — всё это равняется нулю...» (XIII, 243) и называл реальные результаты развития национальной жизни: «Неужели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Островский, Гоголь — всё, чем гордится наша литература, все имена, которые дали нам право на фактическое участие в общевропейской жизни, всё, что свежило русскую жизнь и светило в ней, всё это равняется нулю?» (XIII, 240).

Здесь следует особо выделить чрезвычайно важное и характерное обстоятельство: суть дела состоит не столько в полезности и результативности петровских реформ самих по себе, сколько в том, что преобразования эти не являются чем-то внешнеположным глубинным основам народной жизни, что, напротив (и в этом открывается подлинное значение и истинный смысл), необходимость этих преобразований обусловлена органичными и естественными потребностями развивающейся национальной жизни. В той же статье («Два лагеря теоретиков») Достоевский писал: «Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух, какое-то особенное недовольство настоящим, потребность чего-то нового. Несомненно, что в ближайшее время к Петру уже чувствовал народ *худобу* жизни, заявлял свой протест против действительности и пытался выйти на свежий воздух <...> Такое историческое явление, каков Петр, выросло на русской почве, конечно, не чудом каким <...> В русском воздухе носились уже задатки реформационной бури, и в Петре только сосредоточилось это пламеннейшее общее желание — дать новое направление нашей исторической жизни...» (XIII, 244—245). Эпоха Петра — это и была такая эпоха исторической жизни, когда «чувствуется сильнейшее желание выйти из прошлого порядка вещей». «Поэтому, — утверждает Достоевский, — Петра можно назвать народным явлением настолько, насколько он выражал в себе стремление народа обновиться, дать более простору жизни — но только до сих пор он и был народен...» (XIII, 245).

Полугодом ранее опубликованная статья («Книжность и грамотность. Статья первая». — «Время», 1861, июль), направленная против «западнических» устремлений катковского «Русского вестника», тесно связана с вышеизложенными идеями и концепцией. В ней Достоевский стремится показать органическую взаимосвязь подлинных целей и результатов исторических преобразований петровской эпохи с глубинными основами народной жизни. Результатом этой взаимосвязи явился факт исключительной исторической значимости — Пушкин. В Пушкине *реально воплотился итог, высший пункт развития*, являвшегося содержанием огромного периода исторической жизни русского народа,

начавшегося петровскими преобразованиями. И Пушкин не был лишь механическим соединением противоположных начал. Это был именно полный синтез, поднявший гений Пушкина на высоту, неизмеримо более значительную, чем та, на которой стояли самые передовые люди из приобщившихся к западной культуре, и чем та, на которой находились исторические формы народной жизни. Таким образом, Пушкин воплотил в себе конечный итог того развития, которое не завершилось и ко времени Достоевского. Отсюда то пророческое значение национального народного гения, о котором так завораживающе для современников говорил Достоевский в своей знаменитой «Речи о Пушкине» через девятнадцать лет.

Характеризуя образ Онегина, Достоевский в своей статье пишет: «Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни, — именно в тот самый момент, когда *цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый привок* <...> Онегин именно принадлежит к той эпохе нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознание и наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом. К этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-то он первый и заговорил самостоятельным и сознательным русским языком» (XIII, 100—101. Здесь и ниже курсив мой, — В. К.). Доказывая, что Пушкин именно народный поэт, но стоящий на более высокой ступени развития, Достоевский пишет: «Что нужды, что народ, *на теперешней степени своего развития*, не поймет всего Пушкина? Он поймет его потом, и из его поэзии *научится познавать себя*. <...> Пушкин на той степени своего развития, на которой он стоял, никогда не мог быть понят простонародьем. <...> Народ почти всегда прав в основном начале своих чувств, желаний и стремлений; но дороги его во многом иногда неверны, ошибочны и, что плачевнее всего, форма идеалов народных часто именно противоречит тому, к чему народ стремится, конечно, моментально противоречит» (XIII, 106—107).

Пушкин, таким образом, глубоко народный поэт, но народность его есть *народность развившаяся*, подымавшаяся в силу контакта с мировой культурой на новую ступень, сама себя осознавшая. В силу этого Пушкин для народа и народной жизни значит несомненно гораздо больше, чем «настоящий простонародный поэт», поскольку такой поэт мог бы «выражать свою среду, но не возносясь над ней отнюдь, а приняв всю окружающую действительность за норму, за идеал» (XIII, 106). И, следовательно, «он был бы не глубокий, и кругозор его был бы очень узок» (XIII, 106). Пушкинская же поэзия, став фактом народной жизни, послужит ее интенсивному развитию, откроет ей пути и идеалы. «Вы говорите, что в простонародьи не отразился Пуш-

кин? Да, потому что простонародье не двигалось в своем развитии, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамоте не умеет. Но чуть только развитие коснется народа, Пушкин тотчас же получит и для этой массы свое народное значение. Мало того, будет иметь для нее историческое значение...» (XIII, 106). Одним словом, идея петровских реформ была порождена потребностями самой народной жизни, и сложности русской истории послепетровской эпохи состоят, по Достоевскому, не в том, что реформа была проведена, а в том, что (как писал он в той же статье «Два лагеря теоретиков») «дойти до нижних слоев народа реформа не успела», что проведена она была поверхностно и не широко и «осталась не более как окном, из которого избранная публика смотрела на Запад и видела, главным образом, не то, что нужно бы было видеть, училась вовсе не тому, чему должна была там учиться... Оттого петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному духу» (XIII, 244).

Это мнение Достоевского оставалось неизменным, и в «Дневнике писателя» 1876 г., призывая преклониться перед народом и соединиться с ним, он в то же время категорически заявлял: «...преклониться мы должны под одним лишь условием <...>: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой <...> Я же совершенно убежден, что это *нечто*, что мы принесли с собой, существует действительно, — не мираж, а имеет и образ, и форму, и вес» (XI, 186).

Существенны отличия подхода к истории Достоевского и Толстого. Это заметно хотя бы из различного отношения обоих писателей к личности Петра I и вообще к петровской эпохе русской жизни. Л. Толстой, который собирался написать роман об этой эпохе и длительное время изучал ее, считая, что «весь узел русской жизни сидит тут»,² так и не осуществил своего замысла. Возникло противоречие между объективной значимостью петровских преобразований (она в какой-то степени была осознана Толстым) и установками толстовской философии истории. Народ в представлении писателя был определяющей силой истории, петровские же преобразования расценивались Толстым преимущественно как антинародные. Отсюда, естественно, напрашивался вывод, что преобразования эти и не могли стать глубинным фактором национальной жизни. «Узел» не завязывался. В «Воине и мире» случилось иное, ибо исторический «узел» здесь был обусловлен нашествием Наполеона, т. е. фактором, лежащим вне национальной жизни, способствовавшим укреплению единства здоровых внутренних сил нации.³ В данном же случае фактор этот необходимо было искать внутри русской действительности. Но для этого требовалось осознание того, что жизнь России заключает

² Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 61. М., 1953, с. 349.

³ «Первым зачинщиком этого движения (т. е. того, которое привело к войне 1812, — В К.) было движение с запада на восток», — пишет Толстой в «Эпиплоге» романа (там же, т. 12, с. 240).

в себе глубинные противоречия, служащие основой внутреннего исторического процесса, закономерного и необходимого. Толстой же, по словам Б. Эйхенбаума, был склонен считать, «что настоящая жизнь людей идет независимо от истории, что в основе своей человеческая жизнь неизменна... Исторический материал сопротивлялся этой тенденции».⁴

Достоевский был более последователен в оценке петровских преобразований, так как сознавал и их противоречивость, и их необходимость, обусловленную внутренними закономерностями развития русской нации. Достоевский не раз — и весьма резко — упрекал Петра в том, что народ был для него только податным слоем и что Петр способствовал его закреплению. Тем не менее он усматривал заслугу Петра как исторического деятеля в его «идее», т. е. в осознании и в активном осуществлении требований национальной жизни, которые созревали в ней подспудно, еще не осознанно. Таким образом, история, с точки зрения Достоевского, была тем процессом, в котором и осуществлялся путь к утверждению подлинных высших основ жизни.

Достоевский не был склонен считать движущей силой истории волю провидения или фатум, который подчиняет себе все жизненные проявления. История для него всегда была проявлением некоторых конкретных, реально воплощенных сущностей — человеческой личности, народа, России, Европы, человечества. «*Все живое составлялось само собой и жило в самом деле, за правду. Все лучшие идеи и постановления Запада были выжиты у него самостоятельно, рядом веков, вследствие органической, непосредственной и постепенной необходимости*» (XIII, с. 518. Курсив мой, — В. К.). Точно так же и русский народ, как живой и самостоятельный организм, «выживает свои выводы практически, на примерах» (XIII, 520).

Мысль Достоевского, высказанная здесь, сводится к тому, что все идет из недр самого народа, самой жизни, ею выживается и воплощается...

Сходную мысль высказывает Достоевский в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г., объясняя, что, по его мнению, есть семья и как она создается: «Вы (Спасович) сказали о нем (о Кронеберге) в вашей речи, что он „плохой педагог“, это всё то же, по-моему, что и неопытный отец <...> Семья ведь тоже *создается*, а не дается готовою, и никаких прав и никаких обязанностей не дается тут готовыми, а все они сами собою, одно из другого вытекают. Тогда это только и крепко, тогда только это и свято. Создается же семья неустанно трудом любви», т. е. «когда мы, родив их (детей), следим за ними с детства: не разлучаясь, с первой улыбки их, и затем продолжаем родиться взаимно душою каждый день, каждый час в продолжение всей жизни нашей. Вот это семья, вот это святыня!»

⁴ Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974, с. 111.

(XI, 212). Семья, таким образом, создается, но само созидание это мыслится не как следование данному и готовому образцу, а как развитие самой внутренней сущности человека, которая достигает этого нового своего «святого» качества — семейного единства и любви. И это новое качество не является какой-нибудь отвлеченной идеей, а воплощается в конкретный живой организм, тем самым изменяя его, превращая человека в «опытного отца». Поэтому, считает Достоевский, «как бы ни была плодотворна сама по себе чья-нибудь заходящая к нам идея, но она лишь тогда только могла бы у нас оправдаться, утвердиться и принести нам действительную пользу, когда бы *сама* национальная *жизнь* наша <...> сама собой выжила эту идею, естественно и практически...» (XIII, 518. Курсив мой — В. К.). И чтобы не сломать и не погубить жизнь, надо не подгонять ее под мерку такой «захожей» идеи, а развивать и расширять саму жизнь, сами внутренние основы ее. «Наш русский прогресс не иначе может определиться и хоть чем-нибудь заявить себя, как только по мере развития национальной жизни нашей и пропорционально расширению круга ее самостоятельной деятельности как в экономическом, так и в духовном отношении, — пропорционально постепенности освобождения его от вековой ее в себе замкнутости» (XIII, 520).

Таким образом, все связано с самой жизнью, все обусловлено жизнью и все «лучшее и высшее» *достигается развитием самих основ жизни* в результате жизнедеятельности. Жизнь есть все, в жизни все начинается и все воплощается, жизнь есть альфа и омега человеческого бытия, она есть его единственное и абсолютное содержание. Поэтому всякая «идея» ценна постольку, поскольку совпадает с подлинной сущностью жизни и с реальным ходом развития самой жизни. «Несоответственные», «фантастические» же идеи, которых, по мнению Достоевского, «у нас много», тогда только и подчиняют себе, когда «так называемая „живая сила“, живое чувство бытия, без которого ни одно общество жить не может и земля не стоит, — решительно бог знает куда уходит» (XI, 302). Если же эта живая сила бытия крепка и здорова, тогда она способна не подчиниться любой «несоответственной идее». «О, есть понятия, выработанные и ошибочно, но до первого столкновения (большого) с действительностью»,⁵ — пишет Достоевский, имея в виду жизнь народа.

Все это служит обоснованием тому, что бессмысленна и абсурдна будет всякая идея, если она мыслит построить мир из себя, а не из самой жизни. Здесь исходная точка полемики Достоевского со всевозможными «умозрительными» и «кабинетными» идеями. Одним из таких объектов критики для Достоевского была проблема общечеловеческого идеала и, главное, пути достижения общечеловеческого братского единения.

⁵ Лит. наследство, т. 83. М., 1971, с. 460.

Прежде всего Достоевский считает, что «негде взять братства, коли его нет в действительности» (5, 79), а во-вторых, что нельзя на основе умозрительно и отвлеченно сформулированной идеи «вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула» (5, 59). Поэтому, чтобы идея общечеловечности была истинной, а не фантастической, она должна быть органическим выражением реально существующей живой жизни. Таким реально существующим организмом, заключающим в себе зародыш общечеловечности, был для Достоевского русский народ: «В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому <...> Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов; тотчас же соглашается, примиряет их в своей идее...» (XIII, 46).

Таким образом, общечеловечность утрачивала характер умозрительности и вымысленности и обретала реальное обоснование. И «европеизм» как качество, как элемент культуры включался естественно в живую плоть, а мировое развитие обретало *естественную жизненную цельность*. Отсюда полемика Достоевского со словянофильской «московской» идеей как проповедующей принцип полной обособленности России, а следовательно, и отрицающей единство человеческого мира и саму возможность равноправного братского единения. Здесь Достоевский видел сходство с тем исторически сложившимся свойством европейских народов, которое и препятствовало самой возможности всемирного единения. «...Англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе, и обратно, француз в англичанине <...> Соперничество лишает их, наконец, беспристрастности. Они перестают понимать друг друга; они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они все упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь божий мир. И тот и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других — как личное себе препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить *то, что могут совершить только все народы*, все вместе, общими соединенными силами» (XIII, 45; курсив мой, — В. К.). Русская нация тем и исключительна, что в ней непосредственно и реально, по мнению Достоевского, выражены это стремление и способность к всемирному братскому единению. Россия как нация потому так и важна для Достоевского, что в ней он видит (или, точнее, хочет видеть) природное, реальное, а не умозрительное обоснование своей концепции мирового развития, которое осуществляется по направлению к всеобщему единению, к истинной всемирной гармонии. Жизнь вообще мыслится Достоевским именно как *жизнедеятельность*, и еще точнее — как *жизне-*

творчество. Жизнь без активного, деятельного начала вообще перестает быть собственно жизнью, коснеет, разлагается и умирает. Еще в «Петербургской летописи» (1847) Достоевский характеризует Петербург как то место в России, где с наибольшей активностью осуществляется процесс жизнедеятельности: «Пожалуй: в некотором отношении здесь всё хаос, всё смесь; многое может быть пищею карриатуры, но зато всё жизнь и движение» (XIII, 23). И именно потому, что здесь идет активное жизне-творчество, Петербург и характеризуется Достоевским как средоточие «текущего», созидательного, т. е. самого существенного момента, который и определяет собою всю судьбу России. И в этой приверженности русского народа к современному моменту Достоевскому видится залог и основа будущего: «По-нашему, цел и здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, который живет, и он умеет понять его. Такой народ может жить . . .» (XIII, 23—24).

В 1878 г. в письме к «неизвестной матери» Достоевский указывает и на самого Петра как на пример созидательного отношения к жизни: «Петр Великий мог бы оставаться на мирной и спокойной жизни в Московском дворце, имея 1½ миллиона государственного дохода, и однако ж, он всю жизнь проработал, был в *труде*, и удивлялся, как это люди могут не трудиться» (П., IV, 13).

В 1875—1876 гг., откликаясь на толки общества о спиритизме, Достоевский со свойственным ему стремлением видеть, казалось бы, в случайных и незначительных явлениях отражение кардинальных, принципиально существенных проблем человеческого бытия ставит «спиритический» вопрос в прямую связь с проблемой смысла человеческого существования как такового. В записной тетради Достоевский отмечает: «Тут — о безотрадности учения, *конфискованного* жизнь». ⁶ Отвлекаясь от рассмотрения «техпической» стороны дела, он указывает на страшный смысл, на опасную подоплеку этого всеобщего увлечения: «Явись черти с откровением законов природы и тайн земных — и жизнь людей была бы украдена. . .». ⁷ Достоевский понимает всю соблазнительность обретения абсолютного знания, а значит, обретения и жизни, окончательно устроенной, понимает и естественность восторга и преклонения перед открывающим это абсолютное знание, так как действительно «кто подобен зверю сему, он сводит огонь с небеси». Но неизбежно и ужасное отрезвление, когда люди поймут, «что жизнь у них украдена за хлебы, за камни, обращенные в хлебы, за возвещенные даром, столоверченским стуком духов открытые без труда лишь, тайны природы». ⁸ Но в том-то все и дело, считает Достоевский, что если бы открылись

⁶ Там же, с. 390.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

людям тайны эпт, то «они бы познали тогда, что счастье не в счастье, а в его *достижении*».⁹

Жизнь есть творчество, и в этом активном и свободном житнетворчестве человек только и становится *человеком*. В письме к В. А. Алексееву (7 июня 1876 г.) Достоевский повторяет свою мысль о том, что если бы человек получил все, то он в сущности и не стал бы человеком, так как «тогда будет отнят у человека *труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего* — одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни» (II, III, 212). Жизнь, понимаемая как творчество, представляет и самого человека как свободного и активного созидателя, а не как страдательное существо, пассивно переживающее свое существование. В том и величие человека, что он сам, свободною волею своею, осуществляет высшее благо и высшие идеалы добра и красоты. Именно в этой причастности человеческой личности созиданию и творению, именно в этой свободе, доказывающей, что человек сам, именно *сам* творец высшей жизни, состоит истинная ценность и смысл человеческой личности и человека вообще, состоит его основополагающее единство с бытием в целом, которое предстает, таким образом, не чуждым и подчиняющим, а своим собственным, желанием собственным, устремлением собственным, созидаемым и утверждаемым. Таким образом, *в единое целое сливаются высший идеал, свобода человека и внутренние основы самой жизни*.

В «Петербургской летописи» Достоевский выражает мысль, «что жизнь целое искусство, что жить значит сделать художественное произведение из самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его (человека) клад, его капитал, его доброе сердце!» (XIII, 10—11). А в записной тетради 1872—1875 гг. Достоевский отмечает: «Эстетика есть открытие прекрасных моментов в душе человеческой, самим человеком же для самосовершенствования».¹⁰

Иными словами, человек сам открывает в себе и в своей жизни лучшие моменты и сам, устремляясь к этому лучшему и утверждая его, развивает и совершенствует себя. Поэтому «подчинить себя себе» — это и значит найти в себе лучшее, суметь всего себя подчинить этому лучшему и развить себя всего до этого лучшего. В этом и высшая свобода человека, ибо сам себя развиваю.

Только то, что принято человеком не по насилью, не по указке чьей бы то ни было, не из соображений временной «выгоды», а принято по своему органическому устремлению, как ре-

⁹ Там же.

¹⁰ Там же, с. 292.

альное осуществление своего особенного, а значит, и совершенно свободного желания, и не для приобретения через посредство этого некоторых *иных* целей, а *во имя самого этого принимаемого*, — только то прочно и истинно.

Поэтому, считает Достоевский, зло может быть действительно, по-настоящему побеждено лишь в том случае, когда оно будет пресекаться не извне, не силой и установлением закона, а внутренним нежеланием каждого человека творить злое. А это уже будет поистине гармоничное и справедливое общество, идеал общества.

Чтобы достичь такого общества, надо, следовательно, чтобы человек оказался неспособным делать зло, и не только по какой-либо злой воле, но и по причине несовершенства природы своей и общественного уклада. А это требует долгого и естественного развития. Перескочить через этот процесс развития и приступить прямо к перестройке мира в соответствии с изобретенной идеей нельзя хотя бы уже потому, «что душа человеческая не *tabula rasa* (чистая доска), не вошечек, из которого можно слепить общечеловечка» (5, 64).

В февральском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский писал: «Но если б даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если б даже и можно было их добиться прежде практики, так, а priori, из одних мечтаний сердца и „научных“ цифр, взятых притом из прежнего строя общества, — то с неготовыми, невыдержанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществляются, а, напротив, станут лишь в тягость» (XII, 64). Развитие и перестройка сложившихся организмов — дело далеко не простое и не быстрое: «Развитие народа совершается веками, уничтожение добытого им может быть задачей тоже одних только веков... Вот в том-то и была ошибка Петра, что он захотел сразу — за свою одну жизнь — переменить нравы, обычаи, воззрения русского народа» (XIII, 244). Как трудно и не скоро разрушается старое, точно так же непросто и не враз вызревает и формируется новое.

В то же время Достоевский никогда не был сторонником пассивного выжидания, упования на самотекущий процесс. «Мы совсем не согласны с заключением автора корреспонденции, — писал он однажды. — Конечно, когда разовьется образование, изменится воспитание и проч., будет легче исправить нравственность и другие дурные привычки. Но ведь это долго ждать, а между тем зло будет расти и приносить вред» (XIII, 453).

В последнем романе Достоевского с наибольшей очевидностью доказывается несостоятельность антиисторизма. Характеризуя Ивана Карамазова, Достоевский подчеркнул как существенную особенность его отрицание закономерного и необходимого исторического процесса: «Эти убеждения есть именно то, что я признаю *Синтезом* современного русского анархизма. Отрицание не бога,

а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания смысла исторической действительности и дошел до программы разрушения и анархизма. <...> Мой герой берет <...> бессмыслицу страдания детей и выводит из нее абсурд всей исторической действительности» (П., IV, 53). Иван Карамазов и в самом деле объясняет свой отказ от жизни требованием нравственного чувства. Но максимализм такой постановки вопроса ведет тоже к абсурду, так как единственный выход связывается с отрицанием самой жизни. В записной тетради 1875—1876 гг. Достоевский отмечает, что «в идеале общественная совесть должна именно так и поступить. Но далее пишет: «Этого нельзя, но высшая справедливость должна быть та. Логика событий действительных, текущих, злоба дня не та, что высшей идеально-отвлеченной справедливости, хотя эта идеальная справедливость и есть всегда и везде единственное начало жизни, дух жизни...».¹¹ Иными словами, чтобы жизнь могла достичь соответствия нравственному идеалу, необходимо учитывать сегодняшние ее возможности и закономерности их развития. Требования же нравственного идеала служат движущей и направляющей силой активного отношения к действительности. Именно этими соображениями продиктованы согласие Алехи на побег Мити; совет Зосимы, обращенный к Хохлаковой: «Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень» (14, 54). И именно потому, что живая действительность не подвластна волюнтаристическому наскоку, «любовь деятельная, — по словам Зосимы, — есть дело жестокое и устрашающее», «это работа и выдержка» (14, 54).

Очевидно, что центральная мысль Достоевского состоит в том, что средоточием всего является живая реальная жизнь, что жизнь эта развивается и совершенствуется, порождая из самой себя идеалы лучшего, которые в свою очередь через активное жизнетворчество развивают и совершенствуют жизнь действительную, ведя ее по пути прогресса. Однако это, так сказать, лишь общие принципы, отражающие концепцию жизни в ее идеале. Реальные же исторические пути, и Достоевский это прекрасно видел, были сложны и зависели от множества самых разных, но реальных причин и обстоятельств.

В одной из статей 1861 г. Достоевский пишет: «Всё зависит от обстоятельств, и всё на свете изменяется только сообразно с обстоятельствами» (XIII, 57). А в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год читаем: «Слишком ясно и понятно, что всё делается по известным законам природы и истории» (XI, 254). И тут же Достоевский объясняет, что наука, например, могла получить распространение в русском народе задолго до Петра, если бы исторические обстоятельства сложились иначе: «Царь Иван Васильевич употреблял все усилия, чтоб заво-

¹¹ Там же, с. 422—424.

евать Балтийское побережье, лет сто тридцать раньше Петра. Если бы завоевал его и завладел его гаванями и портами, то неминуемо стал бы строить свои корабли, как и Петр, а так как без науки их нельзя строить, то явилась бы неминуемо наука из Европы, как и при Петре» (XI, 254).

Но дело не только в подобных внешних «обстоятельствах», дело еще и в том, что сам процесс развития идет иногда сложными путями. Такова, по мнению Достоевского, вся история борьбы западничества и славянофильства, где каждое из этих направлений выражало в себе существенную часть единого пути становления России, но в ходе исторического воплощения этого пути выступало по отношению одно к другому как антагонистическое: «... всё это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое» (XII, 389).

Но пути, через которые пролегал развитие человечества, не только по «недоразумению», но иногда и по необходимости самой прямой ведут через сложные и противоречивые этапы, в которых легко сбиться с истинного пути направления на долгие времена, а иногда и навсегда. Таким образом, представление Достоевского об историческом прогрессе ни в коей мере не сводилось к прямолинейному, жесткому детерминизму. Со всей определенностью отмечал он потери и «вывихи» в ходе истории. Но при всех ее перипетиях, при всей ее сложной диалектике Достоевский все же усматривал в ней некий единый путь к осуществлению идеала. Характерно в этом смысле отношение писателя к Западной Европе, исторические пути которой, по его понятиям, вели к явному тупику. Но ее культурные завоевания представляли в глазах Достоевского неоспоримую и плодотворную для общемирового прогресса ценность: возрожденные «русской идеей», укрепленные русской «почвой», ценности эти должны были возвратиться к народам на новом историческом этапе. В «Братьях Карамазовых» Алеша говорит Ивану (который собирается съездить в Европу и для которого она «давно уже кладбище и никак не более», хотя и «самое дорогое кладбище»), что для обретения смысла и цели жизни «надо воскресить своих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали» (14, 210). Так у Достоевского обнаруживается историческая преемственность, и так человек получает возможность осознать свою связь с историей. Здесь открывается существенное отличие в решении этой проблемы Достоевским и Тургеневым. Тургенева же в его героях интересует прежде всего не формирование, не становление характера, а его взаимоотношения с миром, его чувства и переживания, его проблемы, порожденные столкновением с миром. Личность тургеневского героя всегда как бы привязана к определенной исторической эпохе в том смысле, что герой есть всегда явление определенного исторического этапа, уходящего в прошлое или наступающего. Но и эта обусловленность становится в ко-

нечном счете источником трагической судьбы героя: уходит эпоха, вместе с ней должен уйти и человек — такова логика истории, и логика эта стоит вне и над человеком, человек может лишь страдательно подчиниться истории.¹²

В тургеневском романе вовсе не обязательно должен быть один такой герой, но каждый из них воспринимается с позиции переживания им своей судьбы, причем автор не отказывает в сочувствии каждому из них, даже если они предстают в антагонистическом сочетании, как Павел Петрович Кирсанов и Базаров в «Отцах и детях». Характерно, что у Тургенева между героями, воплощающими разные исторические эпохи, совсем нет исторической преемственности — и в этом причина известной внутренней стабильности тургеневских характеров, которые в основе своей не способны к эволюции.

В произведениях Толстого через столкновение с действительностью герой постепенно вырабатывает некоторый нравственный комплекс, с точки зрения которого становится неприемлемым существующий порядок вещей. Но поскольку этот порядок представляет собой внутренне прочно связанную детерминированную закономерность, то в нем оказывается невозможным свободное функционирование обретенного этического принципа. Такое взаимоисключение ведет к отделению, а затем и противопоставлению обретающего истину героя всему закономерному, не благому ходу истории и общественной жизни. Герой, ищущий такого положения, в котором он не был бы «виноват», неизбежно все более и более отделяется и противопоставляется реальной действительности. Поэтому наиболее кардинальным итогом противоборства героя с обществом является его уход от несправедливого мира.

Отделиться от этого мира, уйти от него всю жизнь стремился и сам Толстой.

В романе Достоевского человек всегда предстает как средоточие, как пересечение процессов реальной действительности, а в широком смысле — процессов истории. Герой Достоевского всегда в центре жизни, он в сущности и есть история, творец ее, а значит, и себя самого. Поэтому герой Достоевского — всегда деятель, всегда активен и всегда стремится к изменению и становлению. О героях Достоевского можно сказать, что они не ищут истину, а «выживают» ее, проявляют ее свою судьбою, т. е. в конечном счете являются и ее творцами, и ее содержанием.

¹² См.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. IV. М.—Л., 1962, с. 385.

ПРОБЛЕМА НАРОДА У ДОСТОЕВСКОГО

Еще в 1862 г. Достоевский писал, что от того или другого решения вопроса о народе «зависит <...> судьба будущего русского прогресса» (XIII, 235). «Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его, — повторил он в «Дневнике писателя» за 1876 г., — теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается всё наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь» (XI, 185). Думается, что высказывания эти должны обратить особое внимание исследователей на то, как решалась Достоевским проблема народа. Тем более что современная наука уже осознала: «...проблема народа и его права на свое слово в истории — вот как Достоевский определял главное зерно своего мировоззрения. И определяя его так, он был более прав, чем те, кто полагает, что главными для Достоевского были чисто моральные или религиозные проблемы».¹

А. Ф. Лосев справедливо замечает: «Марксистско-ленинская теория не знает никакой отвлеченной народности, никакой „народности вообще“, никакой народности в виде неподвижной абстрактной фикции. Типов народности по крайней мере столько же, сколько и основных общественных формаций, в которых народ себя выражает, т. е. по крайней мере пять, не считая промежуточных звеньев».² В России XIX века были совмещены разные времена, разные «ступени социального развития» и «одновременно представлены все промежуточные стадии цивилизации».³

Достоевский как раз и услышал в России «голоса» разных «ступеней общественного развития» и разных типов народности. Причем он осмыслил их не только в рамках России, а во вселенском масштабе. В этом смысле Россия Достоевского вобрала в себя разные стадии цивилизации и неоднородные типы духовной культуры, все идеи, «которые с таким упорством и мужеством

¹ Фридлиндер Г. М. Достоевский в современном мире. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 4. Л., 1974, с. 23—24.

² Лосев А. Ф. Гомер. М., 1960, с. 59.

³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 263; т. 39, с. 344.

развивает Европа, в отдельных своих национальностях» (XIII, 498). И еще: каждый тип народности понимается Достоевским диалогически. Народность целого включает их как разные, но равноправные «голоса», дает их «синтез» — не абстрактно-философский, а художественный.

Н. И. Пруцков уже отметил, что «вопрос об общине имеет программное значение в воззрениях Достоевского на судьбы России, в его планах идеального жизнестроительства».⁴ Добавим — и в решении проблемы народа. Причем ориентируется Достоевский на славянофильское, а отчасти также герценовское понимание общины.

«Ни один западник, — утверждал он, — не понял и не сказал ничего лучше о мире, об общине русской, как Константин Аксаков в одном из самых последних своих сочинений, к сожалению неоконченном. Трудно представить себе понимание более точное, ясное, широкое и плодотворное» (XIII, 146). В духе и ранних славянофилов, и Герцена Достоевский определял русскую поземельную общину как «одну из самых крепких, самых оригинальных и самых существенных отличий сути народа».⁵ Причем, как славянофилы и в отличие от Герцена, он сопрягал идею общинности с мужицким православием.

Уже славянофилы в 1840-х гг. приблизились к осознанию того, что основа русской крестьянской общины — право коллективной собственности на землю. За это, за «новое понятие о собственности», Огарев назвал их, при всем критическом его и Герцена отношении к славянофильской доктрине как целому, «пророками русского гражданского развития».

Достоевский также включает в свое понимание земли общую землю. «Учителем мужика» для него является «сама почва», «вся земля русская». «... У нас есть и по сих пор уцелел в народе один принцип и именно тот, что земля для него всё, что он всё выводит из земли и от земли», что «из земли у него и всё остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом всё, что есть драгоценного. Вот из-за формулы-то этой он и такую вещь, как община, удержал», — пишет Достоевский (XI, 377—378). Отсюда же вытекают и основные его положения: «... — каков характер землевладения, таков и весь характер нации» (XII, 143); «По русскому, основному, самородному понятию не может быть русского человека без общего права на землю» (XIII, 519); «Мы должны сохранить свой русский тип, а стало быть, сохранить землю под собою».⁶ Правильно зафиксировав факт — «в каком характере сложилось землевладение (точнее его же слова о «распределении

⁴ См.: Пруцков Н. И. Достоевский и христианский социализм. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 1, с. 66.

⁵ Лит. наследство, т. 83. М., 1971, с. 604.

⁶ Там же, с. 523.

почвы в собственность», — В. П.), в таком характере сложилось и всё остальное» (XI, 377), — Достоевский объясняет его тем, что «в земле, в почве, есть нечто сакраментальное», выводя в духе неосознанного стихийного материализма государственные и правовые идеи из формы собственности.

Анализируя мировоззрение Достоевского, Г. М. Фридендер уже в 1964 г. выявил «социально-экономические предпосылки» его представления о «золотом веке», связь идеалов Достоевского «с исканиями гуманистической и демократической мысли эпохи», а также с русской крестьянской общиной.⁷ Из общинного коллективизма выводится, как он показал, Достоевским и идея братства как важнейшей черты мировоззрения русского крестьянства. Именно из размышлений об «общинном владении» и «о собственности» Достоевский делает вывод: «Там (в Европе, — В. П.) социализм и лучиночки, у нас братство, там личность, у нас общность». И далее: «...у нас есть древняя нравственная идея, которая, может быть, и восторжествует. Эта идея — еще издревле понятие свое, что такое честь и долг и что такое настоящее равенство и братство между людьми. На Западе жажда равенства была иная, потому что и господство было иное».⁸ Народ в «обширном смысле», по убеждению славянофилов, «объемлет все сословия, все ступени общественные, от царя до последнего крестьянина».⁹ Говоря о «расширении» крестьянской общины до размеров «всерусской общины» — «всей России, всей земли», славянофилы тем самым распространяли на всю Россию — правда, лишь в идее — то, что было присуще общинному крестьянству — принцип общинного братства. С общиной, «земской стороны» понятие народ охватывает «всех в союзе народном живущих, без различия сословий», — утверждал К. Аксаков.¹⁰

Почти также строятся размышления Достоевского. Он был убежден, что в России в отличие от Западной Европы — и именно потому, что в ней сохранился в деревне общинный быт («почва») — «нет <...> сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было». «Если и есть несогласия, то они <...> легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русского, в идеале народном» (XIII, 41). Общинный дух — «пошире сословных интересов и ценсов». Поэтому-то в России, полагал Достоевский, «всё сливается в одно цельное, стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски» (XIII, 40), «все сословные преимущества, можно сказать, тают»

⁷ См.: Фридендер Г. М. Реализм Достоевского. М.—Л., 1964, с. 39—40.

⁸ Лит. наследство, т. 83, с. 258, 405.

⁹ Аксаков И. С. Соч., т. 2. М., 1886, с. 33.

¹⁰ Русский архив, 1900, № 11, с. 384.

(XIII, 109). Эта идея является «по существу своему <...> фундаментом почвенничества».¹¹

По Достоевскому, Пушкин «первый объявил, что русский человек не раб, и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов» (XII, 351). Парадоксальность этого высказывания снимается, если понять, что крепостное право, как, впрочем, и новый капиталистический гнет, «сор и грязь» мыслятся Достоевским как наносное, внешнее начало по отношению к русскому человеку, как маска, которая не приросла к его лицу, не определила его внутреннюю сущность. «Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков — и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не продугадывал» (4, 121—122). Вот это-то проникновение под покров феодально-капиталистических отношений, под покров рабства, в скрытые глубинные стихии русской общинной жизни определяет движение мысли Достоевского. Отсюда признание Достоевским сословных классовых интересов лишь «временными, случайными», утверждение парадоксалиста у Достоевского о том, что помещик и мужик, сражаясь вместе в двенадцатом году, были «ближе друг к другу», чем у себя в деревне, в мирной усадьбе. Это объясняется тем, что, по мысли Достоевского, между народом и образованным сословием был «один только случай соединения — двенадцатый год», когда массы пробудились к активной деятельности, к «участию» в общих «высших делах» «на равной ноге с интеллигенцией». Именно на эту ситуацию ориентирован его вывод — «народ наш <...> могущественный и сознающий свое могущество организм, сплоченный весь как один человек», — одна из любимых мыслей славянофилов.¹² По убеждению Достоевского, если до 1861 г. этому единству мешало крепостное право, то с его отменой «материально пала двухвековая стена, отделявшая народ от интеллигенции». А значит, после 1861 г. эта стена должна пасть «духовно» — через наибольшее всенародное развитие образованности. Версилов у Достоевского говорит, что «знамя за ним (дворянством, — В. П.) остается духовное. Теперь, после крепостного права, это еще яснее обозначилось <...>. Теперь остается одно чистое знамя духа». А на замечание князя Сокольского, что «это идеально и не удержится без материальных корней», он отвечает: «В том-то, может, и особенность русского племени, что идеал может удержаться без материальных корней» (16, 276).

Можно сказать: именно потому, что реальные классы в представлениях Достоевского идеально содержат в себе некую исконную общинную доклассовость, они в его художественном мире нередко сливались, переходили друг в друга.

¹¹ Гуральник У. А. Достоевский и литературно-эстетическая борьба 60-х годов. — В кн.: Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959, с. 300

¹² См.: Русский архив, 1900, № 11, с. 383.

Рассмотрим пример подобного «превращения» в художественном мире Достоевского. Как он утопически мыслил «преодоление» классовости?

Вначале обратимся к анализу Достоевским личности Пушкина, к раскрытию его «нового слова». Это — «поворот к народу», «соприкосновение с ним». По Достоевскому, это означает, что надо «непосредственно, практически <...> разделить с ним (народом, — В. П.) его интересы». И Пушкин первый осуществил это. «В Пушкине, — писал Достоевский, — есть <...> что-то сроднившееся с народом *взаправду*», он «соединился <...> задушевно и родственно с народом своим», «сам вдруг оказался народом». «Это был не барин <...> это был человек, сам перевоплотившийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его» (XII, 352). Отсюда Достоевский делал вывод, что в идеале возможно «перерождение всего бывшего владельческого сословия в нечто иное, чем прежде, в народ, в интеллигентный народ».

Важен в этой связи анализ Достоевским «Анны Карениной». Достоевский пишет о лицах, близких Вронскому, что они «однообразны и сословны». Но вот является сцена смертельной болезни героини — и «в самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековая жизненная правда, и разом все озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, — единственно силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна истина <...> Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немудрыми, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей!» (XII, 53). И позже, возвращаясь к этой сцене. Достоевский пишет, что «преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, всё простивших друг другу, в существа, которые сами, взаимным всепрощением, сняли с себя ложь, вину и преступность <...>» (XII, 210). Достоевский понимает, что такие моменты «вековой», «жизненной правды», «природного закона», перед которыми вся суета, все сословные и классовые различия «исчезают», являются «редко». Но он убежден, что Толстой «доказал» и «напомнил» русскому читателю, что «правда эта существует в самом деле, не на веру, не в идеале только, а неминуемо и необходимо и воочию» (XII, 53).

Достоевский пишет о рассмотренных страницах «Анны Карениной», что здесь ставится вопрос «злобы дня», который в данный момент политически и социально «оставляется неразрешимым». В стремлении разрешить его — пафос Достоевского.

О «Преступлении и наказании» Достоевский писал М. Н. Каткову, что здесь «божия правда, земной закон», «закон правды и человеческая природа взяли свое» Не о том же ли законе идет

речь и в его анализе «Анны Карениной»? Больше того, нам представляется, что все творчество Достоевского есть поиск и утверждение такой правды.

Хотя Достоевский и понимал, что умение воспринять народную правду, подобное пушкинскому, встречается «редко», именно на аналогичных явлениях он делал акцент в своем творчестве и своей публицистике. По собственным его словам, «то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня всегда составляет самую сущность действительного» (П., II, 69). Такой подход он связывал с особенностью своего «реализма в высшем смысле». В художественном мире Достоевского «обычные» условия человеческой жизни и сознания доводятся «до крайности» («слишком»), до порога смерти (не случаен и акцент на смертельной болезни Анны Карениной), а это то состояние, которое приводит к скачкообразным («вдруг») изменениям, к переходам противоположностей друг в друга, к тем переходам, которые при «нормальных» условиях или не происходят, или происходят редко.¹³ Такова же природа и утопического представления Достоевского о «слиянии сословий», «перерождении» дворянства и его лучших людей в народ, как мыслимой идеальной возможности, которая потенциально существовала в России.

В художественном мире Достоевского противоречие между классовой и до- или сверхклассовой Россией не снимается, но находит своеобразную символическую форму движения, форму, в которой оно одновременно осуществляется и разрешается. В этом выражается поиск «в человеке человека», восстановление в человеке образа человеческого. Этот смысл заключен, по Достоевскому, в слове каторжных «образить». И восклицание Достоевского: «Только бы образить его», т. е. народ, — как раз и следует понимать как призыв найти «в народе народ», восстановить его идеальный образ. Будучи вырванной из художественной ткани романов Достоевского, выраженная им же публицистически идея «слияния сословий» из внутреннего живого процесса борьбы и движения противоречий превращается в абстрактное, мертвое тождество, в абстракцию от живой реальности. И в таком только виде эта идея приобретает глубоко реакционный смысл.

Итак, идея нравственного «сближения сословий» в художественном мире Достоевского — не просто призыв к компромиссу, свойственный заурядным реакционерам его эпохи. Сближение сословий мыслилось, во-первых, в связи с перерождением «высших классов» в народ за счет потери своей классовости — она должна была «слезть», «исчезнуть», «раствориться», «растаять», по Достоевскому, во всерусской и, более того, всемирной общине. Эту правду и утверждал Достоевский. В то же время «слияние со-

¹³ См.: Горбач В. И. Проблемы диалектических противоречий. М., 1972, с. 91, 95.

словий мыслилось им как одновременное «приобщение» русского общинного народа к высшей культуре и науке Запада, которыми обладала дворянская интеллигенция. Надо, писал он, «мужика вознести до вашей (интеллигенции, — В. П.) сложности» (XII, 63). Все это и определяется Достоевским как «примирение цивилизации с народным началом», именно цивилизации, а не ее «лжеподобия», т. е. соединение народа с культурой.

Итак, утопический идеал «слияния сословий» вырастал у Достоевского также из специфических принципов его художественного мышления, причем он подтверждался для него народным художественным мышлением, переливался в него. Народ у Достоевского личностен («Национальность есть более ничего как народная личность»¹⁴), а отсюда следует, что художественные принципы анализа Достоевским личности не могли не сказаться на его анализе также и наций, народа. В художественном мире Достоевского образ героя был всегда неразрывно связан с образом идеи и неотделим от него. Неотделима от народа, нации, — от всех народов и наций, по Достоевскому, — и их «владычествующая идея». «Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое» (XI, 15). «Нации живут великим чувством и великою всех единяющею и все освещающею мыслью» (XII, 261).

Отсюда и тезис Достоевского о том, что к русскому народу «привилась и развилась высшая идея» (П., IV, 34): «в нем таится мысль и великая мысль» (XIII, 195). Причем она еще «неразрешенная». Здесь — вынесенный за пределы анализа психологии отдельного человека принцип понимания человека — тот самый, который высказал Алеша Карамазов по поводу Ивана: «В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» (14, 76). Не случайно Достоевский неоднократно подчеркивал, что «Россия еще молода и только что собирается жить», что она еще не сказала, но «скажет свое новое слово в науке и в жизни», причем слово уже «не помещичье».

Как «носителем полноценной идеи» в мире Достоевского мог быть только «человек в человеке», так народ для Достоевского — это «народ в народе», который в своих идеалах преодолевает свою собственную и всяческую классовую определенность, отменяет иерархический строй и общественное неравенство.

Проблема народа уже у ранних славянофилов была непосредственно связана с проблемой государства. Причем, как об этом справедливо пишет Н. Цимбаев, «социально-политические идеалы и стремления патриархального крестьянства явились, по нашему мнению, основными источниками политической теории К. Арса-

¹⁴ Лит. наследство, т. 83, с. 293.

кова... В письме к И. Аксакову он прямо указывал, что «без русского народа нельзя было прийти к мысли о земле и государстве».¹⁵ Естественно, что говоря о народе в представлении Достоевского мы сегодня не можем игнорировать отношение писателя к самодержавию. Думается, что обе проблемы — и народа, и самодержавия — у Достоевского могут быть верно и до конца решены лишь с учетом проблемы русской крестьянской общины. Поэтому выделим в общине тот момент, о котором говорили К. Маркс и В. И. Ленин. К. Маркс писал, что «органы демократического самоуправления» искони присущи каждой сельской общине в России,¹⁶ а В. И. Ленин назвал общину «демократической организацией местного самоуправления».¹⁷ Вот этот-то общинный демократизм и отстаивали по-своему ранние славянофилы, а за ними позднее и Достоевский, воспринявший и трансформировавший многие из их идей. Вне этого демократизма не мыслил Достоевский русский народ.

А. И. Кошелев в книге «Наше положение», которую конспектировал К. Маркс, писал: «В России были раньше „народные веча“ (*совещательные народные собрания*), не только равноправные с князем, но имевшие даже власть, превышающую права княжеские».¹⁸ Выделенные слова принадлежат Марксу. Кошелев говорит в приведенном отрывке об исходной установке славянофилов, и уточнение Маркса чрезвычайно существенно, потому что связывает эту установку с доклассовым обществом, в котором верховная власть принадлежала народному собранию. Народное собрание, «сход мирской есть для народа, — по убеждению Хомякова, — училище, которое выше всякого книжного воспитания <...> Мирскими сходами были спасены дух и разум русских крестьян, несмотря на рабство, в которое заковал их несправедливый закон»,¹⁹ т. е. крепостное право. Собрание членов общины как выражение нравственной деятельности и, что самое главное, как необходимое проявление существования человеческого общества защищал и К. Аксаков. Народ, живущий под такими условиями, он называл *землею* и, противопоставляя ее высшим сословиям (публике), писал: «... у публики — свет <...> у народа — мир (сходка)».²⁰ «Мир есть самозаконное верховное явление народа, вполне удовлетворяющее в нем требованиям законности, общест-

¹⁵ Ци м б а е в Н. И. Записка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России» и ее место в идеологии славянофильства. — Вестник Моск. ун-та. История, 1972, № 2, с. 60. Ср.: Галактионов А., Никандров П. Русская философия XI—XIX веков. Л., 1970, с. 354.

¹⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 701.

¹⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 344. Напомним, что классики марксизма видели и другую сторону общины — фискальную, крепостническую.

¹⁸ Цит. по: Архив Маркса и Энгельса, т. XI. М., 1949, с. 22.

¹⁹ Хомяков А. Полн. собр. соч., т. I. М., 1900, с. 404.

²⁰ Молва, 1857, № 36, с. 411.

венной правды, общественного суда, одним словом, общественной воли. Мир соединяет в себе все власти: ибо он есть источник всей власти <...> Верховность мира остается за ним, и всякий раз, когда мир собирается на собор (на сход), верховность его является с ним вместе».²¹ Славянофильское утверждение общины при всех его противоречиях включало в себя утверждение общинного демократизма.

Достоевский во многом непосредственно примыкает к этим идеям. Как уже отмечалось выше, он связывает, в определенном смысле сливает понятия «земли», «почвы», национальности. А так как в первых понятиях отражается общинная жизнь народа, то мысль Достоевского — «идея национальностей есть новая форма демократии»²² — раскрывается именно в том смысле, что Достоевский расширительно толкует идею общинного демократизма, мирской сходки, хотя после 1861 г. он видел и многие противоречия реальной русской деревни. В этом смысле особенно примечателен анализ драмы Кишенского «Пить до дна — не видеть добра» в «Дневнике писателя» за 1873 г. Мирская сходка, пишет здесь Достоевский, «это всё, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе, главная исконная связь его и главная будущая надежда его». Наум Егорович, герой пьесы Кишенского, смотрит на мирской приговор «с высшей точки»: приговор села для него символ приговора всей крестьянской России, которая лишь миром и мирским приговором вся держится и стоит. И вот, замечает Достоевский, «эта сходка уже носит в себе начало своего разложения, уже больна в своем внутреннем содержании! Вы видите, что уже во многом — это лишь одна форма, но что внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее пошатнулась — пошатнулась вместе с запатававшимися людьми». Мирской приговор теперь «состоится такой, какого хочет богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой», а Наума, который «продолжает верить в правду мирскую во что бы ни стало, чуть не насильно», Достоевский называет последним из ее могикан.

Но хотя и сам Достоевский понимал, что «несомненно и очень скоро» община попадет «в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим помещикам», он «чуть не насильно» продолжал верить в исконный демократизм общины и его могучую силу. Эксплуатацию общины и приближающуюся ее гибель Достоевский внешне исторически объяснял незнанием царем и высшими сословиями народной России.

Достоевский точно так же, как и до него славянофилы, был убежден, что началом русской государственности были «добровольность», «свобода и мир». Он писал: «Да, любовное, а не завоевательное начало государства нашего (которое открыли, кажется,

²¹ Цит. по кн.: Актуальные проблемы истории философии народов СССР. Изд-во МГУ. М., 1972, с. 214.

²² Лит. наследство, т. 83, с. 186.

первые славянофилы) есть величайшая мысль, на которой много созиждется. Эту мысль мы скажем Европе, которая в ней ничего ровно не понимает» (П., II, 100). У славянофилов «любовное», т. е. мирное, начало государства означало избрание царя землей. Отсюда ясны утопические представления и Достоевского о любовном союзе в России народа и власти.

Несмотря на то что Достоевский писал об отмене крепостного права как о добровольном акте высшего сословия, он тем не менее не забывал о роли «земства» в освобождении крестьян. Он указывал, что «от крепостного права откупились, благодаря согласию земли. Вот на это-то согласие я бью и во всем остальном. Это согласие <...> одно из народных начал» (XI, 377). А что такое «согласие земли»? Это — неправомерное, искусственное «расширение» общинного демократизма до идеи «*всеобщего демократического настроения и всеобщего согласия... всех русских людей, начиная с самого верху*» (XI, 306).

Итак, борясь за сохранение общины и мирской сходки, за «согласие земли», Достоевский боролся за определенное утверждение и «расширение» общинного демократизма. Причем, если славянофилы лишь спротиворечивали его на все остальные отношения, что вступало в противоречие с реальным демократизмом, то Достоевский, впитав в себя общинный демократизм, им *не ограничивался*. Он опирался на более широкую социальную основу, чем славянофилы; недаром он стремился стать историком не дворянства, но «остальных уголков» России.

Очень знаменательной представляется нам в этом аспекте мысль В. Я. Кирпотина: «„Противопоставление“ земства „централизации“ делалось во имя робких симпатий к народной самостоятельности, а может быть, и народного самоуправления, в противовес бюрократизму самодержавия, хотя после каторги Достоевский не позволял себе помыслить дурно о самом самодержавии».²³ Здесь точно зафиксированы два полюса мысли Достоевского: стремление к народному самоуправлению и признание царской власти. Все же Кирпотин, как и многие исследователи славянофильства до него, не может связать оба эти полюса. Попробуем более конкретно осмыслить движение идей Достоевского, *единство* указанных Кирпотиним противоположностей.

В нашей научной литературе уже отмечалось, что между русским государством и общиной, по мнению славянофилов, создаются «особые» отношения, при когорых государство и община существуют параллельно, «сохраняя свою внутреннюю целостность и самобытность».²⁴

Вдумаемся в вопрос: откуда идет указанный параллелизм? Единственный, на наш взгляд, ответ на него обращает нас

²³ Кирпотин В. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966, с. 82.

²⁴ История философии в СССР, т. 2. М., 1968, с. 207.

к общине: «философское понятие о государстве» славянофилов выводится из русской сельской общины. А развитие государства есть не что иное, как раскрытие внутренних начал, на которых оно основано.

Будучи переходной ступенью от первичной формации к вторичной, от родового (доклассового) общества к государственному, община сама в себе таила (а значит, в лице своих теоретиков только ее и могла проецировать на феодальное общество) ситуацию перехода демократической власти родового строя к государственной в собственном смысле этого слова, «так что в течение некоторого времени (сохранение ситуации «сохраняет» и это время, — В. П.) обе они существовали бок-о-бок»,²⁵ одна «рядом» с другой, одна параллельно другой. И вот это-то «правление двух властей»²⁶ (ср.: «Вся Россия была под двумя властями — Земли и Государства»²⁷) определило учение славянофилов о внутренней и внешней правде.

К. Маркс подчеркивал, что подобная ситуация связана с введением должности военачальника (басилевса), который избирается народом, а власть военачальника (басилевса), как заметил Ф. Энгельс, — это «предводительство над свободными».²⁸

У Достоевского и у славянофилов понятие «монархии» (характерны другие встречающиеся в их статьях наименования — «древнее самодержавие» и «земское государство») означает исторически неоправданную трансформацию древнего идеала военной демократии, при которой родовая (или общинная) организация еще сохранялась в полной силе. Последнюю мысль применительно к Достоевскому уже высказывал В. Кирпотин: «Достоевский хотел бы превратить императора в „демократического земского царя».²⁹

Обратим внимание еще на один аспект понимания славянофилами царской власти. «Призвав его, — писал Ю. Самарин о князе, — и поставив над собою, община выразила в живом образе свое живое единство»,³⁰ и добавлял, что «всякий русский <...> видит в русском царе самого себя». И. С. Аксаков тоже подчеркивал, что в царе русский «народ олицетворяет всю свою несметную совокупность, всю общность, все единство, всю силу, всю власть».³¹ Близкую мысль неоднократно высказывает Достоевский, считая, что в государстве «выражается в понятиях народа вполне русский народ» (П., II, 193), «что кто обрабатывает землю,

²⁵ Архив Маркса и Энгельса, т. IX. 1941, с. 146. См также: с. 100, 168.

²⁶ Там же, с. 88.

²⁷ Аксаков К. С. Соч., т. 1. М., 1889, с. 301.

²⁸ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 107; Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве, т. 1. М., 1976, с. 253—255.

²⁹ Кирпотин В. Достоевский в шестидесятые годы. с. 85.

³⁰ Самарин Ю. Ф. Соч., т. I. М., 1877, с. 52.

³¹ Аксаков И. С. Соч., т. 5, с. 27.

тот и ведет все за собою, что земледельцы и суть государство, ядро его, сердцевина», а потому царь есть всего лишь «всенародная, всеединяющая сила», «знамя» народа и пр. Другими словами, самодержавие в понимании Достоевского — это утопически продолженная в сферу государственных отношений сельская община, специфическая форма бытия народа, символ его единства в ту эпоху. Идея эта — метафорическая, художественная, а не строго историческая.

Означало ли утверждение утопической идеи о возможности существования свободной «самоуправляющейся местной земли» с царизмом, что ранние славянофилы, а позднее Достоевский не видели расхождения своего идеала с действительностью? Разумеется, *видели*. Но ошибочно считали лишь «уклонением» от идеала, не понимая несовместимости обоих этих начал.

Славянофилы были убеждены, что главное зло России — нарушение принципа «взаимного невмешательства», посягательство на народ со стороны государства и, в частности, введение крепостного права — началось с Петра I. При нем «старый земский тип русского государства был <...> смят, скомкан и заменен <...> типом полицейского государства, господствовавшим тогда почти во всей континентальной Западной Европе». ³² Государство «перешло границы и сдавило общину в ее обычаях, в ее жизни», ³³ а «древнее самодержавие возведено не только на практике (в силу случайности), но в принципе в деспотизм», в «антагонизм» и «тиранию» (И. Аксаков).

Славянофилы называли власть Петра I и вообще власть, поставившую себя «опричь, вне земли» (народа), существующую «как бы для себя и для своих целей», не только деспотической и антинародной, но и антирусской, перенесенной «из Запада». «Самодержавие <...>, — писал И. Аксаков, — отделенное от народности <...> уже перестает быть русским самодержавием, как понимает его народ, а становится не то немецким абсолютизмом <...>, не то азиатским деспотизмом». ³⁴ Напомним также весьма острую критику многими славянофилами буржуазного парламентаризма: «Так называемый народ, — писал И. Аксаков, — представленный палатами и изрекающий решения во имя народа, в сущности вовсе не представляет на Западе <...> безделицы: *преобладающего* слоя населения, именно простонародных масс <...>». ³⁵ Будучи достаточно проницательной, эта характеристика свидетельствует о том, что оценка всех форм государства велась славянофилами в конечном счете с точки зрения «простонародных масс», хотя еще и не вышедших на политическую арену. Во всяком случае

³² Теория государства у славянофилов. СПб., 1898, с. 8

³³ Аксаков К. С. Соч., т. 1, с. 58.

³⁴ Аксаков И. С. Соч., т. 5, с. 142

³⁵ Там же, с. 27

эта точка зрения субъективно была для них неким высшим, идеальным критерием.

Достоевский также был убежден, что Петр I «закрепостил народ», что он «разорвал» Россию, был деспот. Но Достоевский, во-первых, относит «посягательство» со стороны государства на народ к более раннему времени, чем славянофилы, критикуя славянофильский «День» за то, что он «берет за норму отношений земства к другим началам быта московский XVI и XVII веков». Достоевский указывает, что в это время «централизация уже страшно посягнула на права и свободу земства» (XIII, 242). Для самого Достоевского «свободное земство» существовало лишь «в первые шесть веков нашего исторического быта». И хотя Достоевский, как и славянофилы, считал, что «одна идея Петра была народной», «но Петр, как факт, был в высшей степени антинароден», он иначе понимал саму «идею Петра».

Как под покровом феодализма славянофилы, а вслед за ними и Достоевский стремились нащупать стихию народной (общинной) жизни (в том числе и общинное самоуправление), так и «под оболочкой петровского, чуждого национальному духу абсолютизма»,³⁶ под оболочкой современного им царского деспотизма они пытались найти такую форму государственной власти, которая зиждется на мирском или общинном строе Русской земли и не отчуждена от народа. Поэтому Достоевский был склонен ошибочно отождествлять «земское государство» с существующим. Отсюда убеждение Достоевского: царь «должен поверить, что народ ему дети» и его же горькое признание: «что-то уж долго не верит».³⁷

Тем не менее исторической бедой Достоевского было то, что вслед за славянофилами он *объективно* пришел к апологии царской власти. Достоевский не учитывал той бесспорной истины, что под деспотической оболочкой никакой субстанции «земского государства» на деле в его эпоху не сохранилось, ибо самодержавие было государством помещиков и буржуазии, а не проявлением общинной жизни, как он ошибочно полагал. «В России, — полемизируя не только с Гегелем, но и со славянофилами, писал Герцен (и эти его слова целиком можно отнести к Достоевскому), — за государством видимым нет государства невидимого, которое было бы апофеозом, преобразованием существующего порядка вещей, нет того недостижимого идеала, который никогда не совпадает с действительностью, хотя и всегда обещает стать ею».³⁸ Попытки уйти в теории от царского деспотизма путем апелляции к общине были практически бесполезны, ибо община составляла в условиях самодержавия «великолепную и самую

³⁶ Там же, с. 86.

³⁷ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 366 (Достоевский. Собр. соч., т. I).

³⁸ Герцен в А. И. Собр. соч., т. 7 М., 1956, с. 251

широкую основу для эксплуатации и деспотизма».³⁹ Как точно понял уже Герцен, оппозиция славянофилов «зашла слишком далеко и увидела, что непонятным для себя образом она очутилась на стороне правительства, наперекор собственным стремлениям к свободе».⁴⁰ То же можно сказать с полным правом о Достоевском: он стал «монархистом» наперекор внутреннему стремлению к свободе. Попытка утверждения народа как высшей общественно-нравственной инстанции, без ясного осознания трагической судьбы общинного демократизма, который порождал «царистские иллюзии», некритическое приятие этих иллюзий привели Достоевского к бесчисленным и досадным консервативным заблуждениям.

И все же не случайно в творчестве Достоевского «земля» — лишь *один* из миров, входящих в единство романа, *один* из планов его. Пусть на ней лежит определенный иерархически высший акцент по сравнению с «почвой» и со «средою», все же «земля» — аспект лишь таких героев, как Соня Мармеладова, как старец Зосима или Алеша.⁴¹ Сам Достоевский писал: «Отрицание земли нужно, чтоб быть бесконечным, Христос, высочайший положительный идеал человека, нес в себе отрицание земли...».⁴² Это было по существу и диалектическим отрицанием Достоевским идеала «примитивного коммунизма» сельской общины.

То лучшее, что было в русском общинном крестьянстве, те подлинные ценности, которые сохранились в нем от доклассовой ступени развития России, «расширились», «обогащались» Достоевским за счет ценностей, выработанных цивилизацией. И все же в реальном контексте идейно-политической борьбы России второй половины XIX века, его утопическое стремление представить самодержавие по образцу крестьянской общины объективно приобретало консервативный и даже реакционный характер. Это верно и глубоко раскрыто советской наукой.

«В большом времени» (М. Бахтин) выявляется, однако, и более широкое содержание идей русского писателя. Многие из того, что в его мировоззрении на первый взгляд производит впечатление глубокого консерватизма (и формально является таковым), вобрало в себя стихийно-демократические стремления и идеалы, которые мы сегодня можем ощутить несравненно более отчетливо и глубоко, чем предшествующие поколения.⁴³

³⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 97.

⁴⁰ Герцен А. И. Собр. соч., т. 7, с. 232.

⁴¹ См. об этом: Энгельсгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского. — В кн.: Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Л.—М., 1924, с. 71—105.

⁴² Лит. наследство, т. 83, с. 404.

⁴³ Развитие некоторых высказанных здесь положений см. в нашей статье «Социально-эстетический смысл концепции народности у Ф. М. Достоевского» (Эстетические взгляды писателя и художественное творчество. Кн. третья. Краснодар, 1979, с. 79—92).

ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский и Лев Толстой преклонялись перед «правдой» народной жизни, и для каждого из них эта правда была мерилем всех ценностей, основой мироотношения. Но понимание «народной правды» было у них неодинаковым. И разница во взглядах на народ определяет существенные различия в трактовке ими и социологических понятий, и эстетических.

В педагогических статьях Толстого открыто заявлен основной методологический принцип его философско-социологических исканий: судить о законах истории, о потребностях общества, опираясь на «те основные законы, которыми живет народ», русское крестьянство.¹ Именно эти законы, по мнению писателя, дают ему основание отвергать и социально-экономический прогресс, как явление, выгодное лишь состоятельным людям, и школьное воспитание как насилие образованного общества над народом. Пафос педагогических статей Л. Толстого в защите прав народа на свободное развитие, в утверждении непримиримых противоречий между потребностями народа и интересами правящих классов. Стремясь подчеркнуть всеобщий характер этих противоречий, Толстой доходит до крайностей: всю литературу, созданную образованным обществом, он объявляет явлением, чуждым народу. По мысли Толстого, все современные русские журналы, в том числе самые передовые, как и сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, «неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды» (8, 340). Однако смешение передовой литературы с «господской» не означает отрицания искусства вообще. Наоборот, Толстой признает большую роль искусства в жизни человека, утверждает, что потребность художественного творчества относится к коренным, непреложным потребностям человека. Для Толстого главным аргументом является то, что эта потребность живет в крестьянских детях: они тянутся к искус-

¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (юбилейное изд.), т. 8. М., 1936, с. 16. — Далее в тексте ссылки даются на это издание.

ству, умеют наслаждаться им и проявляют незаурядные творческие способности — стало быть, искусства вообще не вредны, а нужны для человека. «Я полагаю, — заключает Толстой, — что потребность наслаждения искусством и служения искусству лежит в каждой человеческой личности, к какой бы породе и среде она ни принадлежала, и что эта потребность имеет права и должна быть удовлетворена» (8, 115).

Потребность в художественном творчестве, обнаруженная в крестьянских детях, становится для Толстого главным доводом для доказательства того, что европейский прогресс не является обязательным законом для всего человечества, что «идеал наш сзади, а не впереди» (8, 323). Единственный общий прогресс — нравственный — он связывал с возможностью сохранения первоначальной гармонической природы человека. «Человек рождается совершенным — есть великое слово, сказанное Руссо <...> Родившись, человек представляет собой прообраз гармонии, правды, красоты и добра <...> Воспитание портит, а не исправляет людей» (8, 322—323). Стало быть, по Толстому, гармония, красота сопродуродны естественной человеческой натуре. Оттого ребенок без всякой подготовки понимает и любит красоту и ее проявления в искусстве. Естественной, неиспорченной природой крестьянина Толстой объясняет и непонимание народом сложных произведений искусства как фальшивых ценностей, созданных людьми, живущими неестественной жизнью, испорченными цивилизацией.

Взгляд на естественность, стихийное начало как главный источник «живой жизни», вынесенный из наблюдений над патриархальным крестьянством, укрепленный в нем руссоистской философией, определяет и решение Толстым вопроса о социальной роли искусства. Он утверждает в эти годы огромную роль искусства в личностном развитии человека. Искусство лучше всего помогает всестороннему развитию сил и способностей ребенка, воспитывает у него целостное восприятие мира, а значит, служит сохранению природной гармонии.² Взрослому же человеку подлинное искусство помогает удерживать тот взгляд на вещи, который присущ неиспорченной, гармонической личности. Искусство может помочь человеку понять безыскусную правду жизни, отречься от ложных, привитых обществом взглядов и пробиться к пониманию своей человеческой сути, соответствующему народным потребностям и представлениям.

Толстовское понимание художественной потребности, намеченное в его педагогических статьях 60-х годов, заключало в себе и принцип естественной жизненной нормы как этико-эстетический идеал творца «Войны и мира».

² См.: Ищук Г. Н. Социальная природа литературы и искусства в понимании Л. Н. Толстого. Калинин, 1972, с. 103.

У Достоевского мысль об эстетической потребности тоже связана с размышлениями о гармоническом человеке, но эти размышления включены в иную систему философско-социологических воззрений. Отправным пунктом этих воззрений также является народ. Но в народе он ценит не естественные потребности и неиспорченную натуру, а цельный нравственный идеал. Народ для Достоевского — хранитель общенационального идеала жизни по законам братской любви, совестливости и самоотвержения. Идеал этот, по мысли Достоевского, живет и в душах людей из образованного общества, только они не хотят признать этого и обольщаются чужеземными индивидуалистическими идеалами.

Толстой доказывал несовместимость потребностей народа и «образованного общества». Достоевский, наоборот, стремится доказать единство этих потребностей. Достоевский исходит из ложной посылки, будто в России никогда не было сословной вражды. Но для доказательства единения русского народа и общества в своих идеалах он ссылается на передовую русскую литературу. И анализ Достоевским этой литературы в статье «Книжность и грамотность. Статья первая» сделан так, что для нас сегодня он звучит как дополнение к трактовке народности литературы в известной статье Добролюбова. Добролюбов утверждал в ней прежде всего необходимость для литературы быть голосом народа, выражать его непосредственные нужды и интересы. Достоевский своим анализом творчества Пушкина в названной статье убедительно показал, что литература служит народу и тогда, когда она выражает общие гуманистические запросы личности, раскрывает противоречия и потребности всего национального бытия (Достоевский развивал здесь трактовку литературы как выражения «духа народа», данную поздним Белинским).³

Разумеется, народность Пушкина и всей передовой русской литературы — это для Достоевского аргумент в пользу будто бы начинающегося единения русских сословий. Однако писатель сознает, что такое единение — лишь желанная мечта. В действительности же он, как и Толстой, констатирует разъединенность «образованного общества» и народа, их взаимное непонимание и недоверие. Достоевский ярко показал это во второй статье под заглавием «Книжность и грамотность», изобразив конфликт между интеллигентом, желающим искоренить «народные предрассудки», и мужиком, усматривающим в барском просветительстве очередное посягательство на его волю.

Забываясь о народном просвещении, Достоевский одновременно с Толстым настаивает на том, что народу нужно дать то, «чего он просит, чего хочет он» (XIII, 132). Достоевский, как и Толстой, приходит к выводу, что эстетическое наслаждение — лучшее

³ См.: Щенников Г. К. Проблемы социальной функции искусства в эстетике Ф. М. Достоевского. — В кн.: Русская литература 1870—1890 годов. Свердловск, 1978, с. 58—68.

средство к пробуждению духовных интересов в простом человеке, только что обучившемся грамоте. И он радуется за художественную литературу как средство образования народа, имея в виду не только наиболее приятный и потому естественный путь к развитию, но и заботясь о самостоятельности этого развития. По мысли Достоевского, народ скорее найдет то, что нужно для его просвещения, в художественной литературе, чем в популярно-научных статьях. Достоевский разделяет пафос толстовских выступлений против стремления учителей-воспитателей из образованных сословий навязать народу свои представления и вкусы. Подобно Толстому, рекомендовавшему использовать для образования народа так называемую «переходную литературу», Достоевский советует «просветителям народа» не шарахаться и от лучочных изданий. По мнению Достоевского, интерес народа к этим книгам свидетельствует о живущей в нем потребности «фактов, прямо противоположных насущной действительности и глубоко отрицающих ее непреложность и ее гнетущее спокойствие» (19, 50).

Мечтая о гармонии сословий, Достоевский не видел в самой действительности такого социального пласта или жизненной сферы, которая представляла бы гармоническую жизнь. Современную ему эпоху он воспринимал как эпоху хаоса, общественной дисгармонии. И социальную функцию искусства он видел в том, чтобы освещать в этом хаосе путь человека к гармонической жизни. Даже говоря о влиянии искусства на отдельного человека, Достоевский ценит «поэтические заложения» личности не как начала, помогающие гармоническому развитию ее, а как духовный материал, из которого формируется нравственный стержень личности: «Вот, например, такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве своем, в те дни, когда свежи и „новы все впечатления бытия“, взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно прекрасным образом <...> И кто знает? Когда этот юноша, лет двадцать—тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь общественного события, в котором он был великим передовым деятелем, таким-то, а не таким-то образом, то, может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не этак, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, виденного им двадцать лет назад» (18, 78).

В статье «Г-н—бов и вопрос об искусстве» общественная функция искусства обосновывается природой эстетической потребности. Корни эстетической потребности Достоевский видит не только в личных, естественных побуждениях человека, но и в закономерностях общественной жизни. «Потребность красоты и творчества, воплощающего ее», связана, по мысли Достоевского, с поисками людьми гармонического общественного устройства, гармонических отношений. Образ должной красоты в системе нормативных представлений общества, по мысли Достоевского, играет ориентационную роль.

Чем обусловлена эта роль, насколько она необходима? Как входит эстетический идеал в структуру общественного идеала? Достоевский мотивирует эту роль свойствами индивидуальной и социальной психологии.

Достоевский считает, что истина, представленная в виде научной дискурсии, логического доказательства, малоубедительна для человека. И система логических доказательств не может быть показателем ценности для человека выводимой ими истины. В этом Достоевский также сближается с Толстым. Толстой противопоставлял искусство науке и всякой теории как единственный «способ достоверного несомненного знания» именно на том основании, что искусство в отличие от безличной дискурсии всегда включает «субъективное» знание, значение отображаемого явления для субъекта или, как говорит Е. Н. Купреянова, «психическую достоверность индивидуального сознания».⁴

Для Толстого эта способность искусства дорогá как средство пробиться к естественной правде жизни, к правде человеческой души. Здесь антирационалистская тенденция исходит из того же просветительского, руссоистского стремления добраться до первоначальной доброй основы человеческой природы.

У Достоевского неприятие научного доказательства включено в систему рассуждения об отношении к идеалу. В «Записках из подполья» (1864) Достоевский утверждает, что желанные формы жизни, нормативный образец общественных отношений нельзя доказать доводами разума — общественный идеал должен найти надежную опору в психике, в переживаниях людей, в непосредственном ощущении ими идеала как общей радости. Писатель считает, что при прогнозировании истории необходимо принимать во внимание законы человеческой психики, законы «самовольного хотения». Здесь сказалось недоверие и к просветительскому критерию разума, и к гегелевскому обоснованию «разумной необходимости», и к просветительской вере в добрую природу человека.⁵

По мысли Достоевского, общественный идеал должен получить санкцию эстетическую, явиться самоочевидной, убедительной красотой — только тогда он станет неоспоримой истиной. Общественный идеал будет принят людьми в качестве такового, когда он будет не только осознан разумом как идеал истины и справедливости, но и вызовет общее морально-эстетическое удовлетворение и даже поклонение. В схеме трехступенчатого развития общества, изложенной Достоевским в заметке «Социализм и христианство», человек возвратится в массу, к коллективному существованию, «по непосредственно ужасно сильному, непобеди-

⁴ См.: Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М.—Л., 1966, с. 188.

⁵ См.: Назиров Р. Г. Об этической проблематике повести «Записки из подполья». — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 143—153.

тому ощущению, что *это ужасно хорошо*».⁶ Общественный идеал Фурье казался молодому Достоевскому убедительным благодаря его эстетической привлекательности: «Фурьеризм — система мирная; она очаровывает душу своей изящностью <...> и удивляет ум своею стройностию» (18, 133). «Золотой век», изображенный Достоевским в «снах» его героев, рисуется как царство торжествующей красоты, живой образ истины.

В истории эстетической мысли поиски Толстого и Достоевского интересны как попытка по-новому, без помощи шеллингианско-гегелевских абстракций, с опорой на реальные, подлинные процессы духовного развития личности или человечества в целом объяснить значение эстетической деятельности. Оба отметили очень существенные функции искусства, соответствующие важным моментам в структуре художественной потребности.

В конце 50-х годов, в предреформенное время, в русской критике под влиянием революционно-демократической эстетики утвердилась общая мысль о торжестве «художественной правды» над симпатиями автора.⁷ Однако уже в самом начале нового десятилетия обнаружилась новая ориентация критики — и прежде всего «реальной» — на исследование субъективного творческого момента.⁸ Поворот этот был связан с переменами в самой художественной литературе. Если на предшествующей стадии русского реализма, в дореформенные десятилетия, писатели стремились преодолеть односторонность личного восприятия мира, то в пореформенные времена, наоборот, желание обнаружить направление, выразить свою концепцию действительности становится общей чертой художников слова. Достоевский уже в начале 60-х годов очень настойчиво выступает как критик против «объективного творчества», доказывает не только право, но и необходимость для художника выражать свой взгляд на действительность. Толстой еще в начале творческого пути, в 1853 г., заявляет, что в сочинении, в особенности чисто литературном, «главный интерес составляет характер автора» (46, 182). В письме к А. И. Герцену от 14/26 марта 1867 г. он отстаивает право на знание своей субъективной России, взгляд на нее «с своей призмочки» (60, 374). И мысль Толстого, высказанная позднее, в 90-е годы, о том, что цементом, связывающим всякое художественное произведение в одно целое, является «единство самобыт-

⁶ Лит. наследство, т. 83. М., 1971, с. 248.

⁷ См.: Николаев П. А. Реализм как творческий метод. М., 1975, с. 48—49.

⁸ См.: Егоров Б. Ф. Перспективы, открытые временем. — Вопросы литературы, 1973, № 3, с. 124; Зельдович М. Г. Методологическое самосознание критики. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 7. Саратов, 1975, с. 21; Туниманов В. А. Принципы реальной критики. — Вопросы литературы, 1975, № 6.

ного нравственного отношения автора к предмету» (30, 19), — эта мысль является постоянным принципом его творчества.

В понимании роли субъективного и связи между субъективным и объективным в творчестве и в познании у Толстого и Достоевского была общая черта, отличавшая их от многих писателей-современников. Они оба считали, что любое постижение истины — не только в искусстве, но и в науке, и в практических отношениях между людьми — невозможно без субъективного момента, оба в разных вариантах утверждали, что заинтересованное отношение к поиску отражается на самом характере добытой истины. Толстой писал Страхову в марте 1875 г.: «Вы всегда говорите, думаете, пишете об общем — объективны. И все мы это делаем, но ведь это только обман, законный обман, обман приличия, но обман, вроде одежды <...> И вы слишком одеваетесь объективностью и этим портите себя <...> Какие критики, суждения, классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни» (62, 184). Достоевский считает законным субъективный взгляд исследователя даже в судебном разбирательстве, требующем предельной объективности, и не только потому, что совсем отрешиться от такого взгляда невозможно, но главным образом потому, что, по его мысли, лишь горячее участие к делу при подлинно нравственной позиции позволит выяснить истину.

И неустрашимость личного, субъективного в искусстве они оба считали тем моментом, который позволяет искусству быть способом целостного, достоверного познания жизни. А на способности искусства к целостному, синтетическому отражению действительности и основано их убеждение в том, что искусство ничуть не меньше науки может помочь и человеку и обществу в целом в деле самопознания и совершенствования. «А искусство помощник, но самостоятельный», — пишет Толстой (48—49, 27). «На литературу мы смотрим как на силу самостоятельную, а не как на средство», — заявляет Достоевский (XIII, 505).

Толстой и Достоевский оба отождествляли подлинные знания с этикой. Нравственное же освоение мира во многом сродни художественному. Знание в сфере морали, как и правда в искусстве важны не сами по себе, а в отношении к социально-нравственным ценностям, к нормам поведения и взаимоотношений людей. Как утверждают специалисты по этической теории, «мораль есть синтез чувственного и рационального, конкретного и абстрактного <...> на ином, чем в науке, уровне, когда абстрактное не уходит скитаться вдаль от конкретного».⁹

У Толстого и Достоевского их художественные задачи всегда были неразрывно связаны с нравственными исканиями,

⁹ Мораль и этическая теория. Некоторые актуальные проблемы. М., 1974, с. 28.

Толстой и Достоевский сознавали сходство в нравственном и в художественном способах освоения мира.

Если рассматривать их взгляды на субъективное и объективное лишь в системе философских категорий, то можно прийти к выводу, что оба они преувеличивали значение субъективного элемента как якобы неизбежной добавки к объективной истине. Если же оценивать этот взгляд как эстетическую основу новых принципов реализма (а лишь такая оценка представляется нам правомерной, поскольку речь идет о мышлении художников), то следует признать, что именно он обеспечил необычную широту, емкость художественных обобщений Толстого и Достоевского. На нем основан их метод как способ построения всеобъемлющей философско-поэтической картины мира. Благодаря такому подходу их анализ нравственных отношений между людьми стал средством постижения общих законов жизни — и личной, и исторической.

Начальные и во многом сходные эстетические позиции по-разному преломлялись в творческом методе того и другого писателя. Достоевский, стремясь «дать побольше ходу идее», изображал жизнь в избранных катастрофических ситуациях, брал трагические характеры, создавал оригинальный художественный мир. Толстой же, поклоняясь жизни как естественной стихии и считая искусство житнетворчеством, стремится в своих произведениях воссоздать мир широко и целостно, в формах самой жизни, не расчленяя, не систематизируя жизненные явления. Эта разница в творческих принципах Толстого и Достоевского приводила некоторых исследователей к выводу о полной противоположности в понимании реализма у этих писателей. Так, Н. Н. Арденс противопоставлял Толстого как художника, поражающего своей непредвзятостью, Достоевскому — «субъективнейшему писателю».¹⁰ Современное литературоведение справедливо усомнилось в непосредственности, непредвзятости реализма Толстого. В стиле Толстого выявлены полярные, постоянно действующие начала: мир как данность, как объективный факт, с одной стороны, и мир как предмет переживания, мысли, оценки, морального отношения — с другой.¹¹ И это не противоречит его подходу к искусству как к житнетворчеству. По Толстому, нельзя творить жизнь в искусстве без любви к жизни, без желания передать эту любовь в произведении так, чтобы «теперешние дети лет через 20» стали «над ним плакать и смеяться и полюбить жизнь» (61, 100), — словом, искусство не может быть без пафоса.

В современных же работах справедливо опровергается взгляд

¹⁰ Арденс Н. Н. Достоевский и Толстой. М., 1973, с. 77.

¹¹ См.: Чудаков А. П. Проблема целостного анализа художественной системы. — В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 79—98; Гей Н. К. Сопряжение пластичности и аналитичности. — В кн.: Теория литературных стилей. Типология стилевого развития XIX века. М., 1977.

на творчество Достоевского как порождение отвлеченной идеи писателя, справедливо утверждается, что сам он считал первоисточником художественных произведений «могучую сущность» жизни.¹²

У Достоевского и Толстого за разными художественными принципами открываются сходные коренные эстетические установки. Эти схождения можно и важно увидеть даже в разном теоретическом интересе у того и другого писателя к проблеме связи субъективного и объективного. Разработка этой проблемы у того и другого писателя имела практическую ориентацию — обоснование новых принципов и форм художественного освоения действительности, вводимых ими в русский реализм, забота об эффективности, убедительности, доступности «выжитого» ими художественного миропонимания. Современная им критика чаще всего не понимала значения этих новаций, не умела выявить и оценить цементирующую произведения авторскую идею. При этом не понимали и не принимали их по-разному.

У Достоевского были взяты под сомнение сами принципы метода, «фантастический» характер реализма, оспаривалось право художника на изображение исключительных событий и резких характеров, вменялось в вину пристрастие к «психическим уродствам», «аномалиям», «психологический натурализм». Метод Толстого не оспаривался, но произведения его часто получали плоско социологическую трактовку, в них усматривалась поэтизация старого барства, отход от актуальных проблем современности, «философия застоя».

Неудивительно, что для Достоевского осмысление объективно-субъективной природы художественного творчества было связано с доказательствами права художника на односторонность, избирательность, резкое своеобразие взгляда; у Толстого же «сквозной» проблемой в этом аспекте станет вопрос о понимании читателем писателя, о художественном восприятии как ключевом моменте теории искусства.

У Достоевского самым веским аргументом в защиту «своей идеи» была мысль, что оригинальное миропонимание является главным условием выявления объективных закономерностей жизни, что «художественная правда» возникает при совпадении авторской идеи с логикой саморазвития действительности в произведении. Эти положения относятся к числу стержневых принципов его эстетики, они неоднократно повторяются, варьируются, развиваются писателем.¹³

Мысль Достоевского развивается в русле кардинальных проблем мировой эстетической мысли, по-новому разрабатывает неко-

¹² Фридлиндер Г. М. Эстетика Достоевского. — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 143.

¹³ См.: Щенников Г. К. Ф. М. Достоевский о двуединой природе реалистического творчества. — В кн.: Щенников Г. К. Художественное мышление Достоевского. Свердловск, 1978.

торые ценные диалектические положения немецкой философской эстетики.

На связь эстетики Достоевского с Шеллингом исследователи указывали не раз, но усматривали эту связь не там, где она на самом деле имеется. Не обоснованы утверждения западных исследователей, будто Достоевский является сторонником шеллингианской идеи «бессознательного творчества».¹⁴ Достоевский не считал, как Шеллинг, будто искусство является «единственным и от века существующим откровением».¹⁵

Подлинная связь Достоевского с Шеллингом в другом.

Шеллинг первым определил двойственную природу искусства как неразличимость идеального и реального. Для объективного идеалиста Шеллинга искусство — продукт идеального мира, но оно воссоединяет идеальный мир с реальным, объективирует идеальное. Неразличимость, или тождество, идеального и реального в искусстве проявляется во взаимопроникновении общего и конкретного, субъективного и объективного, свободы и необходимости. В частности, «искусство <...> основывается на тождестве сознательной и бессознательной деятельности. Совершенство произведения искусства, как такового, возрастает в той мере, в какой оно заключает в себе выраженным это тождество, или в соответствии с тем, насколько преднамеренность и необходимость в данном произведении искусства пребывают во взаимопроникновении».¹⁶ Это диалектическое понимание творческой природы искусства было затем развито Гегелем, который «в отличие от Фихте и Шеллинга <...> высоко ценил познающую мир способность художника, его стремление к истине как идее, лежащей вне сферы его сознания, но постигаемой им благодаря активности его духа».¹⁷

Однако у классиков немецкой философской эстетики активность творческого сознания художников была лишь способом выражения идеи всеобщего. Эстетика Шеллинга была одной из философских теорий романтического искусства. Эстетика Гегеля, который видел творческую активность художника в том, что он является проводником идеалов исторического, эпохального значения, оказала косвенное влияние на развитие теории реализма.

У Достоевского же положение о тождестве авторской идеи и логики жизни непосредственно направлено на развитие теории реалистического художественного творчества. Активностью творческого сознания он объясняет такие явления в искусстве, как типичность жизненного материала: «Если бессознательно описывать один материал, то мы ничего не узнаем; но приходит

¹⁴ См.: Кашина Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского. М., 1975, с. 115.

¹⁵ Шеллинг Ф.-В.-И. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936, с. 380.

¹⁶ Шеллинг Ф.-В.-И. Философия искусства. М., 1966, с. 84; см. также: Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934, с. 273.

¹⁷ Лекции по истории эстетики, кн. 2. Л., 1974, с. 180—181.

художник и передает нам свой взгляд об этом материале и расскажет нам, как это явление называется, и позовет нам людей, в нем участвующих, и иногда так назовет, что имена эти переходят в тип, и, наконец, когда все поверят этому типу, то название его переходит в имя нарицательное для всех относящихся к этому типу людей» (XIII, 550). «Те из наших писателей, которые, изучив по возможности и по способностям свой материал, не побоялись высказать перед нами свой взгляд, свою идею о народном быте, дали нам даже относительно одного материала несравненно более, чем Успенский...» (XIII, 549).

Эти и аналогичные высказывания Достоевского свидетельствуют и о том, что он рассматривал отношения субъективного и объективного в искусстве по преимуществу в аспекте гносеологическом, в связи с проблемой художественной правды, стремясь определить познавательную природу искусства и обосновать метод, который лучше всего обеспечивает осуществление искусством его познавательной функции, — метод реализма.

Познание действительности, осуществляемое средствами искусства, раскрывает, по Достоевскому, внутренние духовные связи между людьми, соединяет людей в движении к высоким общественным идеалам — тем самым искусство выполняет и важные коммуникативные функции.

У Толстого замечания о соотношении объективного и субъективного, по нашим наблюдениям, связаны чаще всего с размышлениями о коммуникативной природе искусства.

В период сближения с теоретиками «чистого искусства» вопрос о субъективном и объективном творчестве встал для него, как и для Достоевского, вопросом о правде в искусстве. Дружинин и Боткин стремились склонить его к объективистскому принципу «не суди», и Толстой одно время соглашается с ними: «Евангельское слово: „не суди“ глубоко верно в искусстве: рассказывай, изображай, но не суди» (47, 203). Однако вскоре Толстой освободился от теории «незаинтересованного» творчества, и тогда ему показалась надуманной, бессмысленной сама проблема выбора субъективного или объективного творчества. Толстой записывает в «Дневнике» 17 июля 1857 г.: «Теория объективного и субъективного творчества в искусстве — гиль. Вот подразделение, находящееся совсем в другой плоскости: дело искусства — отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность. Фокусы эти, по старому разделению, — характеры людей, но фокусы эти могут быть характеры сцен, народов, природы» (47, 212).

Толстой обходит проблему соответствия авторского взгляда логике жизни; по нему, это «тождество» придет само собой, если выбрать новые фокусы, т. е. новые ракурсы, новые приемы типизации жизненных явлений: в этих «фокусах» естественно сольется объективное и субъективное.

Вопрос о гармонии, единстве авторского и жизненного занимает Толстого в те же годы как проблема стиля, создающего

эффект наибольшего жизнеподобия. «Хорошо, когда автор только чуть-чуть стоит вне предмета, так что беспрестанно сомневаешься, субъективный или объективно» (47, 191). Для Толстого сочинения «самые приятные суть те, в которых автор как будто старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается» (46, 182).

Постижение законов художественного творчества через законы восприятия искусства весьма характерно для Толстого.¹⁸ И конечное, итоговое определение искусства, данное в его трактате «Что такое искусство?», — его концепция заразительности искусства — также учитывает восприятие его: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» (30, 65).

Теория «заражения» тоже исходит из идеи тождества субъективного и объективного, только субъективное здесь — это личное переживание воспринимающего искусства, а объективное — достоверность отображаемого в произведении. Толстой не раз подчеркивает в «заражении» момент неразличимости, тождества. «Главная особенность этого чувства в том, что воспринимающий до такой степени сливается с художником, что ему кажется, что воспринимаемый им предмет сделан не кем-то другим, а им самим, и что все то, что выражается этим предметом, есть то самое, что так давно уже ему хотелось выразить» (30, 149).

«Произведение искусства только тогда настоящее <...> когда воспринимающий испытывает чувство, подобное воспоминанию, — что это, мол, уже было и много раз, что он знал это давно, только не умел сказать, а вот ему и высказали его самого. Главное, когда он чувствует, что это, что он слышит, видит, понимает, не может быть иначе, а должно быть именно такое, как он его воспринимает» (57, 151). Толстой здесь говорит о другом тождестве, чем Достоевский. Достоевский имеет в виду единство начального звена в коммуникативной системе художественного освоения мира — гармонию объекта художественного отображения и отражающего его субъекта. Толстой же говорит о единстве заключительного звена: опредмеченном в произведении чувстве художника и чувстве второго субъекта — того, кто воспринимает произведение.

Однако мысль Толстого здесь соприкасается с мыслью Достоевского. Достоевский утверждает, что целью декларируемого им единства является понимание произведения воспринимающим его в полном соответствии с замыслом художника. Именно в этом он видит художественность. «Скажем еще яснее: художественность,

¹⁸ Прозоров В. В. Читатель и литературный процесс. Изд. Саратовского ун-та, 1975, глава третья; Ищук Г. Н. Проблема читателя в творческом сознании Л. Н. Толстого, Калинин, 1975.

например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение» (XII, 72). Определение художественности у Достоевского очень близко определению искусства у Толстого. Разница лишь в том, что Достоевский говорит о мысли, а Толстой о чувстве, но, как убедительно показали исследователи Толстого, контекст многих высказываний писателя свидетельствует о том, что он объединяет чувство и мысль как нерасторжимые явления и «равноправные предметы искусства».¹⁹

Теория «заражения искусством» у Толстого, к которой он шел с самого начала творческой деятельности,²⁰ и концепция тождества замысла и смысла, идейности и правдивости у Достоевского — это родственные эстетические теории, вызванные общим намерением повысить самостоятельную роль искусства, сделать его более активным, действенным фактором современной жизни.

¹⁹ См.: М а ш и н с к и й С. Эстетические заветы Льва Толстого. — В кн.: М а ш и н с к и й С. Наследие и наследники. М., 1967, с. 403; Л о м у н о в К. Н. Эстетика Льва Толстого. М., 1972, с. 63.

²⁰ См.; Л о м у н о в К. Н. Эстетика Льва Толстого, с. 14—28.

СВОБОДА ЛИЧНОСТИ В МИРЕ ИДЕЙ ДОСТОЕВСКОГО

1

Достоевский настолько самобытен, что установить единство его художественного мира, выделяя характерные особенности творчества как на уровне содержания, так и на уровне формы, казалось бы, не представляет большой трудности. Однако исключительная сложность и глубина его произведений, в которых на равных правах противостоят антагонистические идеи, затрудняют задачу исследователя. И сегодня приходится слышать мнение, что при желании любую из ведущих антагонистических идей в творчестве Достоевского можно объявить «главной», что посягательство представить «единого» Достоевского чревато опасностью его упрощения.

Против такой точки зрения на творчество Достоевского, как известно, в свое время высказался еще А. В. Луначарский. Он предупреждал, что «полифонизм» произведений писателя не должен заслонять «объединяющей» концепции или объединяющей эмоции, которая вряд ли может отсутствовать в действительно могучей индивидуальности». ¹ Это же отмечают большинство исследователей сегодня, уточняя полифоническую сущность творчества Достоевского.

Практически решить проблему единства художественного мира Достоевского, как и другого любого писателя, вероятно, можно, лишь обнаружив *основу*, определяющую внутреннюю взаимосвязимость антагонистических идей, основу, устанавливающую *иерархию* в сфере элементов, образующих цельность творчества. ²

В художественном мире Достоевского исходной точкой, с которой оптимально связано решение всех проблем, вершиной, с которой падает ответ на все остальное, на наш взгляд, является *свобода личности*. Исключительная роль этой идеи в творчестве Достоевского признается большинством исследователей, указывающих на ее социально-исторические истоки. Это дает нам возможность сосредоточить все внимание на мотивах, позволяющих

¹ Луначарский А. В. Собр. соч., т. 1. М., 1963, с. 164.

² Точка зрения автора на единство художественного мира писателя излагается в кн.: Червинскене Е. Единство художественного мира. А. П. Чехов. Вильнюс, 1976, с. 7—34.

квалифицировать идею свободы личности как основу единства художественного мира Достоевского.

Мечта о праве, о способности каждого стать личностью определяет основные особенности уже раннего творчества Достоевского. Он начал свой творческий путь с того, что взялся за изображение самого что ни на есть рядового человека, человека «массы» и показал в нем пробуждение личности. Решиться на роман с таким героем, как Макар Деушкин, писатель мог лишь признав способность «маленького человека» к самоанализу и анализу жизни, способность к развитию и осознанию себя как частицы целого. «Чувствами и сердцем я человек!» — гордо заявляет первый герой Достоевского. Голос пробуждающейся личности слышен даже «в складках ветошки» («Двойник»). Этот аспект изображения человека, не исключая детей, стал главным во всех произведениях писателя.

С точки зрения рассматриваемой нами проблемы важно обратить особое внимание на «Записки из Мертвого дома». В силу специфики жанра в «Записках» авторская идея раскрывается наиболее непосредственно. Это произведение — итог многолетних, исключительно напряженных размышлений.

Уже самым главлем акцентируется значение свободы личности как непрременной предпосылки всякой живой жизни: *мертвым* домом называется тюремная крепость потому, что здесь отсутствует *главный элемент живой жизни* — свобода, что люди здесь обезличены. Из картин тюремной жизни становится очевидным, что «почти всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением», что здесь «вынужденное общее сожительство», вынужденный труд «из-под палки». Этой идеей объединяются самые разные сцены тюремной жизни, таким образом создается единство целого и утверждается, что без «своей собственной внутренней жизни», которая складывается помимо «официальной», немислима жизнь вообще, даже в тюремных условиях.

В преступниках из народа Достоевский акцентирует «не приращение, а чувство собственного достоинства» и убеждает, что «арестант ужасно любит <...> уверить даже себя, хоть на время, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется». Он инстинктивно стремится к «возвеличению собственной личности, хотя бы призрачному» (4, 121 и 66).

Все герои «Записок из Мертвого дома» показаны как неповторимые, сугубо своеобразные индивидуальности. С нескрываемой симпатией в них раскрывается проявление личного начала, с прощей рассказчик говорит о безответных, «от природы» забытых людях, способных «уничтожить свою личность». Портрет Сушлова занимает особое место в портретной галерее Достоевского как воплощение начала безличности. «Он был не высок и не мал ростом, не хорош и не дурен, не глуп и не умен, не молод и не стар, немножко рябоват, отчасти белокур. Слишком определи-

тельного о нем никогда ничего нельзя было сказать», — говорится о Сушилове (4, 59). Автор категорически заявляет, что «всякий, кто бы ни был и как бы он ни был унижен, хоть и инстинктивно, хоть бессознательно, а все-таки требует уважения к своему человеческому достоинству», что «никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он человек» (4, 91).

Проводя аналогию между каторгой и «волей» в крепостнической России, когда рабство защищалось законом, причиной гибели сил и талантов автор объявляет отсутствие свободы: «... сколько сил и таланту погибает у нас на Руси иногда почти даром, в неволе и тяжкой доле!» (4, 128).

В мире идей Достоевского одной из главных «соперниц» выдвигаемой нами доминанты является вера. Однако Достоевский не может принять веры, не доказав, что «одна из самых основных идей христианства <...> признание человеческой личности и свободы ее (а стало быть, и ее ответственности)» (XI, 315). Писатель находит нужным доказывать, что вера в бога как вера в абстрактный идеал, пусть даже самим человеком выдуманный, что Достоевский допускает, не унижает человека, не ущемляет его свободы. О подчиненности веры идее свободы личности свидетельствует то, что вера для Достоевского прежде всего и почти исключительно Христос. А Христос Достоевского — это модель идеальной свободной личности.

Несоответствие созданного Достоевским идеала личности мистическому облику Христа сразу было замечено. К. Леонтьев, сравнивая отношение к религии Победоносцева и Достоевского, отмечал, что Победоносцевым «Христос познается не иначе как через церковь», а Христос Достоевского, «по-видимому, по крайней мере до того помимо церкви доступен всякому из нас, что мы считаем самыми существенными положениями и безусловными требованиями православного учения приписывать Спасителю никогда не высказанные им обещания „всеобщего братства народов“, „повсеместного мира“ и „гармонии“» (II, IV, 434).

Создавая «свой» облик Христа, Достоевский прежде всего старается согласовать проповедуемую им идею «жертвы» с идеей свободы личности. «Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая для себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности <...> как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоуправными и счастливыми личностями. Это закон природы...» — настаивает Достоевский (5, 79).

Призывая человека к «смирению», писатель по существу провозглашал идею отказа личности от своих «прав»: «... бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требо-

вать своего права, но, напротив, отдать его обществу, без всяких условий». Но при этом Достоевский непременно старается убедить, что самопожертвование не ведет к обезличению, наоборот, поступая так, «не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе» (5, 79).

Достоевский доказывает, что это не противоречит свободе человека, а предопределяется ею: «...самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли» (5, 79). Таким образом, исключительно характерная для Достоевского идея самопожертвования утверждается им путем проверки ее «соответствия» с идеей свободы личности.

2

Достоевский был противником крепостничества. Идея освобождения крестьян сблизила его с Белинским, Петрашевским, Спешневым, Некрасовым. Однако в 1860-е годы идея свободы ставится Достоевским по-своему. Его прежде всего волнует *духовная* свобода человека. Он протестует против порабощения личности, против унижающей человеческое достоинство зависимости от чужой воли, против отсутствия возможности гармонического развития «всех». Впрочем, уже в показаниях следственной комиссии, рискуя своей жизнью, вред крепостничества Достоевский доказывает, защищая право каждого «быть самим собой», свободно выражать свое мнение, мыслить, искать.

Свое неприятие капитализма Достоевский мотивирует тем, что это лишь новая, более изощренная форма порабощения личности: «Человек без миллиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают всё что угодно» (5, 78). Его беспокоит то, что в капиталистическом мире человек *обезличивается*: семья становится «бракосочетанием капиталов», продаются таланты, честь, красота, главное — деньги способны обеспечить «ординарность» властью над людьми. Для Достоевского в высшей степени характерна оценка капитала, «золота» как унижения и насилия над человеком. «Золото — грубость, насилие, деспотизм», — заявляет писатель и напоминает, что в капиталистическом мире сильные побеждают, слабые служат «материалом» для «ротшильдов». А «миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского <...> чтоб не задохнуться в темном подвале», ищут выхода в пьянстве, в дешевых развлечениях разврата, происходит самое страшное, по мысли Достоевского: «потеря сознания» народа — «систематическая, поощряемая» (5, 71).

Достоевский опасался также, что «насильственное уравнение» обезличит людей, и доказывал, что «никакая польза не заменит

своеволия и прав личности», что каждому «самому по себе лучше, потому полная воля», что «все дело-то человеческое, кажется, и действительно только в том и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик», что человек часто поступает вопреки своей выгоде, зато «сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность» (5, 115).

Идеальным обществом Достоевский считает общество, которое способно предоставить каждому «как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления» (5, 80). Единение личности с обществом представляется ему как обоюдный процесс: личность добровольно отдает себя целиком обществу, а общество отвечает тем же и обеспечивает свободное, гармоническое развитие личности. Упрекая социалистов своего времени в том, что они «от человека слишком много требуют пожертвований как от личности», Достоевский требует «всего себя пожертвовать обществу <...> без всяких условий». Но суть различия он видит в *добровольности* «жертвы», в том, что личность «по своей воле» отказывается от своих прав и не требует их «с мечом в руке». Прогнозируя будущее, Достоевский неизменно руководствуется идеей свободы личности.

«Самопроявление» личности ставится Достоевским в зависимость от состояния общества: «...в грубом, неустроенном состоянии общества оно проявляется со стороны этой личности грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся — нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением лица выгодам всего общества и обратно» (XII, 55).

Принцип свободного выбора, добровольности кладется Достоевским и в основу допускаемого им неравенства в обществе будущего в силу неодинаковых способностей индивидов. Но разницу он видит в том, что тогда менее талантливые люди служить «Шекспирам» будут «своей волей».

3

Поставив во главу своих духовных поисков идею свободы личности, сын XIX века, Достоевский неизбежно столкнулся с проблемой социальной детерминированности свободы. В реалистических художественных образах писатель раскрывает обусловленность характера средой, но именно он подчеркнуто демонстрирует и обратную связь — воздействие человека на среду, свободу выбора. «Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела. Это, положим, правда, что она многое в нас заедает, да не все же, и часто хитрый и понимающий дело плут преловко прикрывает и оправдывает влиянием этой среды не одну свою слабость, а нередко и просто подлость, особенно если умеет красно говорить или писать», — читаем в «Записках из Мертвого дома» (4, 142).

Достоевский протестует против прямолинейного и одностороннего утверждения влияния среды на человека. Его, как он сам это объясняет, в идеалистической концепции личности привлекает то, что вина возлагается на человека, «тем самым признается свобода его». Квалификация свободы воли как предпосылки личной ответственности человека — характерный аргумент Достоевского в защите им свободы личности.

Исключительный интерес Достоевского к нравственному «закону» также обусловлен утверждением им свободы личности. Не случайно разгадывание «тайны» человека, занимавшее писателя всю жизнь, сводится в основном к выяснению прочности нравственных основ. Достоевского интересуют нравственный облик человека («подлец ли человек?»), новые источники морали при иссякании прежних («только как он будет добродетелен без бога-то?»), амплитуда «взлетов» и «падений» человека («очень уж широк человек»), соприкосновение «берегов» добра и зла, исход борьбы «бога с дьяволом», ареной которой является «душа человека». Писатель всемерно подчеркивал значение «краеугольных камней» нравственности. Воспоминания детства, светлый идеал, высокий пример, любовь к красоте, перспектива бессмертия и т. п. в творчестве писателя выступают в роли силы, способной удержать человека от дурных поступков без насильственного воздействия на него извне. Сила совести — важнейшая нравственная ценность, утверждаемая Достоевским во всех произведениях. Ею доказывается право человека на свободу, способность совладать с нею. Писатель страстно выступает против пугалеско-инквизиторского утверждения о том, что «без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства», поскольку люди не способны разделить хлеб добровольно и всегда будут вынуждены жертвовать свободой.

Проблема свободы личности, преодоления остатков крепостничества в сознании людей занимала и других русских писателей — современников Достоевского. Вспоминается восприятие свободы чеховским обывателем: когда ему говорят, что в будущем человечество будет обходиться без паспортов и смертной казни, он недоверчиво спрашивает: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» («Ионыч»). «Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими ломаться», — говорит герой Достоевского и показывает трудность пути к свободе человека (З, 13). Как отмечает В. Г. Одинокоев, «Достоевский тонко подметил парадоксальную трансформацию тезиса „свобода личности“, превратившуюся в свободу насилия».³

Проследившая путь от «безграничной свободы» к «безграничному деспотизму», раскрывая диалектику превращения «своей

³ Одинокоев В. Г. Художественная системность русского классического романа. Новосибирск, 1976, с. 177.

воли» в «своеволие», Достоевский выступает принципиальным противником обособленного индивида, «сверхчеловека», противником буржуазного индивидуализма, эгоистического самоутверждения личности («после меня — хоть потоп», «свету провалиться, а чтоб мне чай пить», забота лишь о «своем» кафтане и т. п.). Наблюдая, во что превратилась *liberté* в буржуазном обществе, Достоевский критически относился к абстрактному представлению о «свободе» личности. Он нащупывал путь к конкретному решению проблемы, понимая, что свобода — не в отрицании личностью общественных и нравственных связей, а в их деятельном утверждении.

Позиция Достоевского при решении им проблемы свободы личности определялась признанием им равного права всех на свободу, права всех на всестороннее, гармоническое развитие, а это по самой своей сущности противоречит идее индивидуализма. «Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке» (XI, 173). Нет основания слово «никогда» в этом признании Достоевского в «Дневнике писателя» за 1876 год ставить под сомнение.

«Преступление грани» детерминированной обществом свободы Достоевского почти исключительно интересует как ущерб чужой свободе. Именно этот аспект самоутверждения личности прежде всего исследуется им. Принцип «всё позволено» демонстрируется писателем как насилие над чужой и своей личностью, крайними проявлениями которого показываются убийство и самоубийство, а между ними — множество вариантов духовной тирании.

Главная суть героев Достоевского обычно выражается способностью быть «самим собой». Писатель изобрел множество определений для обозначения степени свободы личности — от «бого-человека» до «человекобога», от «наполеонов» до «ветошки», а между ними — средний человек, ординарность, человек как все, винтик, штифтик, боящийся собственной независимости, враг личности и свободы, лакей мысли, вечно жаждущий подчинения чужой воле, маленький подчиненный, маленький фанатик, себялюбивая мразь, тварь дрожащая, плюгавенький человек с загнанным самолюбием, манкирующий свою личность, раздавленный, забитый, человекья вошь, полная безличность и т. д. и т. п.

Как мы пытались показать, любая из главных идей в художественном мире Достоевского обнаруживает тесную связь с идеей свободы личности и, как правило, находится в зависимости от нее.⁴ Этим в основном определяется монолитность его произведений и единство всего творчества.

⁴ Выдвигаемое в статье положение подтверждает наш разбор повести «Кроткая». См.: Гашкене-Червинскене Е. «Кроткая» Ф. Достоевского. — *Literatura*, Вильнюс, 1975, XVI (2), с. 29—42.

Р. О П И Т Ц

**ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО
(РОМАН «ИДИОТ»)**

Приходится выразить сожаление, что Т. Манн дал своему эссе о Достоевском заглавие: «Достоевский, но в меру». По авторскому намерению, оно должно было подчеркнуть, что его цель — предисловие к книге, включающей всего лишь шесть небольших произведений великого русского писателя, и что эти скромные масштабы издания требуют известных ограничений также и от автора комментария. Впрочем, они представлялись ему не столь уже нежелательными: взявшись за работу о Достоевском, нелегко избежать опасности написать о нем целую книгу. Однако выбранное Т. Манном заглавие впоследствии не раз получало превратное толкование. Его воспринимали как предостережение в духе некоторых других афористически заостренных формулировок. Луначарский, например, закончил серию своих статей о Достоевском выводом: «Если мы должны учиться по Достоевскому, то никак нам нельзя учиться у Достоевского».¹ Такая концовка не соответствовала всему богатому содержанию его эмоционально современных размышлений. Хотя рассматривались все «за» и «против» Достоевского, но в конечном счете «против» явно перевешивало: не учитывалось, что подобная антинония исключала возможность диалектического подхода к литературной традиции. При этом цитировалось полемическое замечание М. Горького: «Достоевский — гений, но злой гений наш».²

Однако все это имело свое оправдание в духе времени. В период между первой русской революцией и началом мировой войны Горькому пришлось обратить все силы своей огромной личности на разоблачение того интеллектуального мещанства, которое рядилось в обрывки цитат из Достоевского, прикрывая ими свое ренегатство, свои призывы к терпению и шовинизм.

¹ Луначарский А. В. Собр. соч., т. 1. М., 1963, с. 195.

² Горький М. Собр. соч., т. 24. М., 1953, с. 147.

Бесславная история немецкого интеллигентного обывателя также насчитывает немало попыток узурпировать творения гения, всю свою жизнь со страстной непримиримостью выступавшего против буржуазной бесчеловечности. Достоевский сумел схватить взглядом все буржуазное общество на сравнительно ранней ступени его развития, но при этом он обнаружил «противоречия, разрешение которых превосходит возможности отдельного человека» (Константин Федин).³ И именно идеологи буржуазии, с которых он без усталы срывал маски, пытаются объявить его своим!

Влияния этих идеологов не избежал и Томас Манн. Его советчиками по вопросам, связанным с Достоевским, были Александр Элиасберг и Дмитрий Мережковский — создатели и популяризаторы консервативно-буржуазного, более того — контрреволюционного образа Достоевского. Первый из них (к его «Русской антологии» Т. Манн написал в 1921 г. предисловие) пытался найти единственное объяснение «двойственности» Достоевского в его эпилепсии (что, однако, не помешало ему истолковать роман «Бесы» как «апокалипсис русской революции»). Второй, которого Т. Манн сочувственно цитирует как в вышеуказанном предисловии, так и в написанном через 25 лет эссе о Достоевском, был решительным противником большевиков уже с 1905 г., а в начале 20-х годов выступал как глашатай антисоветской эмиграции. И все же, имея таких советчиков, Т. Манн, который уже в ранней молодости испытал в своем духовном и творческом становлении влияние Достоевского, нашел для своего предисловия к изданию Достоевского это двусмысленное и как бы слегка предостерегающее название.

Не меркой Мережковского надо было мерить величие Достоевского. «Мощь и широта этой личности требует новой меры», — так, вырываясь далеко за пределы буржуазных масштабов, пишет Ст. Цвейг в своем гимне Достоевскому (созданном также в годы сразу после Октябрьской революции).⁴ И он прав: с поразительным чутьем русский писатель сумел заметить глубокие перемены в общественной структуре своей страны. О них рассуждают его герои, захваченные таким бурным водоворотом сюжетных перипетий, который уже сам по себе свидетельствует о глубине и стремительности совершающихся социальных изменений. «Тут у вас много разного наболело иросло» (8, 100). Вот к какому выводу приходит князь Мышкин, пробыв в России лишь несколько часов, но часов, переполненных событиями. А его юный спутник Коля Иволгин спрашивает сразу о главном: «И как это так всё устроилось, не понимаю. Кажется, уж как крепко стояло, а что теперь?» (8, 113). Обеспокоены и сильные мира сего, даже недалекий генерал Епанчин смутно чувствует:

³ Литературная газета, 1971, 17 ноября.

⁴ *Zwei g St. Drei Meister*. Leipzig, 1920, S. 91.

«В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает, и боюсь, боюсь!» (8, 262). А его жена со свойственной ей грубоватой меткостью заявляет: «Всё навыворот, все кверху ногами пошли» (8, 237). Именно ощущение, что «всё навыворот», что произошла переоценка всех ценностей и правильная оценка утрачена, — это ощущение и является исходным для данного романа, как, впрочем, и для большинства произведений Достоевского.

В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха»⁵ Ленин пользуется в качестве меткой характеристики эпохи между 1861 и 1905 гг. цитатой из «Анны Карениной»: «У нас теперь все переворотилось и только укладывается». Приведенные выше строки из «Идиота» характеризуют процесс капитализации страны с меньшей точностью и глубиной. Этот процесс имел в России свои особенности. Капитализм «наступал почти катастрофически»⁶ и в то же время с запозданием. Капиталистическому перевороту были свойственны черты жестокости. Такой стремительный натиск в кратчайшие сроки устремил страну от феодализма к пролетарской революции. Русская буржуазия в еще большей степени, чем западноевропейская, несла на себе с момента рождения печать грядущей гибели. Генерала Епанчина не зря мучают дурные предчувствия: его не спасет и превращение из помещика в члена нескольких акционерных обществ.

Полнее всего атмосфера эпохи воплощена в мрачной и противоречивой фигуре Рогожина. Нужны были шекспировский Шейлок и бальзаковский Гобсек, чтобы в новых исторических условиях в литературе мог появиться еще один купец, не уступающий своим литературным предшественникам. Сам по себе Рогожин — неплохой малый; в нем есть что-то от Отелло. Но от его прикосновения все превращается в товар. Готовящаяся жеманность Гани на Настасье Филипповне уже предполагает продажу человеческой красоты, однако это наполювину дворянская интрига. Но стоит лишь появиться Рогожину — и дело разгорается, сделка превращается в аукцион, и в фантастических ставках этого аукциона ощущается такая безудержность, что он как будто даже теряет свой деловой смысл. С мизерного предложения трех тысяч рублей Рогожин перескакивает сразу на 18 тысяч, затем на 40 и, наконец, узнав, что другая сторона уже предлагала 75, — на сто тысяч рублей. «Захочу, всех вас куплю! Всё куплю!» (8, 97), — в исступлении орет этот одурманенный водкой, азартом и страстью купец. Когда позднее речь идет о произведении искусства, — о картине Гольбейна «Христос во гробе», — цена у Рогожина опять взлетает, как на аукционе: 2 рубля—350—400—500! «Моя! Всё мое!» (8, 143), —

⁵ Ленин В. И. Собр. соч., т. 20, с. 100.

⁶ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. М., 1972, с. 32.

этот вопль пьяного торжества катится, того гляди, захлебнется, а голос вот-вот сорвется. С молотка идут ценности, выше которых нет ничего для Достоевского: человек, искусство, Христос, Россия. Настасья Филипповна не случайно названа в романе «чрезвычайно русской женщиной» (8, 104): для писателя, вынужденного жить в это время за границей, она олицетворяет любовь к родине. Однако аналогичная роль намечена в романе и для Аглаи: в самые тяжелые минуты Мышкин, думая о ней, перестает ощущать себя иностранцем: «Мне очень вдруг на родине поправилось», — признается он ей (8, 264).

Достоевский вынужден был бежать за границу от своих кредиторов. Над романом «Идиот» он работает в Женеве, Веве, Милане и Флоренции, живет в бедности, жадно ловит каждое русское слово, любое газетное сообщение из России. Книга его полна тревоги о судьбах родины, оказавшейся в руках таких вот кредиторов и аукционеров, страны, где в трагических столкновениях растрачиваются впустую огромные духовные силы. Писатель выявляет эти скрытые силы, а точнее — следит за их становлением в ходе переживаемого страной стремительного развития.

Парадоксальным образом духовные силы Настасьи Филипповны разбудила в ней именно трагедия «куртизанки». Аглая тоже смутно чувствует фальшь своего существования. И все же оно кажется ей естественным, пока совершающиеся вокруг события не делают преградой ее стремлению к счастью. Тогда и для нее становится невозможной прежняя жизнь «генеральской дочки». Обе женщины — отнюдь не очарованные принцессы, ждущие, пока их расколдуют. Они чувствуют в себе силы, необходимые для спасения. Гордость, отказ от пассивного ожидания, беспощадная честность в оценке собственного положения — все это могло бы, казалось, обеспечить для обеих более благоприятный исход.

Перед ними открываются три пути, но на поверку все три оказываются для них неприемлемы. Заурядный буржуа Ганя не достоин ни той, ни другой. Его роль в романе постепенно сходит на нет. Любовь князя Мышкина унизила бы обеих: как может допустить столь гордая красота, чтобы ее спасли из сострадания? Четырехугольник «Настасья Филипповна—Аглая, Мышкин—Ганя» первоначально и составлял основу сюжетной схемы романа. Но в дальнейшем мысли о судьбе России и ее общественном развитии расширили эту схему и заставили добавить к ней Рогожина для Настасьи Филипповны и отпрыска аристократического рода Радомского для Аглаи, но и эти пути грозят несчастьем и не дают выхода. Так Достоевский последовательно сводит все сюжетные линии к той сцене, где «соперницы» уже не могут не осыпать друг друга оскорблениями, хотя ни та, ни другая не была бы счастлива с Мышкиным; идея этой сцены зародилась одновременно с первым планом романа. Как бы гордо

Аглая ни провозглашала своим девизом: «Я в торги не вступаю» (8, 71), — она в них уже втянута.

Первая и четвертая части романа заполнены целенаправленным действием, развивающимся в лучших традициях старого любовного и приключенческого романа (недаром одним из учителей Достоевского был Виктор Гюго). Между этими двумя «аллеgro» романист вставляет две замедленные части. Местом действия большинства сцен становится Павловск — веранда на даче Епанчиных, очень похожая на нее комната Мышкина и сам Павловский парк, а Петербург в начале второй части предстает в своей дымке жаркого июньского дня — в отличие от ноябрьской призрачности первой части. Обе средние части не лишены и остросюжетных моментов — покушение Рогожина на Мышкина, неудавшееся самоубийство Ипполита, однако в основном «действие» разворачивается в интеллектуальной сфере. Диалоги следуют один за другим, в третьей части они прерываются большим монологом Ипполита, во второй — внутренним монологом Мышкина перед эпилептическим припадком. Даже свидания князя с Аглаей, а затем с Настасьей Филипповной превращаются — таков уж характер героя — в спокойную беседу.

Все эти блестящие диалоги и монологи отражают не просто события, но и их духовную и политическую подоплеку. А подоплекой является многое в устоях той уродливой системы, которая заставляет людей ходить «вверх ногами». Достоевский являет здесь свою последовательно антибуржуазную позицию. Ее истоки редко находили понимание у исследователей, а итоги считаются более чем сомнительными.

Вполне объяснимо, впрочем, что либерализм — политическое самовыражение развивающегося капитализма — кажется писателю в условиях всякого феодального государства результатом импорта, и импорта излишнего. Вовсе не достоин подражания, с его точки зрения, парламентаризм, который Достоевский мог наблюдать — прежде всего в британском варианте — в послереволюционной Европе (но еще до успехов партии Августа Бебеля на выборах). Не стоит возражать в этой связи, что парламентскую трибуну можно превратить в орудие прогресса — такой политически дальновидный писатель, как Достоевский, не может считать прогрессом усовершенствование заведомо порочной системы, а потому ему претят лозунги либеральной буржуазии («Гласность суда!», «Свобода критики!», «Право победит!»). Особенно ярко демонстрируется это в споре о том, что является большим прогрессом — гильотина или расстрел, т. е. усовершенствование форм расправы, какую чинит порочная система над своими противниками. Через два года после казни Каракозова, покушавшегося на жизнь царя, Достоевский высказывается в своем романе против смертной казни как таковой.

Следуя законам контрастного изображения, Достоевский ту же проблему подает и в комическом аспекте. Особенно под-

ходящим для такой интерпретации кажется ему пресловутый «женский вопрос». Десять раз упоминается он в романе и всегда в проницательном контексте: то пьяный генерал Иволгин твердит фразы, вычитанные из «Indépendance Belge», то философствует о «женском вопросе» 15-летний Коля; «принципиальные» разногласия на эту тему приводят к трехдневной размолвке между ним и Лизаветой Прокофьевной, а когда эта мать трех дочерей решительно не может совладать с нахлынувшими проблемами, она жалуется: «Всё это новые идеи, всё это проклятый женский вопрос!» (8, 271).

Перед лицом того, что происходит с женщиной в буржуазном обществе, — а примером может служить судьба Настасьи Филипповны, — попыткой оправдать систему господствующих в обществе отношений является в глазах Достоевского и роман «Дама с камелиями», написанный с позиций сентиментального сочувствия. Эту книгу рьяно защищает «господин с камелиями» Тоцкий. Оскорбленная им женщина, — а вместе с ней и Достоевский, — противопоставляют ему «Мадам Бовари».

Все эти злободневные «газетные» вопросы Достоевский сводит к одному главному, который задает даже такой грязный человек, как приспосабливец Лебедев. «Чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскивали, — вы, люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработной и прочего? Чем? Кредитом?» (8, 310).

Атрибутом этого общества кредита представляется Достоевскому и гуманизм. Томас Манн, включивший свою статью о Достоевском в серию «эссе о гуманизме», высказывает сомнения по поводу того «византийского Христа, на пути которого с самого начала не стояло никаких гуманистических сдерживающих начал». ⁷ В рассказе «Сон смешного человека» Достоевский высказывает весьма пессимистическое суждение о роде человеческого: став злыми, люди заговорили о братстве и гуманности и стали понимать эти идеи. В написанном немного раньше рассказе «Скверный анекдот» речь о гуманности произносит пьяный генерал, который снизошел до присутствия на свадьбе одного из своих подчиненных и испортил тому торжество. Икая, он никак не может выговорить нужное слово: «Гу-гу-гуманность». В романе «Идиот» другой генерал — Иван Федорович — вставляет то же модное словечко в одно из своих беспомощных рассуждений и также спотыкается на нем.

Много позднее Ромен Роллан в романе «Очарованная душа» признает «гуманитаризм, гуманность» одной из тех лживых иллюзий, которые ввергли Европу в бездну первой мировой войны. Их преодоление — это очень скоро понял Марк Ривьер — необходимое условие для создания нового, высшего миропорядка. Теперь мы знаем (как знал это и Т. Манн), что понятие гуманизма может

⁷ M a n n Th. Adel des Geistes. Berlin, 1956, S. 619.

быть обновлено; Достоевский с характерной для его мышления антибуржуазной направленностью борется с этим словом как с атрибутом того общества, которое нельзя уже ни исправить, ни улучшить.

Как раз перечисленные мотивы и послужили истоком так называемых антинигилистических сцен в романе, о которых велось столько споров в литературе вопроса. Какой буржуазный исследователь-«остфортш» упустит когда бы то ни было случай привести из Достоевского цитату, направленную против социализма? Но что мог знать Федор Достоевский о социализме в 1862 г.? Тот факт, что к этому времени уже вышел первый том «Капитала», вряд ли что мог значить для левого славянофила. Выведенные в романе представители течения (а речь идет, как сразу же отмечается, не собственно о нигилизме, а о «некотором его практическом последствии») — для Достоевского не «оборотная сторона» буржуазии (как обычно считают), это и вправду ярые *радикальные буржуа*, из тех, с кем пришлось размежеваться Марксу и Энгельсу перед 1848, Ленину перед 1905 годом, чтобы пролетариат мог выступить в роли освободителя человечества, а не превратился в придаток и орудие все того же общества кредита. У Достоевского как раз подобные буржуа и пользуются шелухой либеральных фраз о «свободе критики», «голоса совести», о «праве человеческом» (8, 223).

Здесь проявляется одна особенность прогрессивных общественных сил России того времени, которой обычно не уделяют должного внимания в литературе, — носителями их были мелкобуржуазные слои, а потому и их лозунги не могли не выражать буржуазных интересов — вперемежку с фразами об интересах народа. Не подлежит сомнению, что самые значительные мыслители, такие как Чернышевский, Добролюбов и «блестящая плеяда»⁸ самоотверженных борцов (интересно, что среди них был и человек по имени Ипполит Мышкин), снова и снова преодолевали в теории и на практике эту буржуазную ограниченность и сумели приблизиться к социал-демократическому, пролетарскому освободительному движению. Луначарский указывает, что Чернышевский нередко сомневался в возможностях революционного движения того времени, и советует внимательнее прочесть с этой точки зрения его неоконченный роман «Пролог». Но ведь сомнения Чернышевского касались не только своевременности переворота, но и исторических возможностей всего направления. Даже в Герцене, не говоря о Ткачеве, тем более о Бакуanine, Маркс и Энгельс видели мыслителей принципиально иного склада, чем «великий русский ученый и критик Н. Чернышевский».⁹ Их личного героизма в борьбе за свободу никто при этом не отрицал. Достоевский, с фантастической лихорадочностью отдавшийся работе над пер-

⁸ Ленин В. И. Собр. соч., т. 6, с. 25.

⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 23, с. 18.

выми планами романа «Идиот», не упустил тем не менее возможности присутствовать в сентябре 1861 г. на заседании международного конгресса пацифистов Лиги мира и свободы в Женеве. В это же время он мог видеть Михаила Бакунина и других русских эмигрантов на квартире у П. Огарева — друга и соратника Герцена. Антибуржуазная позиция помогла Достоевскому почувствовать буржуазную сущность этих прогрессивных и даже революционных сил. Почему же он должен был подойти к ним исторически? Почему ему было не обрушиться с критикой и на них в своем страстном протесте против буржуазного мира? Не отсюда должна была Россия ждать обновления.

Так откуда же? К числу распространенных заблуждений относительно романа «Идиот» принадлежит мнение, будто в своей импровизированной речи перед представителями аристократии, в последней части романа, Мышкин хочет указать этой знати ее миссию. Итак, феодально ориентированная, обращенная в прошлое критика буржуазии? никоим образом. Выведенные в романе представители аристократии осуждены Достоевским. Тоцкий и Епанчин, хоть они оценивают себя иначе, для Достоевского стоят на одной ступени с Фердыщенко. Евгений Павлович чувствует себя в конце романа «совершенно лишним человеком в России» (8, 508); он им был уже и раньше. А в изображении великосветского общества в четвертой части у автора появляется сарказм, которого до этого не было в романе. Перед нами — падучие самодовольные люди; внешность — лучшее, что в них есть, но и это не заслуга аристократов Достоевского, так как эта внешность «досталась им бессознательно и по наследству» (8, 442). Этот мир еще более фантастически уродлив, чем мир буржуазии, и наивность Мышкина в том и состоит, что он этого не замечает. Он-то как раз утверждает, будто слушатели его не таковы, и жестом просветителя разворачивает перед ними свою программу обновления России аристократией. Сцена эта — одна из тех позорных поражений, которые суждено пережить Мышкину в последней части романа, и оно тем мучительнее, что неизбежность его более всего очевидна.

Сложный вопрос о социальных корнях определенных художественных образов и характеров нередко решается упрощенно. Дело ведь не в том только, чтобы назвать одну из сил, действующих в это время в обществе. Так же как в высшей математике в результате сложного процесса многократного абстрагирования возникают «метареальности», над которыми производятся дальнейшие операции, как будто над самой отобразимой реальностью, послужившей исходной точкой всему мыслительному процессу, хотя этих метареальностей и не существует, — точно так и у глубоко чувствующих писателей в результате сложного переплетения реальных социальных фактов с философскими традициями и логическими схемами возникают человеческие образы, живущие в такой «метареальности», что ее обязательно существующая

в конечном счете связь с социальной действительностью, в которую она (гораздо более непосредственно, чем математика) вторгается, не лежит на поверхности. Часто сведение таких образных представлений к их существующей социальной почве дает в итоге лишь примитив. Это и произошло с тем вульгарно-социологическим направлением в духе Переверзева, которое, если оно не объявляло исходной точкой творчества Достоевского аристократию, устанавливало его связь с «упадочным» мещанством. Что могло дать подобное определение, кроме нелепого искажения великих творений и «предостережений»? А в нашем обществе, где уже нет упадочного мещанства, Достоевский будет продолжать жить лишь как «гигантский памятник весьма важной в нашей истории эпохи»? ¹⁰ Так ли это на самом деле?

Большую часть своей жизни писатель прожил среди представителей социальных низов большого города — будь то Петербург, Женева или Дрезден. Обычно он поселялся на четвертом или пятом этаже углового дома, а его заграничные путешествия не имели ничего общего с традиционными турне по Бедкеру: его интересовали не пейзажи и памятники, а жизнь улицы. Необычно проходили и посещения картинных галерей — лишь одна какая-нибудь картина целиком захватывала его. Достоевский подсмеивается над своей женой, для которой «целое занятие пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, списывать ее» (II, II, 27).

Достоевский делает своего Льва Мышкина князем, чтобы избавить его от социальной ограниченности Сонечки Мармеладовой, дать ему возможность познакомиться с самыми разными слоями общества, увидеть все его как бы в разрезе. Писатель заставляет героя прожить детство в бедности, чтобы приучить его к лишениям, а затем делает его наследником огромного состояния, так что Мышкин попадает в парадоксальное положение: он может участвовать в торговле за Настасью Филипповну и превысить ставки своих конкурентов — несчастье выставленного на продажу человека от этого меньше не становится.

И все же лишь социальная независимость героя дает автору возможность осуществить тот план, ради которого и задуман роман: «...изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь» (9, 358). Еще за несколько лет до этого, в предисловии к русскому изданию «Собора Парижской Богоматери», Достоевский признал за автором этого романа открытие «основной мысли всего искусства XIX века»: «восстановления погибшего человека» (XIII, 526). В эпоху жестокого подавления всего человеческого подобный замысел едва ли был осуществим. Революционный кризис 1860—1861 гг., вызванный крестьянскими волнениями и революционно-демократическим движением среди интеллигенции, царизм ликвидировал с помощью

¹⁰ Луначарский А. В. Русская литература. М., 1947, с. 246.

немногих реформ и множества штыков. Революционное движение пролетариата было делом далекого будущего. Достоевскому оставались для образа Мышкина лишь идейные источники: Жан-Жак Руссо (не случайно герой приезжает из горной швейцарской деревушки), Лев Николаевич Толстой (совпадение имени и отчества не случайно: известен положительный устный отзыв Толстого о Мышкине), Дон Кихот (Достоевский: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек») (XI, 235), и наконец — Христос. Недалекий генерал Епанчин первым замечает: «Точно бог послал!» (8, 44). А вслед за тем и жена его подчеркивает почти в тех же выражениях: «Я верую, что вас именно для меня бог привел в Петербург из Швейцарии» (8, 70). Бросается в глаза настойчивость этих повторений: «я всё еще верю, что сам бог тебя мне как друга и как родного брата прислал» (8, 265). Подобным образом, но без всякого высокомерия Мышкин сам думает о себе еще по дороге в Петербург: «Теперь я к людям иду» (8, 64), хотя он ведь был с людьми и в своей швейцарской лечебнице. И уже будучи вовлеченным в социальные конфликты, он понимает, «что если только останется здесь хоть на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю» (8, 256). «Я за людей боюсь», — признается он, наконец. Различные вариации на тему «Христос и грешница» подкрепляют постоянно повторяющиеся ассоциации, связанные с основным мотивом: Христос приходит на землю. Возникает вопрос: ради чего? Ради ли проповеди «одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете», именно: религии? Из стремления «поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению», т. е. ради культивирования «самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины»?¹¹ Есть, конечно, и это — не стоит сглаживать противоречия. Выдвигаемый Мышкиным принцип терпения повлек бы за собой в политическом и экономическом отношениях самые реакционные и бесчеловечные последствия. В состоянии эпилепсии Мышкин приходит к выводу, что сострадание есть важнейший и, может быть, единственный закон человеческого бытия. Но мы поступили бы опрометчиво, сведя к этому все поступки Мышкина и то, как понимает своего героя Достоевский. Напротив, ведь все идейно-литературные источники должны были дать ему материал именно для образа «положительно прекрасного человека», к созданию которого он стремился. Именно так понимают Мышкина самые разные герои романа: Ганя Иволгин, который, не будь он столь ординарен, выбился бы в ротшильды, неоднократно признается, что встретил в лице князя первого благородного человека — поэтому он и потянулся к нему;

¹¹ Ленин В. И. Собр. соч., т. 17, с. 210.

Настасья Филипповна с благодарностью повторяет в день своего рождения, что князь — первый истинно преданный человек в ее жизни, а, убегая, бросает: «В первый раз человека видела!» (8, 148). Так же прощается с ним перед попыткой самоубийства Ипполит, который не присутствовал при предыдущей сцене: «Я с Человеком прощусь» (8, 348). Ипполит, конечно же, не обозначил в своих словах большой буквы — ее вставил за него сам Достоевский, как это позднее делал в своих произведениях и Горький. В этом романе можно найти даже знаменитую формулу Горького о гордом человеке («На дне»), хотя она скрыта за многословной болтовней юного Коли и относится к одному только Ипполиту: «Но человек <...> ведь это гордо!» (8, 367). Этому-то мальчику, Коле Иволгину, и принадлежит будущее.

Достоевский наверняка не раз подвергал сомнению возможность положительно оценить в человеке гордость, осуждаемую христианской религией. И все же он не может не восхищаться гордым чувством человеческого достоинства, той гордой красотой, какую противопоставляет миру варваров Настасья Филипповна. Важным мотивом поступков Аглаи в последней части романа тоже оказывается ее «почти беспредельная гордость» (8, 472); читателю она представляется естественной и оправданной, хотя при данных обстоятельствах еще стремительнее влечет героиню в бездну несчастья. И нам понятно, когда возмущенная девушка в отчаянии кричит Мышкину: «Зачем вы всё в себе исковеркали, зачем в вас гордости нет?». В полифонии противоречивых суждений раздаются лишь два голоса, осуждающих «невыносимую, бесовскую гордость» Настасьи Филипповны (8, 482), ее «самолюбие» (8, 103), «алчный ее эгоизм» (8, 482) — это Ганя и затем Евгений Павлович. Но оба имеют на то — в соответствующих ситуациях — сугубо личные причины, и Достоевский, судя по всему, не разделяет их мнения.

Революционер-демократ М. Е. Салтыков-Щедрин, единственный современный критик, который уделил внимание основной идее романа «Идиот», считал возможным похвалить автора за «предвидения и предчувствия», которые составляют цель «отдаленнейших исканий человечества» и ведут к попытке «изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия».¹²

Эти столь актуальные для нас сегодня поиски нового человека таили в себе, правда, и опасность, которую, однако, автор заметил и сумел избежать: нельзя было, чтобы «великих» узурпаторов прежнего мира сменил «улучшенный» великий индивидуалист. Достоевский сам был изумлен, когда вместо задуманного одного главного героя их в романе оказалось два, а в дальнейшем число это стало еще увеличиваться: чем четче прорисовывались в своем взаимодействии сюжетная и идейная плоскости ро-

¹² Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. 9, М., 1970, с. 413.

мана, тем больше возникало в нем сюжетных и идейных центров. Настасья Филипповна — центр «земной» линии, Мышкин — «духовной»; пришедший «сверху» герой обретает в лице Рогожина антипод «снизу», а есть еще Ганя, первоначально задуманный как своего рода Франц Моор, а рядом с Настасьей Филипповной появляется Аглая. Но, с другой стороны, неосновательны и жалобы Достоевского, будто ему пришлось иметь дело с бесчисленным множеством «действующих лиц»; мы насчитали их чуть более трехсот (сюда добавляется еще более семидесяти исторических лиц и литературных героев, так как в обширные диалоги включен большой культурно-исторический материал). Для романа такого объема это отнюдь не много. Большое число лиц появляется лишь в рассказах других — Мышкина (о его жизни в Швейцарии и путешествиях по России), Ипполита (в его тетради) и Иволгина (фантастические приключения с Наполеоном), — это не действующие лица в узком смысле слова. Главное же — в романе Достоевского нет массовых сцен: если даже собирается большое общество (по разу в каждой части романа), то состав его точно известен; известно даже, из кого состоит банда Рогожина и великосветский паноптикум.

Здесь важен каждый человек, у каждого есть свой голос, или, как мимоходом замечает Иволгин, «всякий имеет свое беспокойство» (8, 405).

М. М. Бахтин, так много сделавший для выяснения структуры романов Достоевского и так мало задумывающийся над социальной ее подоплекой, не учитывает, что «многоголосие» Достоевского, при котором ни одно действующее лицо не становится рупором автора и все мнения и суждения соотнесены друг с другом, имеет и существенную идейную основу: в противовес буржуазному индивидуализму создается мир, в котором что-то значит каждый отдельный человек, и мнение его, следовательно, надлежит выслушать. В «Идиоте», например, можно наблюдать, как помимо Мышкина, Настасьи Филипповны, Лизаветы Прокофьевны, Аглаи и ее сестер — т. е. людей с добрыми задатками — авторские суждения высказывают и люди «грязные» — Ганя, Лебедев, Рогожин, Ипполит, Епанчин, Иволгин; исключение составляют лишь те, кто предстает в романе неисправимыми, как например морально разложившийся аристократ Тоцкий или буржуазно-радикальный болтун Докторенко.

«В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя» (8, 379) — эта очень важная фраза Настасьи Филипповны (у советского писателя Л. Леонова она стала ядром романа «Вор») не направлена против какого-либо конкретного героя, она призывает всех к любви конкретной, обращенной к конкретным людям. В такого рода декларациях, однако, всегда есть и свои подводные камни, и в романе они тоже дают о себе знать, проявляясь отчасти в виде неразрешимых противоречий, поданных автором как антиномии.

Так, смертельно больного Иполлита писатель шаг за шагом приводит в результате сложного развития к выводу, что одноединственное доброе дело, одно-единственное «благоденствие» (если только оно не плод аристократической скуки) может иметь смысл для человечества. И он приводит свою идею в исполнение, когда за несколько недель до смерти случайно оказывается в состоянии помочь врачу, запутавшемуся в сетях царской бюрократии и потерявшему уже надежду найти место. Утверждение, что любой человек, при любых обстоятельствах в состоянии помочь другому, как будто бы оправдывается. Но автор, очевидно, забывает, что то же самое место уже не смог получить кто-то другой, в нем нуждающийся.

Возросший интерес к Достоевскому в нашем обществе вызван, по-видимому, тем, что теперь, когда уже созданы условия для равноправия человека, мы придаем все большее значение задаткам и способностям каждого и стремимся к всестороннему их развитию на благо всех. Нелепый лозунг: «Не смей иметь личности, fraternité ou la mort!» (8, 451), который Достоевский, по-видимому, слышал у Бакунина или Нечаева (против них направлен его роман «Бесы»), не имеет ничего общего с социализмом, хотя Мышкин и утверждает обратное в своей наивной речи перед представителями знати. Достоевский обвиняет окружающее общество прежде всего в том, что оно не принимает в расчет человека, — в мире буржуазного расчета нет места индивидуальности, если только это не индивидуальность властителя. Для Достоевского же интерес представляет как раз «чрезвычайная странность сердца человеческого» (8, 396), именно ее следует изучать. В роман включено философское положение (из которого делаются и эстетические выводы): «Причины действий человеческих обыкновенно бесчисленно сложнее и разнообразнее, чем мы их всегда потом объясняем, и редко определенно очерчиваются» (8, 402). В другом месте говорится, что очень хороший шахматист рассчитывает на 10 ходов вперед — сколько же еще остается неизвестным! Это один из тех вопросов, над которыми бьется Иполлит: «...какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества?» (8, 336), и тем самым ставится самый важный вопрос — вопрос о смысле человеческого существования, и притом речь идет не о великих личностях, а о каждом рядовом человеке.

В чем же видит смысл своей жизни Лев Николаевич Мышкин? Быть там, где нуждаются в помощи «отверженные всех слоев общества» (заглавие романа В. Гюго Достоевский заносит в свою записную книжку), там, где человеку в беде надо протянуть руку или обнаружить человечность, скрытую под толстым слоем наносного мусора. Здесь-то и сосредоточено начало книги об «Идиоте», а может быть, и всего творчества Достоевского, — его «на первый взгляд фантастическая, а на деле — удивительно

реальная человечность», как это сформулировал Ст. Цвейг.¹³ Здесь-то и скрывается, на наш взгляд, тот «камертон», которого не смог увидеть Луначарский в «какофонии» «колоссальной этической разрухи», та гармония, которой, с его точки зрения, не было у Достоевского в «отдельных мировоззрениях <...> почти подсознательно прорывающихся в действиях и дисгармонических речах».¹⁴

Мышкин существует для всех и каждого в отдельности. Он помогает и там, где его не просят о помощи, но где ему она кажется возможной. И при этом он всегда ищет в каждом человеке его «беспокойство», о котором говорил Иволгин, то внутреннее противоречие, которым определяются воззрения и поступки.

В Бурдовском, согласившемся играть роль вымогателя наследства, он видит не врага, а обыкновенного человека, разглядев под кажущейся непорядочностью добрые черты: благоговенье перед матерью, стремление занять какое-то место в жизни. Почему бы это не могло послужить основой для перемены? Мышкин помешал Гане Иволгину сделать карьеру Ротшильда, но, расследуя дело Бурдовского, Ганя все же сумел принести пользу и проявил тут талант, порядочность, такт. Ганиного отца, когда его можно было бы уличить в краже, Мышкин называет «честнейшим человеком» (8, 409) и так с ним и обращается. В результате генерал исправляет свою ошибку. Даже в сомнительном «боксере» Келлере, пьянице и интригане худшего сорта, Мышкин открывает что-то детское и простодушное, и это, может быть, — еще только может быть! — станет поворотной точкой в его жизни. Мышкин не боится риска и тратит время и деньги на человека, жестоко его оскорбившего. Ему ничего не жалко, если речь идет о спасении человеческого начала в этом враждебном человеку мире. «Вы страдаете и за преступника», — говорит ему Лебедев (8, 373).

Нет необходимости подробно говорить о том, что делает Мышкин для Настасьи Филипповны. Его великодушный поступок в первой части романа спасает ее от брака с Ганей, и Мышкин предлагает ей выход из сложившейся ситуации, — другое дело, что выход этот оказывается для нее неприемлемым. Аналогичным образом обстоит дело и с Аглаей. Уже после первой беседы с Мышкиным в ней вспыхивает то недовольство своим бесполезным существованием, которое позднее находит выражение в словах: «Я хочу хоть с одним человеком обо всем говорить как с собой <...> Я хочу быть смелой и ничего не бояться <...> хочу пользу приносить <...> хочу совершенно изменить мое социальное положение» (8, 356—358). Это дело рук Льва Николаевича. Мышкин едва ли не единственный, кто принимает всерьез тет-

¹³ Z w e i g St. Drei Meister, S. 91.

¹⁴ Луначарский А. В. Собр. соч., т. 1, с. 161.

радь Ипполита — малопривлекательную смесь жизненных наблюдений, жалоб больного и плохо усвоенных теорем разного толка. Мышкин же дает ответ на основной вопрос Ипполита: для того ли созданы люди, чтобы мучить друг друга? В чем счастье? И при этом Мышкин не пытается обнадежить больного дешевыми утешениями; он помогает ему с достоинством умереть.

Это и есть, следовательно, призвание Мышкина, человека без определенных занятий: быть человеком. На приеме у генерала Епанчина ему было трудно ответить на вопрос о его особых талантах и свойствах: «...самому хочется посмотреть, к чему я способен» (8, 25). Так, он, собственно говоря, без особого повода, без «дела» приходит к Епанчиным, а вечером того же дня опять без «дела» неприглашенным проникает на празднование дня рождения. Какой этикет мог бы помешать человеку быть человеком?

Упорнее всего Мышкин следует этому предназначению в своих отношениях с Рогожиным. Здесь-то разгорится самый большой спор. Они приезжают в Петербург в одном поезде; мрачная страстность купеческого сына — это антипод светлой одухотворенности Мышкина. Иногда даже кажется, будто бы мы здесь — в противоположность ассоциации с Христом — имеем дело с самим дьяволом. Однако этот сатана, который на аукционе готов заплатить самую высокую цену за человека, — это одновременно и Отелло, полный человеческой самоотверженности, когда речь идет о счастье любимой женщины. (Впрочем, у Достоевского среди многих планов романа был один, по которому Идиот должен был получить черты Яго: позднее он считал возможным вложить в уста Мышкина слова Отелло — 9, 161, 284—285). Мышкин сознает огромную противоречивость в характере своего антипода, возможность стать и хорошим человеком и убийцей, он вмешивается в жизнь соперника, он много раз отнимает у него захваченную им «душу», воздействует в беседах на своего противника настолько, что тот готов стать его другом и обменяться с ним нательными крестами (для староверов — наивысшая степень человеческого сближения), — человек при этом рискует своей жизнью, — и не может спасти от Рогожина ни Настасью Филипповну, ни его самого. Одержимого бесом обывателя невозможно спасти от его собственных грехов, устремленное к добру швейцарское просветительство не может предотвратить катаклизмов разорванного мира.

Но именно здесь становится очевидным, что для Достоевского с князем Мышкиным речь идет не о проповеди человеческой морали в бесчеловечном мире, не о подмене невозможного счастья материального счастьем духовным. Конечно, Мышкин выступает против Чернышевского, когда в разговоре с Рогожиным он намекает на самый популярный роман того времени: «Есть что делать, Парфен! Есть что делать на нашем русском свете, верь мне!» (8, 184). Но «что делать?» Мышкина определяется не по-

корным квиетизмом: напротив, болезненный эпилептик — это сильный, активный характер, который не щадит ни средств, ни времени, ни даже собственной жизни, когда речь идет о человечности: «Эта доброта не пассивная, стоящая в стороне от кипения жизни, а постоянно ищущая себе применения», — пишет о Мышкине М. Б. Храпченко.¹⁵ Это задача, которая намного превышает силы героя. Не раз ему приходит мысль уйти, бежать в полюбившиеся ему горы или по крайней мере немного отдохнуть от этого дурного мира с его множеством трагедий и противоречий (которые для Достоевского имеют форму непримиримых кантовских антиномий и которые лишены утешения гегелевского поступательного развития — отпечаток эпохи без освободительного движения). Но ведь он не может даже выпроводить на ночь из комнаты своих ближних и запереться (Рогожин, Ипполит и Лебедев всегда все тщательно запирают, оба первых прежде всего самих себя). И это тоже причина того, почему Достоевский концентрирует действие своего романа в несколько дней. 27 ноября, первый день действия, проходит для Мышкина прежде всего в мучительных попытках осознать взаимосвязь проблем вокруг Настасьи Филипповны, о которых он знает лишь понаслышке, в которые ему приходится вникать с трудом (обнаруживая при этом великолепное психологическое чутье), пока он в гостиной Иволгиных не выскажет ей, наконец, свой большой упрек: «А вам и не стыдно! Разве вы такая, какую теперь представлялись. Да может ли это быть!» (8, 99). Это один из духовных кульминационных пунктов всей книги. Каждый педагог знает, сколько душевной энергии требует подобное глубокое проникновение в душу другого человека, которое заставляет его в будущем пойти другим путем. Это становится очевидным уже на праздновании дня рождения: когда молодая женщина внезапно спрашивает Льва Мышкина, выходит ли ей за Ганю, ответ стоит ему немалою грудю; ужасная тяжесть сжимает ему грудь, он едва владеет собой. Другие после крушения своих заветных планов довольно спокойно отправляются домой. «И Афанасий Иванович глубоко вздохнул» (8, 149), как гласит ироническая концовка первой части. Мышкин не находит покоя, он кидается вслед за похищенной, губящей себя Настасьей Филипповной, чтобы вопреки всем доводам рассудка все-таки, может быть, еще спасти ее.

Во второй и третьей частях романа, которые мы назвали замедленными, происходит то же самое. Поиски Настасьи Филипповны превращаются в поиски доброго начала в Рогожине, перенапряжение вызывает приступ эпилепсии. Через три дня мы находим Мышкина в Павловске, но и здесь ему нет покоя: Аглая задает ему свои загадки, затем ему приходится иметь дело с дер-

¹⁵ Достоевский и его литературное наследие. — В кн.: Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. Изд. 4-е. М., 1977, с. 404.

зостями Бурдовского, Келлера, Докторенко и всех остальных и столкнуться наконец с отчаянием умирающего Ипполита. Среди ночи Настасья Филипповна озадачивает всех своими выпадами против Евгения Павловича. А на следующее утро «слишком, слишком много собралось <...> и других неразрешимых обстоятельств, и всё к одному времени, и всё требовало разрешения немедленно» (8, 254): сначала приходит князь Ш. и его невеста, затем Ганя, затем Келлер со своей неотложной просьбой выслушать историю его жизни. И вот уже у Мышкина, который не отмахивается от посетителя, не считает потраченное на него время вынужденной жертвой, зарождается мысль, а не выйдет ли при добром влиянии что-нибудь путное и из этого человека. Потом приходит еще и Лебедев со своими проблемами. Конец второй части и вся третья посвящены двум следующим дням и разделяющей их ночи. Действие развивается опять линейно, почти без всяких сюжетных параллелей, предвосхищений и ретроспекций. И снова дом Мышкина напоминает голубятню, и снова его одолевают проблемы, которые нужно решить или хотя бы напярчь для решения все свои силы. В лихорадочных заключительных главах все помыслы Мышкина опять сосредоточены на неразрешимых проблемах вокруг Настасьи Филипповны и Рогожина, и теперь уже требуемые усилия окончательно превосходят его возможности. Но ведь почти всегда у него есть, казалось бы, и другой выход: обрести покой, отойти в сторону, уехать. Всё это заботы, которые он сам на себя взваливает. Он не может иначе, ибо он — человек.

Катастрофа наступает не сразу. Не только потому, что он действительно в состоянии помочь отдельным людям, а на других он произвел сильное впечатление: вокруг него возникает нечто вроде особой человеческой атмосферы, которой еще совсем не было вначале. При его осторожном вмешательстве ослабевают душевные судороги, окружающие его люди расстаются с привычками, которые они обрели под влиянием уродливого окружающего мира. Они становятся более открытыми по отношению к князю. И друг к другу они начинают относиться иначе. Лизавета Прокофьевна, которой всю ее жизнь приходилось соединять доброе сердце с образом жизни знатной дамы, становится доступнее для чужих забот — не в смысле «благотворительности», неприемлемой для Достоевского, а в смысле внимания к ближним. Всеобщее удивление вызывает то, что Аглая просит передать привет явно поглупевшему старому Иволгину. Она делает это искренне, почувствовав, подобно Мышкину, что-то от внутреннего «беспокойства» бывшего генерала, Ипполит прекращает тиранить свою семью. Даже отношения между Настасьей Филипповной и Аглаей некоторое время складываются так, как должны были бы относиться друг к другу два человека с такими добрыми задатками, и уже одно то, что эти отношения имели место, означает поворот к человечности в изуродованных отношениях между

людьми, однако затем вновь прокладывает себе путь «нормальная» антиномия. И другие, ранее немислимы, отношения, — например, отношения между Евгением Павловичем и Верой — становятся возможными благодаря примеру Мышкина.

По первоначальным планам романиста, вокруг Мышкина должен был образоваться «детский клуб», в котором с ребяческой непосредственностью проявились бы нормальные человеческие отношения. По неизвестным причинам писатель отказался от этой идеи и осуществил ее лишь в «Братьях Карамазовых». Некоторые наметки этого замысла есть и в «Идиоте», но они повисают в воздухе, подобно порванным нитям: эпизод с Мари из рассказа Мышкина о Швейцарии, например, находит определенное соответствие в истории Настасьи Филипповны, а группа детей вокруг Мари такого соответствия не находит. Предпосылкой могли бы здесь послужить дети Лебедева и братья и сестры Ипполита, однако эти дополнительно введенные фигуры почти не используются. Дело ограничивается отношениями младших героев между собой: Коля, Ипполит, Вера и Аглая дают представление о надеждах Достоевского на будущее. Сам Мышкин мало соприкасается с детьми, лишь иногда он интересуется Веринными братьями и сестрами, живущими с ним в одном доме, — он слишком переутомлен. Незадолго до своего эпилептического припадка он вдруг заговаривает с ребенком на улице Петербурга. Но одновременно детские черты обнаруживаются у взрослых, и именно это создает возможность человеческих связей с другими «детскими» характерами. В начале романа благодаря этому возникает духовное родство во время беседы Мышкина с Лизаветой Прокофьевной и ее дочерьми; чистосердечие, непосредственность в восприятии мира, наивное суждение о мире делают генеральшу и Мышкина чувствительными к человеческому поведению окружающих. Кроме них и названных выше представителей младшего поколения детскими чертами наделены в романе еще Александра, Келлер и (только в последней, безысходной, части книги) — Настасья Филипповна, а в отрицательном смысле — Ганя и Епанчин. В общем детское (опять в духе Руссо и Песталоцци) служит у Достоевского символом еще не разрушенной обществом человечности.

Поскольку подчеркивается обратимость социальных отношений, а русская действительность показана критически как мир, стоящий на голове, то неудивительно, что в глазах «нормально» (т. е. извращенно) мыслящих персонажей Мышкин ведет себя как ненормальный, «идиот». Конечно, источником здесь в значительной степени послужили библейские мотивы — близость «дурачка» к богу; гораздо существеннее, однако, с нашей точки зрения, то, как используются эти мотивы: мир и сам ненормален, если самый нормальный человек кажется ненормальным и терпит духовный крах от столкновения с этим миром. За глаза или в глаза окружающие высказываются о Мышкине: он «чуждак»

или «дурачок», «не в своем уме», ошибается «по рассеянности», «больной», «помешанный», «странный человек», «смешной», «немного того», «заболел умом», «бедный сумасшедший»; а Мышкин в своей «безумной» наивности откровенно рассуждает о том, идиот он или нет. Но и другие персонажи становятся объектом подобных суждений, если они, подобно Мышкину, ведут себя не в соответствии с уродливой нормой: когда Настасья Филипповна не желает больше участвовать во внешне пристойной сделке, ее поведение объявляется безумным; Ганя может объяснить замешательство своего отца после кражи только как душевную болезнь; любовь Аглаи к идиоту не может не казаться отсутствию ненормальной; совершенно естественное стремление Ипполита выговориться перед смертью трактуется как безумное. Но ведь безумны — нет, бесчеловечны! — как раз другие, те, кто всегда готовы слушать, если наклеивается скандал, но не чувствуют потребности поддержать юношу и даже сожалеют, когда самоубийство не состоялось на их глазах.

Чтобы поставить этот перевернутый мир с головы на ноги, мало педагогики и человеческого участия к ближнему; если бы Достоевский ограничился этим, его роман был бы давно забыт. Когда у Гете в начале его романа Лотта говорит Вертеру, что он не должен принимать столь горячее участие во всех, иначе он погибнет, она и не подозревает, до какой степени она права. «Болезненная чувствительность» приводит его к поражению; и Достоевский, по мере того как начинают вырисовываться контуры его романа, также понимает, что для его героя возможен лишь трагический исход в отличие от предыдущего романа «Преступление и наказание», проблемы которого хотя бы временно сняты христианской идеей любви к ближнему. Незадолго до завершения романа «Идиот» писатель не без горечи, но с удовлетворением констатировал в письме к другу: «Теперь, когда я всё вижу как в стекло, — я убедился горько, что никогда еще в моей литературной жизни не было у меня ни одной поэтической мысли лучше и богаче, чем та, которая выяснилась теперь у меня, для 4-й части, в подробнейшем плане» (П., II, 141).

Четвертая часть — это история полного и абсолютного поражения Мышкина, она последовательно подводит к выводу, что стремление к человечности в данных условиях может окончиться только несчастьем. Правда, герою остается сознание, что он облегчил смерть генералу Иволгину и юному Ипполиту, но что это за горькое утешение! Все остальные попытки явно терпят крах: результатом его наивной речи перед дворянским обществом оказывается разбитая китайская ваза и еще один эпилептический припадок. Свадьба с Аглаей не состоится; смешон — действительно смешон! — Мышкин, когда Аглая отказывает ему: он радуется, что может остаться и смотреть на нее. Затем расстраивается и другая свадьба, невеста бежит от него перед самым венчанием. В четвертой части происходит трагическое столкновение

обоих соперниц, исход которого, как бы ни обернулось дело, может быть только трагическим. Все неудержимо катится к катастрофе, и подобно тому, как до этого Мышкин мог лишь по-детски беспомощно гладить всхлипывающую Настасью Филипповну, так в конце ему остается только сострадательно гладить Рогожина — и сойти с ума от противоречий этого мира, «больше он ничего не мог сделать!» (8, 506). Нет ничего более последовательного в творчестве Достоевского, чем это ужасающее крушение всех надежд. Человечность ничего не стоит, она гибнет.

Анна Достоевская, вторая жена писателя, рассказывает в своих мемуарах, какое впечатление произвела на ее мужа упомянутая выше картина Ганса Гольбейна Младшего «Христос во гробе». Ради этой картины они даже специально заезжали в Базель по пути из Баден-Бадена в Женеву (это время первых набросков «Идиота»). На необычно вытянутом в длину полотне 24-летний художник изобразил лежащего в гробу Христа, на теле которого видны следы последних мучений. Полуоткрытые мертвые глаза, заострившаяся торчащая кверху борода, резко обозначившиеся плечи — это стремление к научной точности в передаче природы усиливает впечатление ужаса. Крышка плотно прилегает к гробу, открытому только со стороны зрителя. Ни один святой не смягчает ужаса милосердным жестом, как это обычно бывает в «снятии со креста», не указывает умиленно на грядущее воскресение.

Мы знаем, что Достоевский, как пригвожденный, стоял перед этой картиной, постепенно на лице его появилось то выражение, которое бывало перед эпилептическим припадком, только силой его удалось увести. Через некоторое время, успокоившись, он пошел взглянуть на картину еще раз. В романе об этой картине говорят Мышкин, Рогожин и Ипполит, копию с нее писатель помещает в доме Рогожина. У всех одно и то же впечатление: подобная картина может разрушить в человеке веру. Ипполит особенно четко формулирует эту мысль, и никто другой ее не опровергает: законы природы столь сильны, что невозможно уйти из-под их власти — и воскреснуть, и вряд ли Христос был бы готов принять страдание, знай он об этом заранее. Достоевский ни перед чем не останавливается в своих выводах, когда речь идет о познании действительности.

Так неужели все было напрасным перед лицом «законов природы» враждебного человеку мира? Значит, Мышкин потерпел окончательный крах? Подобные вопросы возникают всякий раз, когда писатель позволяет своим героям — в самых разных общественных условиях — до конца раскрыть все свои человеческие возможности; если такой герой слишком опережает время, ему остается лишь умереть. Потерпел ли крах Григорий Мелехов? Или Старик у Хемингуэя? Или Криста Т.? Все они стремились более или менее осознанно быть человеком «до конца», независимо от обстоятельств, как ни различны социальные условия,

в которых это стремление родилось и которые могут способствовать или, наоборот, препятствовать его осуществлению. Подобные образы принадлежат к важнейшим достижениям литературы, так как человек предстает в них во весь рост. Конечно, такое изображение внедиалектично, оно не учитывает конкретных условий, оно задает масштабы, непригодные на данный момент и даже непрактичные. Мышкин — один из таких образов. Мы не будем обращаться за утешением к додиалектическому релятивизму, выраженному в антиномии Ипполита (Достоевского): счастье Христофора Колумба состояло не в открытии Америки, не в результате, а в самом процессе, в поиске. Нет, нам знакомо счастье поисков и открытий, из которых на следующем этапе рождаются поиски. Но в романе есть еще одно утешение, которое оставляет себе Достоевский и которого никто не оспаривает. Его-то нам и следует подчеркнуть. Это высказанный как бы мимоходом в последней части вопрос Александры (старшей из трех сестер, которую Достоевский в начале романа сравнил с «Мадонной в плаще» Ганса Гольбейна): «В чем будет полагаться, через несколько лет, значение порядочного человека у нас в России: в прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом?» (8, 422). Люди уже больше не будут ходить «вверх ногами».

Перевод Л. В. Славгородской.

А. П. ЧУДАКОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ДОСТОЕВСКОГО

Литература изображает мир в его физических, конкретных предметных формах. Но степень привязанности к вещному неодинакова — в прозе и поэзии, в литературе разных эпох, у писателей различных литературных направлений.

Основу всякого изображенного целого составляет мир воплощенных в слове человеческих образов и предметов, расселенных в пространстве, созданном творческой силою художника. Причем ядро художественной жизни каждого предмета — большого или малого — это повторение в его структуре главных черт общего представления писателя о мире, обществе, вселенной. Меж тем предметный мир художника не стал еще объектом самостоятельного анализа при описании разных художественных систем, в том числе художественной системы Достоевского.

Первый вопрос такого анализа — сегментация предметного мира. Она не совпадает с классами реально-эмпирических вещей. Разделение, идущее от изобразительных искусств, не учитывает всех возможных ситуаций литературы. Однако в целях удобства мы используем именно его, традиционно подразделяя все предметные описания на интерьер, пейзаж, портрет.

1

Мнение, что Достоевский не имеет вкуса к изображению окружающей обстановки, внешности человека, природы — вещиности вообще — существует издавна. В нем, как во всех общераспространенных мнениях, читательских и исследовательских, много неточного, но тот импульс, который такое впечатление рождает, несомненно восходит к некоей существенной особенности предметного восприятия Достоевского.

В качестве первого сегмента его вещного мира выберем интерьер.

Интерьер предшествующей и современной литературной традиции (натуральной школы, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Баль-

зака, Гюго) можно определить в целом как живописно-характеристический — с разной степенью эмоциональной окрашенности и типизирующей направленности, но с достаточной степенью пространственно-предметной точности, подробности и изобразительной фактуры.

Вещи интерьера Достоевского описываются по другому принципу — даже в ранних его произведениях, еще тяготеющих к гоголевской поэтике. Вот как в «Дядюшкином сне» изображается салон Марьи Александровны: «В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром, весьма дурного вкуса» (2, 303). Описание кажется достаточно подробным, но детальность его мнима: повествовательное пространство вокруг слова, обозначающего предмет, заполнено не уточняющими «живописательными» словами тоже предметного характера, но лексикой эмоционально-оценочной: «порядочно», «недурны», «неуклюжей», «весьма дурного вкуса». Далее то же: фигурируют «превосходный» рояль, «хорошенький» чайный прибор и т. п. Еще один пример — описание интерьера в «Подростке»: «Направо находилась комната Версилова, тесная и узкая, в одно окно; в ней стоял жалкий письменный стол, на котором валялось несколько неупотребляемых книг и забытых бумаг, а перед столом не менее жалкое мягкое кресло, со сломанной и поднявшейся вверх углом пружиной, от которой часто стонал Версиров и бранился. В этом же кабинете, на мягком и тоже истасканном диване, стлали ему и спать; он ненавидел этот свой кабинет и, кажется, ничего в нем не делал <...> В гостиную входили из коридора, который оканчивался входом в кухню, где жила кухарка Лукерья, и когда стряпала, то чадила пригорелым маслом на всю квартиру немилосердно. Бывали минуты, когда Версиров громко проклинал свою жизнь и участь из-за этого кухонного чада, и в этом одном я ему вполне сочувствовал; я тоже ненавижу эти запахи» (13, 82; курсив здесь и ниже мой, — А. Ч.). Описание, несомненно, достаточно конкретно, но конкретность эта скорее топографического свойства: схема, но не рисунок. Однако схема эта, не преследуя живописных целей, обременена знаками другого рода — эмоциональными; рассказчику важно единое впечатление, и оно внушается с чрезвычайной энергией.

В интерьере Гоголя вещи тоже производят некое единое впечатление: «Каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: „и я тоже Собакевич!“». Но этот эффект обеспечивается собственной предметной сущностью этих вещей: «Пузатое ореховое бюро на пренелепых ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства», а на сами постройки были употреблены «полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние» («Мертвые души», гл. V). Соположенные предметы в мире Гоголя гомогенны, в его

кунсткамере нет экспонатов, которые бы своими свойствами к этой кунсткамере не подходили. Вещи Достоевского разнородны, разнокалиберны и разнокачественны; объединены они одним — субъективным мироощущением рассказчика, им придаются свойства его сиюминутного восприятия: «Где-то за перегородкой, как будто от какого-то *сильного давления*, как будто *кто-то душил их*, — *захрипели* часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, *гаденький* и как-то неожиданно частый звон» («Записки из подполья», 5, 152). У Гоголя по поводу хрипящих часов есть как будто не менее ошеломительное сравнение: «как бы вся комната наполнилась змеями» («Мертвые души», гл. III). Но при всей его резкости оно лишено эмоционального оттенка. Сходно вещное изображение у Гончарова — декларированное ощущение запущенности кабинета Ильи Ильича Обломова подкрепляется сторонним описанием ее подробностей — пыли, паутины, пятен и т. д. В мире Достоевского предмету атрибутируются качества, не непременно «объективно» ему присущие.

Напряженно-субъективным чувством окутываются даже предметные свойства, эмоциональной оценке не подлежащие, например геометрия углов комнаты: «один угол *ужасно острый* <...> другой же угол был уже слишком *безобразно тупой*» («Преступление и наказание», 6, 244).

Единообразности, устойчивости картины одного и того же предметного ареала препятствует и то, что он показывается в разное время с различных точек зрения (например, комната Раскольниковова). Но дело, конечно, не в том, что у Достоевского изображенный мир — это мир, предстающий перед читателем в восприятии героя. В таком виде мир часто явлен и читателям Толстого, Чехова, что не делает его там предметно зыбким. Дело в том, что у Достоевского это руководимое автором восприятие предельно личностнонаправленно. Рассказчик «Подростка», заключая одно из описаний, говорит: «Я не про аукцион пишу, я только про себя пишу» (13, 37). Будь так, все обстояло б слишком просто. На самом деле повествователь Достоевского всегда пишет про вещи, они в поле его сознания, но ему нужно не их внешнее, видимое всем обличье, но их суть, ведомая ему одному.

С таким ощущением вещи связан характер освещения интерьера. «Во внутренних помещениях Достоевский любил рембрандтовское освещение, борьбу светотеней, вспышки во мраке».¹ Но яркая и мгновенная вспышка, выхватив предмет и сделав резкими грани и тени, не покажет его полный облик. Однако она может враз обнаружить нечто, до того в предмете скрытое.

Мысли о неживописности интерьера Достоевского не противоречат наблюденное пристрастие его к темно-серому, серому, темно-коричневому и черному цветам² или то, что «Преступление

¹ Гроссман Л. П. Достоевский — художник. — В кн.: Творчество Достоевского. М., 1959, с. 411.

² Чирков Н. М. О стиле Достоевского. М., 1963, с. 108—109.

и наказание» «создано при использовании фактически одного желтого фона».³ В обоих случаях — это краски, создающие единство эмоционального тона; по функциям использование их у Достоевского близко к одному из приемов современного кино, когда части фильма даются в разном колорите.

Благодаря всему этому интерьеры Достоевского только с большим допущением можно причислить к описаниям в традиционном смысле — у него нет спокойно-последовательного изображения вещного наполнения квартиры, комнаты. Предметы как бы дрожат в плетении туго натянутой сети интенции автора или героя — и этим выявляют и обнажают ее.

Самодостаточных описаний в литературе не бывает, но бывают такие, которые реконструируют обстановку интерьера в возможном обилии предметов и их деталей, в многообразии их форм, объемов, очертаний, красок, в их соотносительности с прототипическим эмпирическим вещным ареалом в его географической, социальной, временной определенности (эпоха, страна, школа живописи, архитектурный стиль и т. п.). У Достоевского описания этого типа отсутствуют. Он не отказывается от «социальной» вещи, но и не ищет ее специально; он охотно использует необычный вид предмета, но трудно назвать формы, к которым он (как Гоголь) был бы предпочтительно внимателен.

2

Еще Н. К. Михайловский заметил, что у Достоевского почти нет пейзажей; Мережковский писал, что Достоевский «мало и редко описывает природу».⁴ «Перечитайте все произведения Достоевского, и вы не найдете больше четырех-пяти отрывков, хоть сколько-нибудь похожих на то, что мы связываем с представлением о картине природы», — утверждал Переверзев.⁵ С этим спорил уже Л. Гроссман, писавший, что «пейзажей у Достоевского гораздо больше, чем это принято обыкновенно предполагать».⁶

Вопрос не в количестве, а в том, что у него действительно редки «чистые» описания природы — пейзаж не отделен и не отделен; природный предмет и явление включены в поток событийного повествования. Это относится и к пейзажу-строке, пейзажу-предложению и к пейзажам, обнимающим целые предложения и даже абзацы.

Описания Тургенева географически и фенологически точны: всегда обозначается вид птицы (жаворонок, коростель), порода

³ Соловьев С. М. Колорит произведений Достоевского. — В кн.: Достоевский и русские писатели. М., 1971, с. 437.

⁴ Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Изд. 4-е. СПб., 1909, с. 267.

⁵ Переверзев В. Ф. Творчество Достоевского. М., 1912, с. 54.

⁶ Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М., 1925, с. 121.

деревя. У Гончарова флора и фауна гораздо менее разнообразна, но и у него найдем и перепелов, и кузнечиков, и стрекоз, и «поле с рожью», и воздух, напоенный «запахом полыни, сосны и черемухи» (ср. у Достоевского: «воздух дышит весенними ароматами» — 1, 14). К. Федин говорил о писателях-классиках, что у них нет вообще *птиц*, а есть конкретные *грачи*. Но у Достоевского чирикают как раз такие обобщенные птички (пташки), растут неопределенные «кусты» и не принадлежащие к какому-либо семейству «цветки». Почти уникален пейзаж в «Бедных людях», где есть и «сосны», и «вековой вяз», и «береза», — чрезвычайно понравившийся современникам и исключенный впоследствии автором.

И уже в ранних его пейзажах предметная неконкретность слита с эмоциональным освещением самих вещей. Почти всякий пейзаж вводится или заключается некоей эмоциональной заставкой, служащей ему камертоном. См., например, в «Хозяйке»: «Ордынoв равнодушно вступил во владение, навсегда откланялся опекуну своему и вышел на улицу. Вечер был осенний, холодный и *мрачный*; молодой человек был задумчив, и какая-то бессознательная грусть надрывала его сердце» (1, 265). «За ними потянулись длинные желтые и серые заборы, стали встречаться совсем ветхие избенки вместо богатых домов и вместе с тем колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, красные, с длинными трубами. Всюду было безлюдно и пусто; все смотрело *угрюмо* и *неприятенно*: по крайней мере так казалось Ордынову. Был уже вечер» (1, 267).

Пейзаж в поздних романах строится сходно. «Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится <...> Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие <...> Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, — чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из „Пиковой дамы“ (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметсЯ с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото...“» (13, 112—113).

Знаменитый этот пейзаж вполне сопоставим по структуре с пейзажами «Бедных людей» и «Двойника», но место эмоциональной «заставки» заняли сложные медитации. Некая яная, метафорически-символическая «надприродная» суть здесь не прозрева-

ется, как например у Тютчева, но демонстрируется открыто; природные предметы настолько прямо связаны с самой мыслью о них, что в медитацию свободно входит феномен литературный — «мечта» пушкинского Германна.⁷ «Сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства, — писал Достоевский, — стало быть, надо дать поболее ходу идее, и не бояться идеального» (XI, 77).

Природа Достоевского почти всегда дается в воспринимающем сознании, но это не увиденность, а «созерцание»; именно поэтому пейзаж так естественно инклюзирует философские и исторические ассоциации: «С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы само время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольники сидели неподвижно, не отрываясь; мысль его перешла в грезы, в *созерцание*» (6, 421). Природные вещи являют не форму, но конечную суть — «взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным» (14, 290). Таков пейзаж в III части «Братьев Карамазовых»:⁸ «Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною» (14, 328). В природном предмете ищется не морфология природы, но ее субстанция; формы, линии, краски, как и первое — «выраженное» — эмоциональное впечатление, ощущаются как верхний слой на пути внутрь, или как стартовая площадка, или как первая ступень лестницы, уходящей вверх.

3

Существенной частью портрета героя традиционно являлся костюм. Как и при описании предметов в интерьерах, Достоевский не пристально внимателен к его деталям, тяготея к характеристике обобщенной. Так, про одетого «совершенно по моде» князя из «Дядюшкина сна» сказано, что он «точно вырвался из модной

⁷ «Феноменологичность» этого пейзажа усиливает и его восприятие во времени, отмеченное Д. С. Лихачевым (Достоевский. Материалы и исследования, т. 2. Л., 1976, с. 34).

⁸ Стилизованную «иконописность» этого пейзажа отмечал Д. С. Мережковский (Мережковский и Д. С. Толстой и Достоевский, с. 266).

картинки. На нем *какая-то* визитка или *что-то подобное*, ей-богу, *не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное*, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстук, жилет, белье и *всё прочее* — всё это ослепительной свежести и изящного вкуса» (2, 310). И сравним описание костюма модника у Гоголя, гораздо более краткое, но в коем, однако ж, отмечена и булавка: «Молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покусеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульская на булавкою с бронзовым пистолетом» («Мертвые души», гл. I).

Человек в художественной системе Гоголя предельно внешне воплощен; даже гоголевские мнимости — это ипостазированные мнимости («Вий», «Нос»). У Достоевского внешность многих персонажей вообще не изображается, и речь не о лицах второстепенных или малых жанрах — есть центральные герои больших романов и, однако, «фигуры не имеющие», по слову Тынянова. «Объективная» рисовка облика персонажа не характерна для Достоевского. Как верно заметил В. Шкловский, «черты портретов героев и их обстановка у Достоевского обнажают авторское понимание мира без введения условного, эмпирического объективизма».⁹

Непрерывное устремление и поиски вернейшего пути к внутреннему ведут к тому, что соотношение внешнего и внутреннего в его человеке свободно колеблется; в нем нет прямой детерминированности внешнего «средой и почвой». Так, «в Сонечке Мармеладовой Достоевский обойдет все, неизбежные и во внешности, отложения ее страшной профессии»,¹⁰ но, с другой стороны, охотно использует вслед за средневековой традицией и народно-поэтическим творчеством прямое соответствие «тела» «душе»: старый сладострастник у него и внешне отталкивающий, «стерва» процентщица отвратительна и с виду, а князь Мышкин или Алеша внешности почти ангельской.

Внешний облик героя Достоевского «собирается» из действия, жеста (направленно-однообразного),¹¹ движения, ритма. «Основа автопортрета Аркадия, — пишет А. В. Чичерин о герое «Подрустка», — в бешеном, судорожном, особенном, ему свойственном

⁹ Шкловский В. Собр. соч., т. III. М., 1974, с. 317.

¹⁰ Билицкий Я. С. Новаторство Л. Н. Толстого в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Л., 1973, с. 17.

¹¹ «Обозначения движений превращаются в застывшие формулы, которые повторяются на протяжении поэмы множество раз» (Виноградов В. В. К морфологии натурального стиля. Опыт лингвистического анализа петербургской поэмы «Двойник». — В кн.: Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 110). Ср.: «...Один и тот же жест или мимическое движение встречаются на десятках страниц подряд. К примеру, „Бесы“ перенасыщены „сверканием глаз“» (Белобровцева И. З. Мимика и жест у Достоевского. — В кн.: Достоевский, Материалы и исследования, т. 3, Л., 1978, с. 196).

ритме <...> Внешний облик воспринимается изнутри, из этого ритма». ¹²

Всеохватность этих категорий отодвигает собственно физические черты, детали на периферию. Ощущение их необильности (при действительной достаточности) усиливается постоянным соположением идеального и предметного начал, чувства и вещи. Но предмет не может перерасти свои физические пределы, феномены же идеальные на протяжении произведения Достоевского стремительно развиваются — время и движение убыстряются, напрягается мысль, чувство доходит до границы возможностей личности и перехлестывает эту границу. Предмет в этом соревновании проигрывает; создается сущностный портрет героя.

4

В мире конкретного произведения художественный предмет включен в событийный поток, в диалоги, сцены. Какова же его роль в этих видах текста?

В диалоге (или разговоре нескольких лиц) у Достоевского всегда отмечено начальное расположение героев на сценической площадке, положение относительно ее предметов. Но дальнейшая режиссура ослаблена, заботы о мизансценах не увидеть.

Сцена беседы Ивана и Алеши, одна из центральных в «Братьях Карамазовых», в своем начале предметно конкретизирована: «Находился Иван, однако, не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами, но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая, с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок, отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня, слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган» (14, 208).

При передаче разговора обо всем этом забыто — и о половых, и об органе, и о соседе-старичке, неизвестно даже, слышал ли он весь разговор или ушел в середине. Дальше до самого конца пятой главы — на протяжении тридцати трех страниц — нет ни одной предметной детали, первая появляется в самом ее конце: «Они вышли, но остановились у крыльца трактира» (14, 240). Правда, вскоре после начала разговора как будто бы всплывает деталь, явленная через реплику Ивана: «Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят» (14, 210). Но это не та уха, которую едят герои Гончарова или Лескова, и не о ней тут речь. Это не вещь, но эмоциональный жест. В фильме

¹² Чичерин А. В. Достоевский — искусство прозы. — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 260.

И. Пырьева, поставленном по роману, мимо Карамазовых во время их беседы одна за другой проходят разряженные дамы под зонтиками и другие лица. Но в самом романе глаз повествователя в этой сцене не видит никаких реалий. Ходом диалога, напряженностью его «надмирного» смысла первоначальные указания относительно предметного его сопровождения полностью отменены.

Об исключении из дальнейшего текста всего предметного антуража сцены прямо сказано в начале шестой книги романа: «Вся речь старца в записке этой ведется как бы непрерывно, словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как <...> велась беседа в тот вечер общая, и хотя гости хозяина своего мало перебивали, но все же говорили и от себя <...> к тому же и непрерывности такой в повествовании сем быть не могло, ибо старец иногда задыхался, терял голос и даже ложился на постель свою <...> Раз или два беседа прерывалась чтением Евангелия» (14, 260).

Той же самой цели — направленности читательской мысли через предмет и мимо него, к качественно иному, апредметному, служит и другой прием, совсем противоположный, — сугубое внимание к вещам в кризисные моменты жизни сознания. (В более резкой форме он использовался Толстым: «Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург <...> Но я докажу ему... Как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? Моды и уборы, — читала она — «Анна Каренина», ч. VII, гл. 28). Психологическая мотивировка-комментарий такому изображению дается Достоевским в «Подростке»: «Удивительно, как много посторонних мыслей способно мелькнуть в уме, именно когда весь потрясен каким-нибудь колоссальным известием, которое, по-настоящему, должно бы было, кажется, задавить другие чувства и разогнать все посторонние мысли, особенно мелкие; а мелкие-то, напротив, и лезут» (13, 130).

Итак, мы видим здесь два вида отношения к вещи: 1) предметы наличествуют, но они факультативны и задвинуты на периферию повествования; 2) предметы тоже факультативны, но они время от времени всплывают в тексте. Однако вещественность их мнима, они лишь суть знаки мира внутреннего. В обоих случаях предметы, объективно в тексте наличествующие, развеществляются.

В сознании художника существует некая внутренняя действительность, которая объективируется в процессе создания произведения. Ее проецирование в воплощаемое художественное пространство — не явление на свет божий некоего готового феномена. Трансцендентация духовного — это процесс, в котором мир внутренний сталкивается с проникающим в него внешним и с той поры несет на себе его явственные следы.

Рождение художественного предмета — встреча идеального представления с эмпирическим предметом. Это не мирная встреча,

но столкновение и война. В этой войне реально-эмпирическое имеет преимущество, ибо отвечает главной двуединой цели искусства: коммуникативной и — по Л. Толстому — заразной, и оно есть единственно возможная форма выражения внутренне-идеального. Писатель может говорить лишь на предметном языке этого эмпирического мира — только так он может быть понят и понятен. Поэтому внутреннее — надвременное и вечное — передается в формах предметно-временных, в вещном обличье той эпохи, к которой художник принадлежит.

Степень подчиненности этим формам времени различна. Одни художники остро реагируют на эти сиюминутные формы, постоянно творимые жизнью в сфере природной и социальной, они внимательны к вещи, укладу, этикету, быту. Это тип форм ориентированного мышления (пример такого художника — Тургенев).

Ему противостоит другой тип, который условно назовем сущностным. Это тип литературного мышления, не регистрирующего разветвленные современные бытовые ситуации и формы, разнообразие в его живописной пестроте. Вещь не находится в центре его внимания, она может быть легко оставлена повествователем ради более высоких сфер. Достоевский — яркий пример такого художественного мышления. «Я не описываю города, обстановки, быта, людей, должностей, отношений, — записал он в одной из записных книжек. — Само собою, так как дело происходило не на небе, а все-таки у нас, то нельзя же, чтобы и я не коснулся иногда чисто картинно-бытовой стороны нашей губернской жизни; но предупреждаю, что сделаю это лишь ровно настолько, насколько понадобится самую неотложную необходимость. Специально же описательную часть нашего современного быта заниматься не стану».¹³

Достоевский не бежит предмета. Но это особым образом увиденные предметы. Они как бы освобождены от своих оболочек, мешающих общению — поверх барьеров — сути с сутью. Они создают то напряженное вещное поле, которое является основой того художественного видения, которое вошло в литературу с этим писателем.

¹³ Цит. по: Творчество Достоевского. М., 1959, с. 366.

Е. И. КИЙКО

ДОСТОЕВСКИЙ И РЕНАН

Впервые Достоевский упомянул имя Ренана после выхода в свет в 1863 г. его книги «Жизнь Иисуса». Книга эта открывала восьмитомную «Историю происхождения христианства», над которой Ренан работал в течение последующих двадцати лет.

Жозеф Эрнст Ренан (1826—1892) вступил на литературное поприще в 1847 г. и был известен как историк, лингвист, филолог-востоковед. Появление «Жизни Иисуса» сделало его имя знаменитым.

Приступая к созданию «Истории происхождения христианства», Ренан опирался на достижения так называемой Тюбингенской школы немецких историков, которые подвергли критическому изучению текст Нового завета. Ф. Энгельс в статье «К истории первоначального христианства» (1894) писал, что представители Тюбингенской школы в критическом исследовании евангельских текстов заходили «настолько далеко, насколько это возможно для *теологической школы*».¹

Непосредственным предшественником Ренана был Давид Фридрих Штраус, напечатавший в 1835—1836 г. двухтомный труд под тем же, что и у Ренана, названием — «Жизнь Иисуса». Ренан неоднократно с большим пиететом писал о своих немецких учителях, а в предисловии к «Жизни Иисуса», помимо книги Штрауса, привел обширный перечень сочинений историков Тюбингенской школы в качестве источников, на которые он опирался в своей работе. В то же время, настаивая на самостоятельности подхода к историческим фактам, Ренан выдвинул руководящим принципом своего исследования «художественное чутье». В том же предисловии он писал, что в «усилии оживить великие души прошлого позволительно допустить известную долю прорицаний и предположений». С его точки зрения, люди имеют большее значение в истории, нежели доктрины, поэтому «написать

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 473.

историю Иисуса, св. Павла, апостолов это и значит написать историю начал христианства».² Именно эту, художественно-эстетическую, черту восприятия истории выделял в книге Ренана К. Маркс. Так, 20 января 1864 г. он писал Энгельсу: «... мне вспомнилась ренановская „Жизнь Иисуса“. В некотором отношении это просто роман, полный пантеистически-мистических видений». В том же письме Маркс отмечал, однако, что «эта книга имеет и некоторые преимущества по сравнению с ее немецкими предшественницами», и рекомендовал ее прочитать.³ Позднее, 16 июня 1864 г., Маркс писал Энгельсу, что сочинение Ренана принадлежит к явлениям, свидетельствующим о достопримечательном движении «против религии, начавшемся [за пределами Германии]».⁴ Энгельс в своих отзывах о Ренане всегда подчеркивал зависимость автора «Жизни Иисуса» от историков Тюбингенской школы.⁵ Тем не менее на склоне лет, вновь обратившись к работам Ренана, Энгельс отметил и некоторое преимущество французского автора. 19 августа 1892 г. Энгельс писал Виктору Адлеру: «Занимаюсь здесь ранним христианством, читаю Ренана и Библию. Ренан ужасно поверхностен, но как светский человек обладает кругозором более широким, чем немецкие университетские теологи».⁶ «Широту кругозора» Ренана Энгельс отмечал и прежде. Несомненное достоинство его как историка религии Энгельс видел в том, что в сочинениях Ренана раннее христианство сопоставлено с рабочим коммунистическим движением XIX века. «Но вот что Эрнест Ренан сказал хорошо, — писал Энгельс в августе 1883 г., вольно излагая затем слова Ренана: — „Если хотите ясно представить себе, чем были первые христианские общины, то не сравнивайте их с современными церковными приходами; они скорей напоминают местные секции Международного товарищества рабочих“».⁷

Приступая к «биографии» Христа, Ренан был уверен, что должен изобразить своего героя «прекрасным и обаятельным (ибо таким он и был бесспорно)...».⁸ В ходе исследования Ренан пришел к выводу, что «великое дело Иисуса» заключалось в том, что он заставил полюбить себя «до такой степени, чтобы и после смерти его не переставали любить». «Всё, что осталось от него, — утверждал Ренан, — это несколько сентенций, собранных по памяти его слушателями, и в особенности, его нравственный тип и произведенное им впечатление <...> И если бы даже мы не знали об Иисусе ничего, кроме той страстной любви, которую он внушал к себе

² Ренан Э. Жизнь Иисуса. СПб., 1906, с. LXX.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 317.

⁴ Там же, с. 340.

⁵ См., например, там же, т. 21, с. 7—8.

⁶ Там же, т. 38, с. 366.

⁷ Там же, т. 21, с. 7—8.

⁸ Ренан Э. Жизнь Иисуса, с. XXIII.

окружающим, то этого было бы достаточно для нас, чтобы утверждать, что он был велик и чист».⁹

Заканчивая повествование о жизни и смерти Христа, «этой великой личности», Ренан безоговорочно признал, что «в нем сосредоточилось всё, что есть прекрасного и возвышенного в нашей природе».¹⁰

Книга Ренана имела шумный успех не только в Европе, но и в России. Н. Страхов впоследствии, в 1872 г., писал: «Все у нас знают Ренана, но едва ли кто любит и хорошо понимает <...> Может быть, он и вовсе не приобрел бы большой знаменитости, если бы не произвел чрезвычайного скандала своими книгами *о начале христианства* («Жизнь Иисуса», «Апостолы», «Св. Павел»). Говорим прямо — скандала, потому что, кажется, никакого другого результата не получилось. Эти книги равно не угодили ни верующим, ни неверующим, равно раздражали и тех, и других».¹¹

«Жизнь Иисуса» Ренана произвела сильное впечатление и на Достоевского. Он вспоминал об этой книге на протяжении всего своего творчества в записных тетрадях, в художественных произведениях, в публицистических статьях.

В отличие от «верующих» и «неверующих», отвергавших концепцию Ренана с противоположных позиций, Достоевский воспринял ее как некое диалектическое единство, как гимн нравственной красоте Христа, хотя и сочиненный атеистом.

Сущность отношения Достоевского к «Жизни Иисуса» выражена в записи, сделанной им в сентябре 1864 г.: «NB. Ни один атеист, оспаривавший божественное происхождение Христа, не отрицал того, что Он — идеал человечества. Последнее слово — Ренан. Это очень замечательно».¹² Эта же мысль легла в основу суждения Достоевского о Ренане, высказанного в «Дневнике писателя» 1873 г. Назвав там «Жизнь Иисуса» книгой «полной безверия», Достоевский отметил, что Христос у Ренана «есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем» (XI, 9).

С Ренаном-атеистом, отрицающим божественность Христа, Достоевский вступил в полемику, не прекращавшуюся на протяжении всей его деятельности. Так, в подготовительных материалах к «Бесам» Князь, отражающий точку зрения Достоевского, разъясняет Шатову, что «нравственные основания даются откровением. Уничтожьте в вере одно что-нибудь — и нравственное основание христианства рухнет всё, ибо всё связано» (11, 178). Князь утверждает далее, что Ренан и его единомышленники оши-

⁹ Там же, с. 346—349.

¹⁰ Там же, с. 356.

¹¹ Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе СПб., 1882, с. 249—250.

¹² Лит. наследство, т. 83. М., 1971, с. 248

баются, думая, что христианство не утратит своей сущности, если «Христа будут считать только простым человеком, благотворным философом» (11, 179). «Христос-человек не есть Спаситель и источник жизни» (там же), — таков вывод Достоевского. В то же время созданный Ренаном образ Христа как идеал «красоты человеческой» соответствовал давнишним представлениям самого Достоевского. Еще в 1854 г. он писал Н. Д. Фонвизиной о своем «символе веры»: «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа <...> Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, нежели с истиной» (П., I, 142).

Исследователи уже неоднократно отмечали, что роман Достоевского «Идиот» создавался под сильным впечатлением от «Жизни Иисуса» Ренана. Ренановский Христос помог Достоевскому решить поставленную им самим перед собой безмерную по трудности художественную задачу «изобразить вполне прекрасного человека» (П., II, 61). Черты характера князя Мышкина и его нравственный облик перекликаются с Христом, каким его изобразил Ренан.¹³ Характерно, что герой Достоевского, размышляя в одной из ранних редакций романа об обстоятельствах смерти Христа, сообщает детали, отсутствующие в Евангелии, исходя в данном случае из версии Ренана (см.: 9, 398). К аналогиям и сопоставлениям, уже сделанным исследователями, можно добавить еще один штрих. Достоевский изобразил своего «положительно прекрасного человека» душевнобольным. Эта же проблема затрагивалась и Ренаном в связи с характеристикой Христа. Утверждая, что Иисус «проповедовал не свои убеждения, а самого себя», ибо он ощущал божество в самом себе, Ренан писал: «Здесь безумие соприкасается с вдохновенностью, но только безумный никогда не пользуется успехом».¹⁴ В конце книги Ренан еще раз указал на невозможность провести четкую грань между болезнью и святостью. Он писал: пусть медицина «утверждает, что гений есть душевная болезнь; пусть она видит в известной нравственной чуткости начальную степень этизии; пусть она относит энтузиазм и любовь к нервным припадкам — что нам за дело? Слова „святой“ и „больной“ имеют лишь относительное значение. Кто бы не предпочел быть больным Паскалем, нежели здоровым дюжинным человеком? Узкие тенденции, распространившиеся в наше время относительно безумия, вносят самые серьезные заблуждения в наши исторические суждения о вопросах этого рода».¹⁵

¹³ См.: Соркина Д. А. Об одном из источников образа Льва Николаевича Мышкина. — Учен. зап. Томск. ун-та (Вопросы художественного метода и стиля), 1964, № 48, с. 145—151.

¹⁴ Р е н а н Э. Жизнь Иисуса, с 58

¹⁵ Там же, с 353

В черновых материалах к «Идиоту» есть наброски, свидетельствующие, что Достоевский считал своего большого героя, как и Ренан Христа, высшим проявлением человечности. Он писал: «Может быть, в Идиоте человек-то более действителен» (9, 276). Эта же мысль впоследствии была развита и в «Братьях Карамазовых». В предварительных набросках к роману Алеша неоднократно называется идиотом (см.: 15, 199, 202 и др.), что, очевидно, указывает на генетическую зависимость этого образа от князя Мышкина. Характеризуя Алешу как «героя из нового поколения» (15, 200) и не желая, вероятно, вызвать прямых ассоциаций с Мышкиным, Достоевский в печатном тексте называет его не «идиотом», а «чудаком». Во вступлении «От автора» он пишет, что Алексей Федорович — герой «примечательный», хотя и «человек странный, даже чужак». «Но странность и чужачество скорее вредят, — продолжает автор, — чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтобы объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чужак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?

Вот если вы не согласитесь с этим тезисом и ответите: „Не так“ или „не всегда так“, то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего Алексея Федоровича» (14, 5). Далее Достоевский высказывает тот взгляд на своего героя, который не решился прямо декларировать в 1869 г. в «Идиоте»: «... не только чужак „не всегда“ частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались» (там же).

Достоевский сошелся с Ренаном и в представлении, что в христианстве главное не учение («... там и учения-то нет, там только случайные слова...»), а образ Христа, «из которого исходит всякое учение» (14, 192).¹⁶

Для Достоевского религия — это комплекс нравственных идей, в основе которых лежит любовь к ближнему, идей, которые воплотил в своей личности и истинность которых доказал пролитой кровью Христос.

Книга Ренана поставила перед Достоевским вопрос: совместима ли вера в Христа с «крайними пределами» развития цивилизации? На него он склонен был ответить отрицательно. В упомянутых уже выше сентябрьских заметках 1864 г., в которых назван Ренан и которые сделаны были в качестве заготовок к неосуществленному замыслу статьи «Социализм и христианство», Достоевский писал: «Бог есть идея человечества собирательного, массы, *всех*.

¹⁶ Ср. у Ренана: Иисус «... не приводил своим ученикам никаких доводов рассудка, не требовал от них никакого умственного напряжения. Он проповедовал не свои убеждения, а себя самого» (Ренан Э. Жизнь Иисуса, с. 58).

Когда человек живет массами (в первобытных патриархальных общинах, о которых остались предания), — то человек живет непосредственно.

Затем наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация. <...> В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, — это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов <...> Человек, как личность, всегда в этом состоянии своего общегенетического роста — становится во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и *всех*. Терял поэтому *всегда* веру и в бога». ¹⁷ В то же время Достоевский был убежден, что цивилизация «есть состояние болезненное, потеря живой идеи о боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни. . .». ¹⁸ Единственный выход из этого болезненного, переходного состояния — «возвращение в непосредственность, в массу», т. е. к нравственному идеалу Христа. В этом случае личность должна в «высшей степени самовольно и сознательно» «достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое я — и отдать это *всё* самовольно *для всех*» (там же). Позднее, обдумывая роман «Бесы», Достоевский снова вернулся к мысли о том, что если бы люди «не имели ни малейшего понятия о государстве и ни о каких науках, но были бы все как Христы», то рай на земле утвердился бы тотчас же (11, 193).

Ренан отрицал божественность Христа, но он, как и Достоевский, был убежден, что в основе общественного прогресса должен лежать нравственный идеал. Еще в 1859 г. в книге «Essais de morale et de critique» Ренан обратился к французскому обществу с призывом утвердить свободу «посредством возрождения индивидуальной совести». ¹⁹ В 1863 г. в «Жизни Иисуса» Ренан опять возвратился к этой идее. Он утверждал, что проповедь Христа прежде всего содержала в себе «нравственное осуждение мира». ²⁰ Именно поэтому, считал Ренан, даже в средние века «невзирая на феодальную церковь, многие секты, религиозные ордена, святые люди не переставали протестовать против несправедливостей мира». ²¹ Автор «Жизни Иисуса» был убежден (и это как положительную черту его концепции отметил Энгельс, о чем речь шла выше), что в основе современных социальных учений «об идеальном строе общества» лежит нравственный идеал Христа. В то же время, с точки зрения Ренана, социальные революции

¹⁷ Лит. наследство, т. 83, с. 246.

¹⁸ Там же, с. 248.

¹⁹ Rénan E. Essais de morale et de critique. Paris, 1859, Préf., p. XII. (Цитирую в переводе Н. Страхова; см.: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе, с. 265).

²⁰ Ренан Э. Жизнь Иисуса, с. 222.

²¹ Там же, с. 225.

будут до тех пор бесплодными, пока их лозунгами будут призывы к «грубому материализму», «к невозможному, то есть к основанию всеобщего счастья путем политических и экономических мероприятий». Успех может принести только «абсолютно идеалистический принцип», который гласит: «... для того, чтобы владеть землей, надо от нее отказаться»²² — таков вывод Ренана.

Эти идеи находили живой отклик у Достоевского. Статья «Социализм и христианство», упомянутая выше, возможно, была задумана Достоевским в 1864 г. под влиянием книги Ренана и возникшей в связи с ее появлением полемики. Следует отметить также, что и в журнале братьев Достоевских «Эпоха» Ренану в 1864 г. было уделено большое внимание. Там были напечатаны две его статьи: «Высшее образование во Франции» (№ 5) и «Древние религии» (№ 7), а Н. Страхов в «Заметках летописца» регулярно информировал читателей о работах Ренана и откликался на полемические выпады против них в русской печати. Так, в июньском номере «Эпохи» за 1864 г., приведя отзыв Евгении Тур о «Жизни Иисуса» Ренана («Голос», 1864, № 171), Страхов пришел к выводу, что «если книга Ренана написана без всякой предвзятой мысли, без преднамеренной задачи — угодить известному направлению, то можно наверно сказать, что она никому не угодит. <...> всё, что пишет Ренан, все его взгляды и приемы не придутся у нас по вкусу никому, ни нашим отсталым, ни нашим передовым».²³ В качестве примера Н. Страхов указал на отношение к Ренану редакции «Заграничного вестника», которая, печатая его статью, предупредила своих читателей, что «как часто случалось с этим замечательным писателем, и в этой статье встречаются поразительно верные мысли рядом с самыми странными парадоксами».²⁴ В августовском номере «Эпохи» за тот же год, в заметке, озаглавленной «Ренан о Французской революции», Н. Страхов привел без какого бы то ни было пояснения большие отрывки из предисловия Ренана к его «Essais de morale et de critique» (1859), сказав, что предлагает вниманию читателей «мнение о Французской революции, весьма замечательное в устах француза вообще и, может быть, для многих неожиданное в устах такого человека, как Ренан».²⁵ В отрывках, напечатанных в «Эпохе», Ренан пояснял причины своего разочарования в результатах Французской революции 1789 г.

Имея в виду свою равную статью 1851 г., Ренан писал: «Тогда я питал еще относительно революции и формы общества, порожденного революцией, предрассудки, которые так распространены во Франции и которые могли быть поколеблены только

²² Там же.

²³ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. СПб., 1890, с. 420.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же, с. 478.

суровыми последовавшими уроками. Я считал революцию синонимом либерализма, и, как это последнее слово довольно хорошо представляет для меня формулу самого высшего развития человечества, то факт, который по обманчивой философии истории знаменует наступление либерализма, казался мне в некотором роде как бы священным. Я не видел еще язвы, сокрытой в социальной системе, созданной французским духом». Далее Ренан говорил, что готов был бы признать Французскую революцию, несмотря на то что в обществе господствует «деспотизм материальных интересов», а «под предлогом равенства унижают всех», если бы ему хотя бы доказали, что истинное значение этого социального переворота откроется только через двести лет и что тогда «просвещенные люди будут смотреть на 1789 год как на время, окончательно основавшее в мире политическую, религиозную и гражданскую свободу, как на эпоху, открывшую собою более высокую фазу развития человеческого духа».²⁶

Несмотря на то что ни Страхов, ни редакция журнала не выразили своего отношения к суждениям Ренана, смысл помещения этих отрывков очевиден. Они подкрепляли антибуржуазную и антикапиталистическую позицию руководителей «Эпохи». В сущности точка зрения Ренана на состояние французского общества на рубеже 1850—1860-х годов соответствовала тому, о чем писал Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1864) в разделах, посвященных Франции (см.: 5, 74—98 и 357—374).

«Философия современной истории» продолжала волновать Ренана. В предисловии к книге «Questions contemporaines» (1869) Ренан дал политический и социальный анализ Франции того времени. Это предисловие обратило на себя внимание Герцена. Автору «Писем с Avenue Marigny» (1847), «Концов и начал» (1863) — произведений, в которых отразилось разочарование Герцена в результатах Французской революции и обосновывалась мысль, что буржуазная Европа замыкает «том всемирной истории», итогом которой явилась «мещанская цивилизация»,²⁷ — была близка позиция Ренана. Герцен утверждал: «Может, самое важное и смелое в его <Ренана> книге — это отзыв о революции: „Французская революция была великим опытом, но *опытом неудавшимся*“». Сочувствуя Ренану, считая, что он уловил главное зло эпохи, изобразив «слабого, беззащитного человека, перед давящим, всемогущим государством и уцелевшей церковью», Герцен в то же время воскликнул: «Но что за жалкая терапия!». Он не мог примириться с тем, что Ренан, видевший «внутреннее равнодушие ко всему, кроме материальных выгод», в качестве панацеи от всех бед предложил «некую религию — католицизм

²⁶ Там же, с. 478, 479.

²⁷ Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XVI. М., 1959, с. 159.

без настоящего Христа и без папы, но с плотоумерщвлением».²⁸ Развитие своей родины, России, Герцен связывал в отличие от Ренана с традициями, хранящимися в русском крестьянстве.

Достоевский несомненно знал и основные положения предисловия Ренана к книге «Questions contemporaines», и полемический отклик на нее Герцена, так как об этом подробно, с привлечением длинных цитат, рассказал Н. Страхов в статье, посвященной новому сочинению Ренана «La réforme intellectuelle et morale» (1872). В этой работе Ренан касался главным образом социальных сдвигов, происшедших в современной ему Франции. Книга Ренана вызвала оживленную полемику не только в Европе, но и в России, так как в ней затрагивались проблемы, ставшие весьма актуальными для русского общества, двигавшегося по пути буржуазного прогресса. Важное место в этой полемике заняли Н. Страхов, автор указанной выше статьи (напечатана: «Гражданин». Сборник, ч. I. СПб., 1872, с. 87—138), и Н. Михайловский, возражавший Страхову в сентябрьском номере «Отечественных записок» за тот же год. Ответ Страхова на возражения Михайловского появился на страницах «Гражданина» (1873, 30 апреля, № 18), редактировавшегося в то время Достоевским.

Наиболее существенным, определяющим систему мировоззрений спорящих, было то, как каждый из участников полемики ответил на поставленный Ренаном вопрос: может ли общество нормально развиваться, руководствуясь идеей «всеобщего материального благосостояния»? Ренан, а вместе с ним и Страхов ответили на этот вопрос отрицательно. Страхов писал: «Любовь к ближнему заповедана нам вовсе не как средство к общему материальному благосостоянию, а как чувство, которое должен питать в себе человек для блага своей души, для такого блага, которое стоит выше всего временного, всякого имущества и наслаждения».²⁹ Михайловский, наоборот, доказывал, что «все, желающие равномерного распределения материального благосостояния, желают и равномерного распределения духовных благ и наслаждений».³⁰

Достоевский, очевидно, следил за ходом полемики с момента ее возникновения осенью 1872 г., но непосредственный отклик на нее содержится в записной тетради с материалами к «Подростку» и относится ко времени работы над так называемой повестью Версилова. Достоевский там сделал следующую запись: «Ренан славянофил. Крестьяне смотрят на пышную свадьбу своего господина и радуются, Михайловский и Толстой негодуют на мужиков на том основании, что пышность свадьбы их господина несколько не увеличивает их благосостояния. И Толстой и Михайловский даже считают священным долгом своим образумить

²⁸ Там же, т. XI. М., 1957, с. 506—507.

²⁹ Гражданин, 1873, 30 апреля, № 18, с. 547.

³⁰ Михайловский Н. К. Собр. соч., т. I. СПб., 1896, с. 731.

скорее мужика и разъяснить ему, что он глуп, если счастлив счастьем своего господина, что счастье господина не увеличивает его благосостояния. Таким образом, и Толстой и Михайловский забывают, что крестьянин этот ведь все-таки счастлив же. И вразумляя его, отнимают у него счастье. Почему? Враги они, что ли, его? Нет, а потому, что задались ложною мыслию, что счастье заключается в материальном благосостоянии, а не в обилии добрых чувств, присущих человеку» (16, 169).

Эта запись — полемический отклик на статью Михайловского «Десница и шуйца Льва Толстого», напечатанную в майском номере «Отечественных записок» за 1875 г. (ср.: 17, 285). В этой статье Михайловский вернулся к полемике 1872 г. со Страховым для того, чтобы подкрепить свою позицию, сославшись на авторитет Толстого. Имея в виду Страхова, Михайловский там писал: «Этот, часто очень тонкий и меткий писатель, назвал Ренана французским славянофилом. А Ренан смотрит на вещи так: <...> „В настоящем состоянии общества преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствием или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было. Когда Губбио или Ассиз глядел на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовал. Тогда все участвовали в жизни всех, бедный наслаждался богатством богатого, монах радостями мирянина, мирянин молитвами монаха, для всех существовало искусство, поэзия, религия“. Г. Страхов прав: это — истинно славянофильские воззрения. Но это не суть воззрения гр. Толстого. <...> Любопытно, что г. Страхов вполне согласен с Ренаном. Он тоже верит, что толки об „общем благосостоянии“ порождены постоянной завистью, сменившею восторг крестьянина старого порядка. <...> Но, говорит г. Страхов, Россия гарантирована от толков об „общем благосостоянии“ и от духа зависти, гарантирована глубокими началами русского народного духа, которому противен „житейский материализм“. Увы! На эти гарантии положил руку не кто иной, как — *horribile dictu!* — Лев Толстой. Он <...> меряет западную цивилизацию не началами русского духа и не какими-нибудь возвышенными мерками смиренномудрия и терпения, а „общим благосостоянием“. Он только потому отрицает эту цивилизацию, что она не ведет к общему благосостоянию».³¹

Таким образом, Достоевский, откликнувшись в период работы над «Подростком» на полемiku по поводу «житейского материализма», подтвердил свое прежнее убеждение, что счастье заключается не в «материальном благосостоянии», а в обилии добрых чувств, развитых в своей натуре человеком.

Подготовительные материалы к «Подростку», и в особенности черновые рукописи романа, дают основания утверждать, что До-

³¹ Там же, т. III, с. 457—458.

стоевский обратил внимание и на другие аспекты книги Ренана «La réforme intellectuelle et morale». Размышляя о русском дворянстве в его прошлом и настоящем, Достоевский несомненно сопоставил исторический опыт развития русского и французского общества, опираясь во втором случае на суждения по этому поводу Ренана. Так, в одной из глав книги, озаглавленной «О конституционной монархии во Франции», цитаты из которой привел Н. Страхов в указанной выше статье, Ренан писал: «Сохрани нас, боже, мечтать о воскрешении того, что умерло; но, не стремясь восстановления дворянства, позволительно думать, что важность, придаваемая рождению, во многих отношениях лучше, чем важность, придаваемая имуществу; одна не больше справедлива, чем другая, и единственное справедливое отличие, то есть отличие заслуги и добродетели, лучше соблюдается в обществе, где классы основаны на рождении, чем в том, где одно богатство есть основание неравенства».³² Аналогичная мысль была высказана и Достоевским в записной тетради 1872—1875 гг. в связи с книгой Р. А. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем. Чем нам быть?» (СПб., 1874). Автор указанной книги утверждал, что принадлежность к дворянству в условиях России того времени может определяться имущественным цензом.³³ Полемизируя с ним, Достоевский писал, что если согласиться в этом случае с Фадеевым, тогда «наплывут и сядут на место них <дворян> толстопузые купцы, которые скупают мелкие имения. Тогда именно прекратится образование. Всякий купец скажет: 1000 лет дворянского духа оказалось, стало быть, пшиком. Пришли да поклонились капиталу-то».³⁴

Однако если Ренан в конце концов склонялся к мысли о неизбежности социальных перегородок,³⁵ то Достоевский, напротив, искал путь к их преодолению. Так, в противовес предложению определять принадлежность к дворянству по имущественному цензу Достоевский «в виде юмористической поправки идей Фадеева насчет купцов» выдвинул «фантастическую идею *Ордена чести* вместо дворянства».³⁶ Эту «фантастическую идею» развивает в «Подростке» Версиров. Он говорит: «Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием,

³² Цит. по переводу в кн.: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе, с. 274—275.

³³ Об этом см.: Семенов Е. И. У истоков «Подростка». — Русская литература, 1973, № 3, с. 107—116. См.: 17, 333 и др.

³⁴ Лит. наследство, т. 83, с. 315.

³⁵ Ср. у Ренана: «Трудолюбивые поколения людей народа и крестьян создают существование честного и экономного буржуа, который в свою очередь создает дворянина, человека, освобожденного от вещественного труда, всецело преданного предметам бескорыстным. Каждый в своем классе есть хранитель предания, нужного для успехов цивилизации» (цит. по переводу в кн.: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе, с. 276).

³⁶ Лит. наследство, т. 83, с. 367

в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их отворить окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты» (13, 177—178). Выслушав Версилова, князь Сережа сказал ему: «Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство» (там же).

В черновых вариантах исповеди Версилова мысль о внесоциальном критерии принадлежности к русскому дворянству разрабатывалась Достоевским еще более детально. Так, в качестве примера того, как выходцы из демократических слоев общества и даже из крепостного крестьянства и в прошлые эпохи «с успехом примыкали впоследствии к высшему культурному слою» и, что особенно важно, «сливались с ним в одно целое» (13, 453), Достоевский приводил Т. Г. Шевченко. Среди разрозненных набросков к исповеди Версилова имеется следующая запись: «не с неба же свалились отцы Шевченки. У них нет преданий. До сих пор они прирастали» (17, 155).

В связи с происшедшими в русском обществе классовыми сдвигами и разрывом сословно-кастовых связей Достоевского волновала затронутая и Ренаном проблема «зависти» разночинцев к дворянскому «красивому типу».

Ренан считал, что в дореволюционном французском обществе представители демократических сословий не испытывали чувства «зависти» к дворянству. Тогда «никто не завидовал», и «бедный наслаждался богатством богатых», утверждал он. В отличие от Ренана и от Стрехова, который доказывал, что русскому народу не свойственна «зависть», ибо ему чужд «житейский материализм», Достоевский в «Подростке» уделил большое внимание исследованию чувства «зависти» как русского социального явления.

В тексте романа Версилов говорит о детях, оскорбленных «неблагообразием отцов своих и среды своей», которые «слишком рано завидуют» и питают «почти мстительную жажду благообразия» (13, 373). Из вариантов к исповеди Версилова ясно, что Достоевский пытался найти истоки «зависти» к «красивому типу» в истории русского дворянства, судьбу которого он прослеживал по романам Л. Н. Толстого. Имея в виду «Войну и мир» и «Анну Каренину», Достоевский подчеркивал, что Толстой — этот «историограф нашего дворянства» — выставлял своих героев «со всею откровенностью: они лично часто даже смешны и забавны, нередко ничтожны, но как целое, как сословие, они бесспорно изображают собою нечто законченное». Достоевский не стремился дать оценку того «незыблемого и неоспоримого», что было «нажито в два столетия» и что лежало в «основах этого высшего

слоя русских людей». Он указал только на внешние формы существования этого сословия, вызывавшего зависть у представителей разночинской среды. Достоевский писал: «... как бы там ни было, хорошо всё это или дурно само по себе, но тут уже выжитая и определившаяся форма, тут накопились правила, тут своего рода честь и долг» (17, 143). Подводя итог размышлений над судьбами русского дворянства прошедшего времени и пореформенной эпохи, Достоевский пришел к категорическому заключению, сформулированному в одном из отброшенных вариантов письма Николая Семеновича. Имея в виду то обстоятельство, что даже лучшие из дворян, типа Левина, «сошли с поля, то есть потерпели поражение», автор «Подростка» сказал: «Горевать ли на то, и возможна ли симпатия к тому, что само было и ложно, и искусственно» (17, 212, 334).

Таким образом, у Ренана (названного и Страховым и Достоевским славянофилом) критика буржуазных отношений в современной ему Франции сопровождалась элегическими воспоминаниями об утраченной якобы социальной гармонии прошлого.

Достоевский, наоборот, отрицал возможность возврата к старым дореформенным отношениям между дворянами и крестьянами.

Критическое отношение Достоевского в равной степени и к феодально-дворянским, и к буржуазным формам социального быта нашло отражение и в «Подростке». Аркадий Долгорукий, преодолев чувство «зависти» к «красивому» дворянскому типу, одновременно отрекся и от идеи стать Ротшильдом, в результате чего поднялся, с точки зрения автора, на более высокую ступень нравственного развития и приблизился к «знанию добра и зла» (17, 312).

Скорбя об утраченном идеале, Ренан в то же время вынужден был признать, что «королевская власть, дворянство, духовенство, парламенты, города, университеты старой Франции — все не исполнили своих обязанностей и что революционеры 1793 года только закончили тот длинный ряд вин».³⁷

Мысль об «исторической неминувости» революционных потрясений во Франции неоднократно высказывалась и Достоевским в «Подростке», записных тетрадах и пр.³⁸

Вскоре после завершения «Подростка», в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г., Достоевский подвел некоторые итоги идейной борьбы последних лет и определил свою позицию в этой борьбе.

«Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, — писал Достоевский в главе «Голословные утверждения», —

³⁷ Цит. по переводу в кн.: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе, с. 281.

³⁸ Об этом см.: Кийко Е. И. Достоевский и Гюго. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 3. Л., 1978, с. 166—172.

а высшая идея на земле *лишь одна* и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные „высшие“ идеи жизни, которыми может быть жив человек, *лишь из нее одной вытекают*» (XI, 487).

«Высшая идея», как она была сформулирована в «Дневнике писателя», стала главной и определяющей нравственные и общественные поиски героев и в последнем романе Достоевского — «Братья Карамазовы». Черновые материалы к роману сохранили следы размышлений писателя над различными аспектами этой идеи. Так, например, по первоначальному плану главной темой дискуссии в келье Зосимы, являющейся идеологическим зачином «Братьев Карамазовых», должна была быть проблема соотношения природного и нравственного начал человеческой личности. Достоевский считал нравственное чувство противоположным по своей сущности природным инстинктам: оно воспитывается в человеке христианскими идеалами и верой в бессмертие души (об этом см.: 15, 417). Среди набросков к этой же книге романа есть записи о «перемещении любви» и о «воскресении предков» (там же, 419).

Упомянутые выше записи были сделаны осенью 1878 г. и несомненно находились в связи с раздумьями Достоевского о «философии общего дела», основные положения которой изложил в письме к нему Н. П. Петерсон, ученик и последователь Н. Ф. Федорова.³⁹ Отвечая Н. П. Петерсону и подчеркивая, что в теории философа, как ее изложил автор письма, самое существенное «есть — долг воскресенья прежде живших предков» (П., IV, 9), Достоевский спрашивал: «Как понимаете Вы это воскресение предков, и в какой форме представляете его себе и веруете ему?» (там же).

С точки зрения Достоевского, могло быть два ответа на этот вопрос. Так, он и Вл. Соловьев верят «в воскресение реальное, личное, и в то, что оно сбудется на земле», как на то «намекает религия». Но возможно понимать воскресение предков «как-ни-

³⁹ Николай Федорович Федоров (1828—1903) — русский философ-утопист, с 1854 по 1868 год был учителем истории и географии в разных уездных училищах, в 1874—1898 годах — библиотекарь Румянцевского музея. Считая грехом всякую собственность, в том числе на идеи и на собственные сочинения, Федоров при жизни ничего не опубликовал. Впоследствии В. А. Кожевников и Н. П. Петерсон, ученики философа, издали его избранные отрывки и статьи под общим названием «Философия общего дела» (т. 1, Верный, 1906; т. 2, М., 1913). Центральная идея теории Федорова — преодоление смерти. Нужно жить, учил он, не для себя (эгоизм) и не только для других (альтруизм), но со всеми и для всех, объединившись в союз живущих (сыновей) для воскрешения умерших (отцов) (см.: Философия общего дела, т. 2, с. 8). Для этой цели, считал Федоров, нужно создать «трудовые артели, которые изучали бы научно-технические приемы <...> управления всеми молекулами и атомами внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т. е. сложить в тела отцов...» (там же, т. 1, с. 442). Об отношении Достоевского к Федорову см.: 15, 470—471.

будь мысленно, аллегорически, — писал далее Достоевский, — например, как Ренан, понимающий его прояснившимся человеческим сознанием в конце жизни человеческой до той степени, что совершенно будет ясно уму тех будущих людей сколько такой-то, например, предок повлиял, как и проч., и до такой степени, что роль всякого прежде жившего человека выяснится совершенно ясно, дела его угадуются (наукой, силою аналогии) — и до такой всё это степени, что мы, разумеется, сознаем и то, насколько все эти преждебывшие, влияв на нас, тем самым и перевоплотились каждый в нас, а стало быть, и в тех окончательных людей, всё узнавших и гармонических, которыми закончится человечество» (там же).

Столь детальное изложение воззрений Ренана, обнаруживающее хорошее знание работ французского писателя, выходявших в течение 1863—1876 гг., можно, очевидно, объяснить тем, что основная идея этой концепции поразила Достоевского, соприкоснулась с его собственными раздумьями по этому же поводу. Так, еще в 1863 г., потрясенный смертью первой жены, Марии Дмитриевны, Достоевский сделал запись: «16 апреля. Маша лежит на столе. Увижу ли с Машей?». ⁴⁰ Пытаясь философски осмыслить «будущую жизнь для всякого Я», Достоевский писал: «Говорят, человек разрушается и умирает *весь*. Мы уже потому знаем, что не весь, что человек, как физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память свою людям (NB, *пожелание вечной памяти* на панихидах знаменательно), то есть входит частью своей прежней, жившей на земле личности, в будущее развитие человечества. Мы наглядно видим, что память великих развивателей человека живет между людьми (равно как и злодеев развитие), и даже для человека величайшее счастье походить на них. Значит, часть этих натур входит и плоть и одушевленно в других людей. Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в Я Христа, или в свой идеал <...> Как воскреснет тогда каждое Я в общем Синтезе <...> как это будет, в какой форме, в какой природе, — человеку трудно и представить себе окончательно». ⁴¹ Последняя фраза приведенной заметки знаменательна: она свидетельствует, что, хороня Машу, Достоевский еще не был уверен в том, что умерших ждет воскресение «реальное, буквальное, личное», и в том, что «оно сбудется на земле», как он написал в письме 1878 г. к Н. П. Петерсону. Представление писателя о бессмертии в апреле 1863 г. основывалось на идее физической и духовной преемственности поколений и вере в поступательное движение человечества к «общему Синтезу». Эти же идеи были основополагающими и в теории Ренана, как ее изложил впоследствии в письме к Петерсону сам Достоевский. Тем не менее в своих

⁴⁰ Лит. наследство, т. 83, с. 173.

⁴¹ Там же, с. 174.

ранних суждениях Достоевский, очевидно, не зависел от Ренана. Впервые о возможных формах «бессмертия индивида» Ренан высказался в книге «Жизнь Иисуса», с которой в апреле 1863 г. Достоевский не мог быть знаком. В этой книге говорится: «Те, кто <...> находят, что догмат деизма о бессмертии души противоречит физиологии, любят убаюкивать себя надеждой на конечное возмещение, которое так или иначе, в неизвестной форме, удовлетворит потребности человеческого сердца. Как знать, не принесет ли нам последняя степень прогресса спустя миллионы веков абсолютного познания вселенной и не произойдет ли в этом познании возрождение всего пережитого?»⁴²

Этот же вопрос Ренан поставил и перед знаменитым французским химиком и общественным деятелем Марсаленом Бертло (1827—1907), обратившись к нему в августе 1863 г. с пространственным письмом.⁴³ Размышляя о вечности и бесконечности вселенной, Ренан там писал: «Так как категория времени и пространства не существует в абсолютном, то для абсолютного сущим является и то, что было, и то, что будет. <...> Дух станет всемогущим, идея будет всей действительностью — что значит это, как не то, что всё оживет в идее?». Далее Ренан выражал уверенность, что «конечное воскресение произойдет посредством знания человека или какого-нибудь разумного существа».⁴⁴

Н. Ф. Федоров считал, что Ренан, пропагандировавший в начале своей деятельности идею «преодоления смерти», отказался от нее под влиянием ответного письма Бертло. «Бездушный химик, — писал Федоров в заметке „О Ренане“, — не мог возвыситься до этой мысли, и Ренан согласился с ним».⁴⁵

В 1876 г. в «Философских диалогах и фрагментах» («Dialogues et fragments filosofiques». Paris, 1876) Ренан вновь вернулся к мысли о возможности воскрешения мертвых. Так, в диалоге третьем, «Мечты», содержатся следующие рассуждения: «Филалет: Мне говорили, что вы умеете каким-то способом представить мыслимым бессмертие индивида.

Феоктист: Скажите лучше „воскресение мертвых“ <...> К концу последовательных видоизменений, если мир когда-либо сведется к безусловному единому бытию, это бытие будет совершенною жизнью каждого; оно возродит в себе жизнь исчезнувших людей, или, если хотите, в его лоне вновь оживут все жившие <...>

Евдоксий: Но ваше бессмертие лишь кажущееся. Оно не простирается за пределы вечности плодов творчества, оно не включает в себя личного бессмертия <...>

⁴² Ренан Э. Жизнь Иисуса, с. 225.

⁴³ Revue de deux mondes, 1863, t. 47, p. 761—774.

⁴⁴ Там же, с. 774.

⁴⁵ Федоров Н. Ф. Философия общего дела, т. 2, с. 32. По мнению Г. М. Фридлендера, идея «физического восприятия предков», лежащая в основе «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова, восходит к Ренану (см.: 15, 471).

Феоктист: Каждый живет там, где ощущается его деятельность <...>.⁴⁶

Если сопоставить приведенные отрывки из «Философских фрагментов и диалогов» с письмом Достоевского к Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 г., то станет ясно, что писатель пересказал именно эти суждения Ренана, хотя и приблизил их к собственному толкованию этих же вопросов в записи 1863 г. от 16 апреля.

«Философские фрагменты и диалоги» Ренана, как и другие сочинения этого автора, были известны в России. Так, в 1878 г. Михайловский посвятил этой книге статью «Утопия Ренана и теория автономии личности Дюринга», напечатанную в августе и сентябре в «Отечественных записках».

Таким образом, к перечисленным выше работам Ренана: «Essais de morale et de critique» (1859), «Жизнь Иисуса» (1863), «Questions contemporaines» (1869), «La réforme intellectuelle et morale» (1872), которые Достоевский читал сам или был знаком с ними по статьям Н. Страхова, следует добавить еще и «Философские фрагменты и диалоги» (1876).

Устойчивый интерес Достоевского к Ренану определялся, вероятно, несколькими причинами.

Ренан был одним из самых популярных авторов 1860—1870-х гг., ибо в своих сочинениях, написанных живым, образным языком, касался животрепещущих общественных и политических проблем европейской действительности. Книги Ренана, для которых характерны нарочито парадоксальные повороты мысли, неизменно вызвали полемику, в которую втягивался и Достоевский. Некоторые аспекты мировосприятия Ренана были близки Достоевскому (отношение к личности Христа, антибуржуазная позиция, вера в торжество нравственного принципа в историческом прогрессе), но чаще автор «Иисуса Христа» касался тех же болезненных вопросов, над разрешением которых бился и русский писатель («бессмертие индивида», соотношение цивилизации и веры, социальная структура общества). Анализируя аргументы Ренана, споря с ним или соглашаясь, Достоевский искал путь преодоления общественного зла исходя из особенностей русской жизни и из веры в силу нравственного идеала народа.

⁴⁶ Цит. по: Ренан Э. Философские диалоги. Жрец Немийский. Одесса, 1919, с. 76—79.

Т. Г. МОРОЗОВА

РАССКАЗ В. Г. КОРОЛЕНКО «АТ-ДАВАН»
И ТРАДИЦИИ ДОСТОЕВСКОГО¹

1

«Ат-Даван» — единственное произведение В. Г. Короленко, главным героем которого является мелкий чиновник.²

Превосходный знаток русской классической литературы, Короленко отлично понимал, что обращается к теме, приобретшей в свое время особую значительность. Опираясь на типический образ мелкого чиновника, каким он сложился в русской передовой литературе прошлого, Короленко задумал дать решение старой темы в свете требований новой эпохи. В наибольшей степени его замыслам отвечал художественный опыт Достоевского. Из множества мотивов, которые вели Короленко к автору «Бедных людей», главным была та острота, с какой в творчестве Достоевского ставилась проблема бунта и смирения — стержневая для рассказа «Ат-Даван». Между маленьким рассказом Короленко и существенными чертами творчества великого романиста несомненно глубокая внутренняя связь. И не случайно в нашем литературоведении уже были попытки сблизить «Ат-Даван» с творчеством Достоевского, правда в самой общей форме. Так, Н. К. Пиксанов писал об этом рассказе: «Быт и психология разночинцев-чиновников зарисованы здесь скупой, но необычайно рельефно, в манере Достоевского».³

Сходного мнения придерживался и Андрей Платонов. «Образ Кругликова, — утверждал он, — почти до самого конца рассказа трактуется примерно так же, как бы его трактовал Достоевский».⁴

Мы ставим перед собой задачу в конкретном анализе характера героя, построения конфликта, сюжета, композиции, системы

¹ Статья печатается в сокращении.

² Рассказ впервые опубликован: Русское богатство, 1892, № 10, с. 1—38.

³ См.: Короленко В. Г. 1) Избранные произведения. М.—Л., 1926, с. 48; 2) Избранные соч. Изд. 2-е. Л., 1935, с. 679.

⁴ Детская литература, 1940, № 11—12, с. 91 (подпись: Ф. Человеков).

персонажей, идейной направленности произведения выяснить, в каком соотношении с литературной традицией, главным образом с творчеством Достоевского, стоит рассказ Короленко о мелком чиновнике — «Ат-Даван».

2

Этико-философской предпосылкой близости творчества Короленко и Достоевского была гуманистическая идея — принципиальное утверждение великой ценности человеческой личности. Выдвинутая передовой мыслью эпохи, эта идея порождала и общее для обоих писателей сочувственное внимание к униженным и обездоленным, которое делало Короленко уже в глазах его современников преемником Достоевского.⁵ Из этой идеи возникала и определенная концепция человеческой личности — личности маленького человека в частности, отражающая веру в человека, в его потенциальные возможности.

Определяющей чертой психики «маленького человека», как она разработана в творчестве Достоевского, Короленко считал двойственность. Короленко четко улавливал несколько основных характеров, построенных Достоевским на сочетании контрастных черт, каждый из которых по-своему воплощает гуманистическую концепцию личности. В основе одного из них лежит контраст между внешней незначительностью и возвышенным, прекрасным, таящимся в душе человека. На этом контрастном сочетании у Достоевского построены образы персонажей «Бедных людей» — Девушкина и старика Покровского.

Контрастное сочетание внешней заурядности и внутренних потенций человека — чрезвычайно важная сторона и в структуре характера героя «Ат-Давана».

Основным выражением высокого, «человеческого» у героя первого романа Достоевского была его самоотверженная и поистине великая любовь. Эта форма проявления внутренней значительности занимает важнейшее место и в рассказе Короленко. Одним словом, в разработке личности героя «Ат-Давана» сохранена основная идея, характеризующая мелкого чиновника в изображении Достоевского, подчеркнутая известным замечанием Белинского: «...он, в лице Макара Алексеевича, показал нам, как много прекрасного, благородного и святого лежит в самой ограниченной человеческой натуре».⁶

Второе контрастное сочетание в психике мелкого чиновника — сочетание робкой приниженности, самоуничтожения, с одной стороны, и жажды самоутверждения, протестующих начал его

⁵ См.: Русское дело, 1888, № 2, 10 января (статья А. Александрова); Северный вестник, 1889, № 5 (статья Д. Мережковского).

⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1955, с. 554.

души — с другой. С наибольшей силой это сочетание запечатлено Достоевским в повести «Двойник».

О том, как глубоко понял Короленко двойственность души мелкого чиновника, гениально вскрытую в «Двойнике», свидетельствует статья «Современная самозванщина»,⁷ ряд страниц которой посвящен Голядкину. С большим проникновением в сущность трагедии «злополучного титулярного советника» Короленко пишет о «жгучей боли личности, затоптанной, униженной и оскорбленной» и о бесплодных потугах «маленького человека» доказать, «что и в нем такая же человеческая личность», «как у всех».⁸

Психологию «двойничества», запечатленную в повести Достоевского, Короленко считал глубоко типической для русской действительности не только минувшего, но и своего времени. «В рассказе Достоевского, — пишет он, — яд, отравляющий многие русские души, дан в ужасающе-концентрированном виде <...> Рефлектирующий и совершенно слабый Голядкин изнывает уже прямо в болезни раздвоения личности <...> Но, — заключает писатель, — яд, отравляющий Голядкиных и Поприциных, разлит в нашей атмосфере, им отравлены и мы с вами, читатель, и наши с вами добрые знакомые».⁹

Психология «двойничества» — важнейшая линия в раскрытии личности мелкого чиновника и в рассказе «Ат-Даван». Она проведена через все произведение и является решающей в центральных его эпизодах. Этой стороной рассказ Короленко ближе соприкасается именно с повестью «Двойник», хотя и в первом романе Достоевского имеют место колебания героя между самоуничижением и самоутверждением.

Герою Достоевского присуща особая форма самоутверждения — соотнесение себя с другими. Короленко подметил эту своеобразную черту чиновников Достоевского. Так, о Голядкине мы читаем: «... он ощущает мучительно и глубоко отсутствие собственной личности. Он, правда, пытается обмануть себя, что он — *как и все*, что он у себя, что развлечения у него, *как у всех*... что он, сколько ему кажется, *не хуже других*...».¹⁰

Хотя герой Короленко Кругликов в отличие от Голядкина человек психически здоровый, но и ему присвоена та же форма самоутверждения: «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я *хуже других* — *прочих женихов*...».¹¹

Третье сочетание противоречивых свойств в личности мелкого чиновника запечатлено Достоевским в повести «Слабое сердце»: печное и серьезное чувство и отсутствие сил отстоять свое сча-

⁷ Русское богатство, 1896, № 8, отд. II, с. 149—154.

⁸ Короленко В. Г. Полн. собр. соч., т. 3. СПб., 1914, с. 333, 358, 359.

⁹ Там же, с. 362, 363.

¹⁰ Там же, с. 359. — Курсив мой, — Т. М.

¹¹ Короленко В. Г. Собр. соч., т. 1. М., 1953, с. 298. — Курсив мой, — Т. М. Далее ссылки на текст рассказа даются по этому изданию.

стве.¹² И несмотря на то что и Девушкин, и Голядкин тоже «слабые сердцем», наиболее близок герою Короленко Васе Кругликову герой «Слабого сердца» Вася Шумков. Их сближает не только имя и возраст, но и противоречие, лежащее в основе характера.

В образе героя Короленко слиты все три линии, но акцент сделан на волевых, активных сторонах личности. Характер мелкого чиновника приобретает новый аспект: *недостаточно наличия возвышенных эмоций и благородных стремлений; надо быть способным защитить свои чувства, свою личность, утвердить свое человеческое и гражданское достоинство — проявить активные стороны характера.* Такой аспект характера мелкого чиновника знаменовал новую ступень в разработке старой темы.

3

Выбранный Короленко аспект личности героя требовал соответствующей остроты конфликта и построения такого сюжета, который не закрывал бы перед героем возможности действовать.

Так же как это делал Достоевский, Короленко ставит своего героя в острую конфликтную ситуацию — в совершенно явных целях испытания. Но «испытывает» он не «идею и человека идеи», как Достоевский, а *характер* «маленького человека», его способность к противоборству. Другими словами, конфликт в «Ат-Даване» развернут так, что исход его должен решиться не только силою вещей, но и позицией, которую займет в создавшихся обстоятельствах герой.

Поэтому если Пушкина и Гоголя интересует по преимуществу жизненное *положение* «маленького человека», его горькая судьба в обществе, основанном на социальном неравенстве, если новое у Достоевского заключалось в глубоком раскрытии психологии «маленького человека», его *сознания*, то в центре внимания Короленко стоит *поведение* героя, его способность противостоять давлению внешних обстоятельств общего или частного порядка.

Разумеется, все три стороны в произведениях названных выше авторов органически взаимосвязаны. Суть в преобладающем идейно-художественном интересе автора.

При явной социальной окраске произведения в целом основной конфликт в «Ат-Даване» возникает не на почве социального неравенства. Герой рассказа — не «бедный чиновник». Конфликт в «Ат-Даване» сосредоточен главным образом в сфере официаль-

¹² Еще об одном сочетании противоречивых свойств души человека в мире Достоевского — о сочетании зла и «изгибов доброты» — Короленко писал в дневнике 24 октября 1888 г. (см.: Короленко В. Г. Дневник, т. 1. Полтава, 1925, с. 177—178 (Полн. собр. соч. Посмертное изд.)).

ных служебных соотношений: соотношений чина и служебного положения.

Развернут этот конфликт в двух разных, но связанных друг с другом сюжетах, из которых один обрамляет другой. Первый дан в рассказе героя о пережитой в молодости личной драме, однако сопряженной со служебным подчинением. Начальник Кругликова, статский советник Латкин, решил под угрозой служебного воздействия заставить его отказаться от любимой девушки. Это — предыстория героя и предпосылка второго сюжета. Условимся называть этот сюжет первым эпизодом. Его действие протекало, очевидно, в 50-х гг. В период этой истории Кругликов — младший современник героев Гоголя и первых романов Достоевского.

Второй сюжет (условимся называть его вторым эпизодом), развертывающийся много лет спустя после первого, очевидно в 80-х гг., на станке Ат-Даван, куда Кругликов попал в качестве стационарного писаря, является по своей значительности главным. Кругликов должен теперь проявить себя не в защите своих личных прав, а в полном смысле слова в области служебных отношений. Содержание этого эпизода составляет столкновение с грозным «адъютантом его превосходительства» — Арабиным, который вел себя на станциях «как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался, как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и... забывал всюду платить курьерские прогоны» (286).

Впервые в русской литературе «маленький человек» выступает на арене служебной деятельности в таком столкновении, в котором должно проявиться его гражданское мужество.

Своеобразие конфликта в рассказе Короленко состоит также в том, что мелкий чиновник сталкивается не просто со «значительными лицами», но с проявлением *начальственного произвола, нарушениями законности, превышениями прав своего положения.*

Латкин и Арабин у Короленко — воплощение того режима произвола и насилий, которыми характеризовался самодержавно-бюрократический строй России. И не случайно один из персонажей рассказа, неодобрительно оценивший поведение Кругликова в его конфликте с начальством, восклицает: «Дело политическое!» (291).

Белинский провозгласил первое произведение Достоевского «попыткой у нас *социального* романа».¹³ При всей общественной содержательности рассказа Короленко построение его конфликта существенно отличает его от произведений предшественников, разрабатывавших тему мелкого чиновника. Помимо своеобразной «двухактности» конфликта, критическая сторона произведения действительно имеет не социальную, но главным образом *политическую направленность.*

¹³ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 282. — Курсив мой, — Т. М.

Развитие основного конфликта в «Ат-Даване» — между человеком и внешним миром — пробуждает *внутренний конфликт* — борьбу двух начал в личности маленького человека: смиренной покорности и стремлений к противоборству. Какое начало возьмет верх — покорится ли герой обстоятельствам или вступит с ними в борьбу — это в значительной мере определит разрешение основного конфликта.

В первоначальных вариантах «Ат-Давана», где замысел автора проступает обнаженной, вопрос, какое начало победит, намечен с величайшей прямолинейностью. Так, в «Наброске драмы» — самом раннем варианте «Ат-Давана» — студент-естественник называет героя Молчалиным.¹⁴ «Обознались, Кусакин», — возражает молодая девушка. «Не обознался», — заявляет студент. Настоящая фамилия героя наполнена противоположным значением. Не подсказана ли она словами Гоголя о Башмачкине: «... он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут *кусаться*».¹⁵ В ходе действия и должен решиться спор: кто же герой — Молчалин или Кусакин?

В окончательном тексте «Ат-Давана» также содержится ряд моментов, служащих проверке характера героя.

Самым ярким из них является мотив литературного чтения. И он настойчиво ведет нас в мир Достоевского, в романах которого большую идейно-композиционную роль играет чтение его героями тех или иных литературных произведений прошлого. Наибольший интерес в данном случае представляет для нас «литературный эпизод» в «Двойнике». Именно его построение, как нам кажется, своеобразно использовано в рассказе «Ат-Даван».

Тот трагический момент в истории Голядкина, когда герой дрожит под проливным дождем во дворе Берендеева в ожидании «знака» от Клары Олсуфьевны, изображен под своеобразный аккомпанемент мотивов сентиментально-романтической любовной поэзии на тему о тайном похищении. Тут и шелковая лестница, и испанские серенады, и розовая ленточка на окне, и хижина на берегу моря. Создается как бы два плана происходящего: один — фантастический, повторяющий литературную романтическую ситуацию и существующий в полубредовом сознании Голядкина, но приписываемый им Кларе Олсуфьевне; другой — реальный с печальным для героя финалом — отправкой его в больницу. Этим мысленным диалогом, который Голядкин, сидя за дровами,

¹⁴ По свидетельству Вл. Ив. Немировича-Данченко, «у молодежи шестидесятых и семидесятых годов Молчалин был самой бранной кличкой» (Грибоедов в русской критике. М., 1954, с. 293).

¹⁵ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. III. Л., 1938, с. 142. — Курсив мой, — Т. М.

ведет с Кларой Олсуфьевной («... в хижине, сударыня вы моя, в наш век никто не живет...», «... розовая ленточка... ночью при Санкт-Петербургском климате... в дело идти не могла...» и т. д.), намечен резкий разрыв между литературными образами, всплывающими в сознании Голядкина, и реальностью жизненной прозы. Возникает своеобразное впечатление, новыми средствами выражающее двойственность сознания Голядкина и горько-проничательно вскрывающее подлинны законы современной жестокой и пошлой действительности.

Для своих героев Короленко, так же как и в «Двойнике», выбрал произведения романтически окрашенные, далекие от современной жизни. «... Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венециян, — чувствительные истории!» — вспоминает Кругликов.

Чтение авантюрно-рыцарских романов лубочного характера, несмотря на их примитивность, создает героям особый мирок, с высокими нормами любви, верности, рыцарского бесстрашия. Оно позволяет построить противопоставление, аналогичное намеченному автором «Двойника»: сказочно-героический мир книги и прозаичность современной реальной жизни. Погруженность в романы создает и «двойное» восприятие фактов обыденной жизни. При этом романтически-героическое, книжное преображение окружающего, как и в «Двойнике», поручено героине, а «перебивающее» его трезвое, снижающее, соответствующее действительности, принадлежит герою.

«— Видишь, — говорит Раиса Павловна во время одной из прогулок по Кронштадту, — вон у маяка парусок бежит?»

— Вижу, бриг из-за границы идет.

— А что, говорит, может, на этом корабле пират едет: кинется, вдруг, город спалит, тебе копьём грудь пронзит, меня в плен...

— Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там аглицкой, с хлопком. Мало ли их, эгличей этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок не долго...

— Да, — говорит и Рая, — наша жизнь есть совсем другая... (295—296).

Рассказывая жениху о прочитанном, Раиса Павловна прямо сопоставляет их отношения с книгой: «Вот, Васенька... какие на свете бывали любовники... Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить? Вдруг бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?»

Ну, я, конечно, со своей стороны:

— Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, не к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают...» (295. Курсив мой, — Т. М.)

Но когда на горизонте появился генерал, Раиса Павловна напоминает Кругликову: «Вот оно по-моему и вышло; свирепый-то сераскир — ведь это, говорит, сам Латкин и есть» (299).

Но если у Достоевского сходная параллель раскрывает безнадежный разрыв между романтической поэзией и прозой жизни и весь мысленный диалог Голядкина звучит саркастической иронией, то в рассказе Короленко соотнесение двух миров — книжного и реального — ставит вопрос о возможности и формах героического в современной жизни, усиливает испытание «маленького человека» на стойкость и героизм. Перейдут ли в действие рыцарские чувства — и покажет дальнейшее развитие сюжета.

«Суровый поэт униженных и оскорбленных», как назвал Достоевского Короленко в статье «Современная самозванщина»,¹⁶ попираание личности человека чаще всего разрабатывает в форме *унижения человека*, надругательства над его человеческим достоинством. Трудно назвать произведение Достоевского, в котором мотив унижения не звучал бы как один из важнейших. В этом смысле название романа «Униженные и оскорбленные» символично по отношению ко всему его творчеству.

Короленко часто изображал обездоленных. Но мотив издевательства над личностью человека встречается у него крайне редко. В рассказе же «Ат-Даван» мотив унижения человеческого достоинства входит в самое ядро сюжета, в развитие конфликта, в центральные сцены и первого, и второго «эпизодов». Наличие этого мотива — серьезное основание для сближения рассказа Короленко с творчеством Достоевского. Но в романе «Идиот» мы находим и конкретный эпизод, с которым может быть прямо соотнесен самый драматичный момент рассказа «Ат-Даван».

В одном месте романа Рогожин передает такой свой разговор с Настасьей Филипповной: «Я ее тогда однажды взял, да и говорю: „Ты под венец со мной обещалась, в честную семью вступишь, а знаешь ты теперь кто такая? Ты, говорю, вот какая!“ <...> — „Я тебя, говорит, теперь и в лакей-то себе, может, взять не захочу, не то что женой твоей быть“» (8, 175).

Рассказав далее, как Настасья Филипповна принялась «шпынять» его, Рогожин приводит ее слова: «Все-таки ты не лакей; я прежде думала, что ты совершенный, как есть, лакей» (8, 177).

Когда генерал в рассказе Короленко по требованию героини, не верившей измене жениха (а ее в сущности и не было), привез Кругликова засвидетельствовать готовность уступить ее, происходит следующая сцена, в которой, как нам кажется, своеобразно претворен приведенный выше разговор Настасьи Филипповны с Рогожиным. Кругликов рассказывает: «Ну, стал я у порога, а генерал к ручке подошел. „Вот, говорит, вы, королева моя, сомневались, а он и приехал!“

Приподнялась она, оперлась руками на столик, глядит на

¹⁶ См.: Короленко В. Г. Полн. собр. соч., т. 3, с. 360.

меня, будто узнать не может. Генерал тоже повернулся, смотрят оба, а я... стою в Раиной комнате... у порога-с.

— „Васенька“, — хотела, видно, сказать что-то, потом откинулась на кушетку и засмеялась...

— А что, говорит, можете вы его в лакеи к себе определить?

— Генерал и обрадовался: „Могу, говорит, если вы, моя королева, пожелаете...“.

— Что же, говорит, возьмите, только жалованьем, говорит, не обижайте...

У господина Кругликова что-то вдруг сдавило горло. Он опустил голову, скрывая от нас лицо, и в комнате водворилось молчание. Даже Копыленков только глядел на писаря широко открытыми, как будто удивленными глазами, не смея нарушить тишину, наполненную тяжким сознанием глубокого человеческого унижения...» (303).

В этой сцене не только ярко передана вся тяжесть ощущения героем состояния глубокого унижения, так многогранно разработанного Достоевским, но использована и форма, в которой выражено издевательство над достоинством человека в одном из наиболее популярных его романов. Это — низведение героя со стороны страстно любимой женщины, на руку которой он претендует, до степени лакея.

Изображение сцен унижения проникнуто у Достоевского гуманистическим пафосом, болью за поправленную человеческую личность. В некоторых же случаях Достоевский доводит страдания своих героев от поругания их личности до своеобразного извращения, когда мучительное чувство унижения превращается в свою противоположность — в наслаждение. Так, о герое «Двойника», когда он, «доведенный до последнего», «подпрыгивая на тряске экипажа своего ваньки», «поддразнивал себя», прямо сказано: «...растравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием» (1, 170). В «Игроке» мы встречаем прямое утверждение: «Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности» (5, 229). Подобные настроения имеют место у героев и других произведений Достоевского.

Сходную противоречивость сообщил переживаниям своего героя и Короленко. Рассказывая о том, как генерал повез его к Раисе Павловне, т. е. о самом унижительном моменте своей истории, Кругликов в ответ на вырвавшийся у слушателя вопрос: «зачем?» — посмотрел «с выражением, в котором смешивалась старая печаль и тщеславие». «Свatom-с, — ответил он не без гордости» (302. Курсив мой, — Т. М.).

Во втором эпизоде — столкновении Кругликова с Арабиным — мотив унижения также является ведущим. Рассказав, как в ответ на требование уплаты прогонов Арабин «сильным ударом» свалил писаря с ног, Короленко пишет: «Через несколько мгновений Кругликов поднялся с пола, и тотчас же мои глаза встре-

тились с его глазами. Я невольно отвернулся. Во взгляде Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце, — так смотрят только у нас на Руси!.. Он встал, отошел к стене и, прислонясь плечом, закрыл лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще более убитая, приниженная и жалкая» (309).

Ясно выраженный общественно-политический аспект, который приобретает здесь мотив унижения, весьма показателен для Короленко вообще и совершенно органичен в концепции рассказа. Достоевскому же, у героев которого стремление унижить ближнего нередко носит чисто психологический характер, как властолюбивая игра самолюбий, он мало свойствен.

Так своеобразно, преломленный через призму общественно-политического мировоззрения Короленко, отразился в рассказе «Ат-Даван» один из самых характеристичных для Достоевского мотивов, мотив унижения святая святых — человеческой личности.

5

Сюжетно-композиционным и идейным центром многих романов Достоевского является преступление. В рассказе «Ат-Даван» *важнейшее звено сюжета, кульминационный момент в развитии конфликта тоже составляет преступление*. Как и у Достоевского, оно играет здесь отнюдь не роль внешней пружины действия, но имеет глубокий этико-социальный смысл. Внутренне мотивированное, оно повышает драматизм произведения, служит решению поставленной в нем проблемы и способствует углубленному проникновению в психологию «маленького человека».

Преступление в рассказе Короленко имеет значение и для «внутреннего диалога» героя, решает исход борьбы между смирением и протестом в его душе. Преступление является *формой проявления протеста и, таким образом, знаменует его победу над рабской покорностью*. Кругликов — «все-таки не лакей» и не «Молчалин». Как ни силен в нем трепет перед начальством, наступил момент, когда в нем проявился «Кусакин».

В сцене вынужденного «сватовства» с большой правдой показано, как в робкой душе, подвергнутой предельному унижению, внезапно рождается чувство резкого протеста, толкающее на безумный поступок. Покорность оборачивается своей прямой противоположностью, завершается внезапным взрывом — выстрелом в соперника.

В этой сцене перед читателем типичная для художественной системы Достоевского ситуация «кризисов и переломов», «поворотов души» и «оксюморонных сочетаний» (решившись на выстрел, «даже засмеялся»), о которых неоднократно говорит М. Бахтин.¹⁷

¹⁷ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. М., 1972, с. 103, 110, 124, 267 и др.

С проявлениями протеста маленького обиженного человека мы встречались и в петербургских повестях Гоголя, когда тишайший Акакий Акакьевич в предсмертном бреду «сквернохульничал и произносил самые страшные слова», и в недоуменных вопросах Поприщина, желавшего дознаться, «отчего происходят все эти разности», и в «либеральных» мыслях Девушкина. Ясно выражен мотив протеста и в «Двойнике», герой которого мечтает «протестовать, и протестовать всеми силами до последней возможности» против «затирания его в ветошку» (1, 168).

Выражение протеста со стороны героя Короленко — стихийная реакция на горькую и незаслуженную обиду. В нем не содержится обобщенных мыслей о несправедливости существующего, хотя впоследствии Кругликов признавался, что его «размышление одолевает» (289). Но из всех названных здесь повестей только герой Короленко реагирует действием на оскорбление. Действие это в данных обстоятельствах принимает форму уголовного преступления, и совершено оно при этом так, что отталкивает героиню, жаждавшую от своего жениха рыцарского прямодушия в борьбе за любовь: — «Господи, говорит, сзади... подкрался... какая низость...» (304).

Те формы борьбы с соперником, которые подсказывались книгами, увлекавшими героиню, — выступление с оружием в руках — в современных жизненных условиях неизбежно обернулись бы уголовнонаказуемым актом. И не случайно ниже как отголосок чтения всплывает по отношению к Кругликову имя Ринальдо Ринальдини. Современная жизнь не отрицает героизма, но требует совершенно иных форм проявления человеческой доблести — такой вывод подсказывает «мотив чтения» и дальнейшее развитие действия.

Психологические же основы преступления Кругликова, как они раскрыты Короленко, — те самые, о которых Достоевский говорит в «Записках из Мертвого дома». Вскрывая источник неожиданного буйства каторжников («точно бес в него влез»), Достоевский пишет: «... это — тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, приниженную личность свою, вдруг появляющееся и доходившее до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог» (4, 67).

Как видим, совпадение в толковании психологии преступления (одного из его видов по крайней мере¹⁸) и у Короленко, и у Достоевского в приведенных выше словах вытекает у обоих писателей из сходного понимания человеческой личности, свойственных ей стремлений к самоутверждению. Это понимание можно выразить словами Добролюбова, заключающими статью о Достоевском: «... большая часть этих забитых, которых считали, может быть,

¹⁸ У Короленко, не говоря уже о Достоевском, есть произведения, в которых преступления совершаются по другим мотивам, например «Убийец».

пропавшими и умершими нравственно, — все-таки крепко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самих, хранит в себе живую душу и (вечное, неисторжимое никакими муками) сознание своего человеческого права на жизнь и счастье». ¹⁹

Но помимо этой общей психологической стороны вопроса, в «Записках из Мертвого дома» мы находим, как нам кажется, конкретный прообраз истории кругликовского преступления. Это — «Рассказ Баклушина», внесенный автором в главу IX части первой. Сюжетный стержень «Рассказа Баклушина», идущего, как и рассказ Кругликова, от первого лица, совпадает с сюжетной схемой первого эпизода «Ат-Давана». Там тоже речь идет о ссыльном, в молодости стрелявшем в человека, который, пользуясь преимуществами своего положения, стал между ним и его невестой. Показателен и аналогичный приступ к рассказу своей истории у Кругликова и у Баклушина. История Баклушина имела и свой «второй эпизод», соответствующий столкновению Кругликова с Арабиным, но поданный в сжатой форме. Объясняя причины своего столь серьезного наказания, Баклушин рассказал о своем резком принципиальном выпаде против члена комиссии, судившей его за убийство соперника.

Мы не можем безоговорочно решить, сознательно ли, «с памятью о Достоевском», Короленко использовал вставной рассказ из «Записок из Мертвого дома». Но если даже отрицать зависимость одного литературного образца от другого, то близость событийного материала и его психологической трактовки свидетельствует о серьезных «точках схода» у столь разных художников.

Мотив преступления имеет в «Ат-Даване» еще одну — общественно-политическую сторону, свидетельствующую о принципиальных расхождениях авторов «Ат-Давана» и «Записок из Мертвого дома».

Известно, какие споры на протяжении всего XIX века велись в русском обществе по вопросу о преступлении и какую противоречивую позицию занимал в этом споре Достоевский. Не раз вступавший в полемику с революционными демократами, объяснявшими преступность социальными причинами, автор «Записок из Мертвого дома» сам рассматривал преступление как одно из ярчайших проявлений неблагоприятия социальной жизни.

Короленко был последовательным сторонником мнения, разделяя его с революционными демократами, что преступления рождаются социальными условиями — «общим порядком жизни».

В дневниковой записи 1888 г. Короленко упрекнул Достоевского в том, что он, изображая человека, «отвлекается» от «внешних соотношений», не дает «среду, общество»: «Какие нити шевелит в нем оно преимущественно, как оно шевелит их, отчего!». ²⁰

¹⁹ Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. VII. М.—Л., 1963, с. 275.

²⁰ Короленко В. Г. Дневник, т. 1, с. 178—179.

В своем произведении Короленко едва ли не с полемической четкостью стремился обозначить, «как и какие нити» чувств его героя «дергала жизнь». В этом отношении рассказ Кругликова о своем прошлом — это не столько исповедь о содеянном им, сколько история о том, как его довели до преступного деяния.

Раскрывая драму Кругликова, человека, в натуре которого не заключалось никаких задатков преступности, Короленко рассматривал ее финал не как завершение чисто психологического процесса, а как закономерное следствие определенных внешних обстоятельств. Эти обстоятельства понимались автором «Ат-Давана» широко — как выражение определенного общественно-политического правопорядка, и вполне конкретно — как те «внешние соотношения», в тиски которых попал герой его рассказа.

Среди конкретных обстоятельств, определивших состояние Кругликова, предшествующее преступлению, весьма показательна такая деталь: преследования довели Кругликова до болезни, типичной для мира Достоевского, — припадков эпилепсии.

6

Выстрел и, как его следствие, ссылка в Сибирь — развязка первого конфликта «маленького человека» с действительностью, представшей перед ним в лице статского советника Латкина. Как и герои Пушкина, Гоголя, Достоевского, Кругликов в конечном счете потерпел крах. Но именно в развязке событий в наибольшей степени проявилась творческая самостоятельность Короленко.

Прежде всего катастрофический финал истории Кругликова — не только следствие законов суровой действительности и неравенства сил, но и кара за поведение самого героя, не обнаружившего в свое время нужной решительности. Эта сторона, отсутствующая в произведениях прошлого, весьма ясно подчеркнута Короленко.

С другой стороны, автор «Ат-Давана» вносит некоторые ограничения в безусловность поражения своего героя хотя бы тем, что не сделан победителем главный виновник драмы — Латкин. Героиня отказала ему в отличие от Вареньки Доброселовой, ставшей женой своего обидчика, и вышла замуж за достойного человека, уважаемого и Кругликовым.

Но несмотря на смягчающие его положение обстоятельства, Кругликов и после многих лет не испытывает ни раскаяния в содеянном, ни примирения со своей участью. Наоборот, в нем растет жгучая обида и сознание несправедливости совершившегося. Таким образом, в рассказе Короленко с большей энергией развернут мотив глубокой непримиренности героя со своей судьбой.

Во втором эпизоде порядок событий и исход их иной, чем в предыстории героя. В прошлом сначала имело место давление

на Кругликова, а затем — его реакция на это давление. В столкновении с Арабиным начальным моментом оказывается непривычное для окружающих поведение «маленького человечка». Перед лицом «грозного Тойона» Кругликов ведет себя с величайшим деловым достоинством, с бесстрашной принципиальностью. Он настойчиво и спокойно требует прогонов. Спокойная решительность Кругликова — его поведение — и определяет дальнейшее.

Основным следствием столкновения Кругликова с Арабиным были не унижительные побои, которым подвергся несчастный писарь, а уплата Арабиным прогонов, т. е. победа Кругликова, победа законности над произволом.

Значительность этого факта подчеркивается реакцией на него Копыленкова: «— Уплатил! — произнес он с величайшим изумлением. — Слышишь ты, Кругликов? Ведь это, смотри, прогоны. Ах ты, братец мой! . . . Вот так история!» (311).

Значение этого финала в рассказе Короленко исполнено принципиального смысла. Именно здесь реализуется глубокая убежденность Короленко в том, что «момент» героизма «хотя бы в микроскопических дозах все же присутствует в каждой почти душе».²¹ Для маленького станционного писаря восстание против буйного курьера было проявлением подлинного героизма. И здесь перед читателем уже не «судорожное проявление личности», а обоснованный гражданский поступок с показательной для Короленко ссылкой на закон.

У Достоевского даже герой — «лицо», вооруженное незаурядной силой мысли и воли, в своем столкновении с миром зла неизбежно терпит поражение. У Короленко победа далась одному из «малых сих». Именно в финале явственно отражается новый этап исторического развития русской общественности, русской литературы, своеобразие позиции Короленко. Финал «Ат-Давана» — это апофеоз непримиримости, противления — воплощение одной из ведущих идей всего творчества Короленко.

В рассказе Короленко важна и другая сторона дела. Признавая всю силу объективного хода вещей, Короленко не считает «внешние обстоятельства» непреодолимыми. Поэтому Арабин, который осмысливается писателем как «характернейшее явление торжествующей безнаказанности, возможное только среди нашего произвола и нашего бесправия»,²² представляет для него

²¹ Письмо В. Г. Короленко к Н. К. Михайловскому от 2 января 1888 г. (В. Г. Короленко о литературе. М., 1957, с. 465). В этом своем убеждении Короленко совпадал с революционными демократами. Н. Г. Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» (1851) писал, что и в жизни самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного человека «бывают <...> минуты энергических усилий, отважных решений» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1950, с. 877).

²² См.: письмо Короленко к С. Н. Кривенко от 28 ноября 1892 г. В кн.: Короленко В. Г. Избранные письма, т. II. М., 1932, с. 62.

и такой предел разложения государственного порядка, который внушает убеждение в необходимости борьбы и возможности победы.

Короленковский курьер, близкий в своем существе многим персонажам Щедрина, заставляет нас вспомнить и «отвратительную картинку», оставшуюся на всю жизнь в памяти Достоевского: мчащийся на тройке фельдъегерь, который, не переставая, колотит по затылку ямщика, а ямщик неистово хлещет кнутом лошадь. Запечатленная в «Дневнике писателя» за январь 1876 г. (XI, 169—170), эта сцена привлекла внимание Короленко. Он упоминает о ней в «Истории моего современника».²³

В образе Арабина типизировано то же явление русской действительности, которое предстало Достоевскому в сцене с фельдъегерем. Здесь еще одна точка соприкосновения «Ат-Давана» с творчеством Достоевского. Но курьер Короленко уже тронут чертами ущербности, лишен непоколебимой силы. Это выражается не только в уступке Кругликову, но и в развязке его карьеры. Ведь не случайно, «забегая вперед», писатель на страницах рассказа сообщает, что в конце концов непосредственное начальство Арабина вынуждено было отказаться от его услуг.

Понимание обреченности современного порядка и питало социальный оптимизм писателя, соответствовавший новой исторической эпохе.

Из сказанного вырисовывается и своеобразие композиционной структуры рассказа Короленко. «Ат-Даван» построен по принципу контрапункта: повторением на новом уровне во втором эпизоде ситуации первого с контрастным ходом событий и иной развязкой. Так, по наблюдениям Л. П. Гроссмана, построены «Записки из подполья» Достоевского.²⁴

Но при несомненном композиционном сходстве произведений двух авторов резко выступает их различие.

Из истории с приятелями «парадоксалист» в конце концов вышел с известным достоинством, написав одному из них непридуманно прозвучавшее извинительное письмо («спас свою репутацию»). История же с Лизой завершилась его полным моральным посрамлением.

Соотношение частей «Ат-Давана» прямо противоположно по своему характеру «Запискам из подполья». В первом эпизоде доминируют черты слабости героя, приводящие его к поражению. Второй — завершается не только победой над сильнейшим врагом, но и торжеством, хотя и временным, в самом маленьком человеке человека с большой буквы, человека-гражданина.

²³ Короленко В. Г. Собр. соч., т. 5. М., 1953, с. 212.

²⁴ См.: Творчество Достоевского. М., 1959, с. 342.

Для романов Достоевского показательна своеобразная группировка основных персонажей, особая система противопоставлений и аналогий («антиподов» и «двойников»). Признаки подобной системы улавливаются в подборе действующих лиц и в рассказе «Ат-Даган».

Прямым антиподом главного лица — Кругликова — является Латкин и еще в большей степени Арабин — с гипертрофированной силой властного воздействия на окружающих, превышающей истинное значение его личности и его положения.

Большое значение имеют в рассказе два, на первый взгляд, второстепенных персонажа: спутник героя-повествователя купец Копыленков и студент-естественник, учитель Раисы Павловны, типичный шестидесятник писаревского толка Дмитрий Орестович. Каждый из них корреспондирует с одной из двух основных сторон душевного строя главного героя.

Оценки Кругликова студентом и Копыленковым — это оценки с двух совершенно противоположных позиций, направленные при этом на антинормичные черты личности героя.

«Противопоставление одному герою двух героев, из которых каждый связан с противоположными репликами внутреннего диалога первого, — типичнейшая для Достоевского группа», — не без оснований утверждает М. Бахтин.²⁵ Именно такую группу составляют три названные персонажа: Кругликов, Копыленков, студент.

Копыленков — несомненный «двойник» Кругликова, существенно, однако, от него отличающийся. В его образе воплощены доведенные до предела слабые черты личности главного героя. Копыленков — принципиальный сторонник смирения и угодничества, носитель обывательской мудрости приспособленчества. Копыленков — один из двух слушателей истории Кругликова и свидетель его столкновения с Арабиным. В его коротеньких репликах по течению рассказа и в его отношении к поведению писаря явственно раскрывается его реакционная политическая позиция. С этой позиции он и дает отрицательную оценку главного героя, сосредоточив при этом исключительное внимание на той стороне его личности, которая враждебна его благонамеренной настроенности.

Сочувственно выслушав любовную историю героя («разжалобился»), Копыленков резко осуждает ее финал: «Вредный человек-с, самый опасный, д-да! Вы вот рассудите-ка о его поступках. Ну, захотел он тогда, в Кронштадте-то в этом, начальника уважить — и уважь! Мало ли их, невестов этих. От одной отступился, — взял другую, только и было. А его бы за это чело-

²⁵ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 442.

веком сделали. Нет, он, вот посмотрите, как уважил... из прошлого столетия!» (312).

Еще резче отзывается купец о поведении Кругликова по отношению к Арабину: «Дубина ты, а не закон тебе! Нашелся тоже большой человек — начальнику законы указывать...» (312).

Отражение перипетий рассказа Кругликова и разыгравшейся далее драмы в оценках Копыленкова оттеняет все лучшее в главном герое, помогает воспринять личность писаря в ее сложности. Сближаясь с Копыленковым в чиновничестве, в целом Кругликов стоит на голову выше преуспевающего купчины.

Ясно выраженным антиподом Копыленкова, бросающим свет на личность мелкого чиновника с других, политически прогрессивных позиций, является в рассказе студент Дмитрий Орестович. Впоследствии видный ученый, он выступает в рассказе как воплощение разума, воли, чувства собственного достоинства, внутренней независимости и жизненной целеустремленности. Его достижения и общественную позицию демонстрирует написанная им книга, которую Кругликов с гордостью показывает своим слушателям. Молодой ученый-шестидесятник оказывается и фактическим победителем в борьбе за руку героини.

В личности студента воплощены положительные потенции главного героя, неумиряющее чувство протеста, сознание нарушенной справедливости. Одновременно его пренебрежительно-ироническое отношение к Кругликову заостряет в восприятии читателя слабые черты героя: его нерешительность, рабскую зависимость от стоящих над ним, неумение преодолевать препятствия. Но порой молодой писаревец слишком суров по отношению к «маленькому человеку». Его суждения страдают односторонностью и потому неверны. Так, студент заблуждался, заявив: «Ну, так я и знал. Хорош, нечего сказать, принц венецианский...», т. е. ошибочно предположив, что Кругликов добровольно явился «сватом» к Раисе Павловне. Он видит только одну, *слабую* сторону личности главного героя.

Если в столкновении с Латкиным и Арабиным подвергается практическому испытанию характер «маленького человека», то в полярных суждениях Копыленкова и студента ведется принципиальный спор о главном герое, воплощающий основную проблему произведения, тот спор, который в «Наброске драмы» выражен в фамилиях: «Молчалин» или «Кусакин»? Если для писаревца он — Молчалин, то для Копыленкова он — «Ринальдо Ринальдини» — Кусакин (291).

Суждения двух столь разных персонажей обнаруживают несостоятельность однолинейных оценок. Явление сложней, многогранней в своем существе. Только множественность аспектов обеспечивает, без явного вмешательства автора, объективную и справедливую оценку человека и его поведения. В этой сложности подхода к явлениям жизни, к «человеческой природе» — глубокое родство писателей. В оценке с разных точек зрения

проявляется и сходство художественных средств раскрытия этой сложности.

Используя принцип группировки персонажей, типичный для Достоевского, Короленко дал совершенно иное, чем у автора «Преступления и наказания», распределение красок.

У Достоевского идею смирения обычно воплощают положительные герои (Соня Мармеладова, Алеша, Зосима). Короленко же, которому было ясно, какие социальные силы являются носителями философии покорности, связал с идеологией смирения не человеколюбие и самоотверженность, а все низменное, корыстное, отталкивающее. Высокие же человеческие качества создатель «Ат-Давана» отдал представителю передовой молодежи 60-х годов (несмотря на известную ограниченность его позиции). Такое соотношение сил совершенно немыслимо у Достоевского, который революционно-демократическую среду всегда изображал искаженно отрицательно.

Так и в расстановке персонажей при сходстве приемов выразилось принципиальное отличие идейной позиции Короленко от позиции автора «Братьев Карамазовых».

8

«Ат-Давап» В. Г. Короленко — знаменательная веха в развитии темы мелкого чиновника в русской классической литературе XIX века. Продолжив гуманистическую и демократическую традиции предшествующей литературы, Короленко создал произведение, несущее печать новой эпохи, мировоззрения и творческой индивидуальности автора.

В отличие от писателей прошлого мелкий чиновник был для Короленко не только порождением общественного неравенства, «тружеником, сброшенным на самый низ социального здания»,²⁶ лицом страдательным. Он был и низовым исполнителем велений верховной власти или, как выражался писатель, «мелким ее агентом»²⁷ и, таким образом, вольным или невольным участником царствующего повсюду произвола. Вместе с тем он был и гражданином, членом общества.

В 80-е и особенно в 90-е годы, когда завершался «Ат-Даван», неотложной общественной задачей стала проблема гражданской активности широких слоев населения. «Идея пробуждения дремлющей силы народа»,²⁸ составляющая стержень всего творчества Короленко, углубляется, распространяется на все более широкий круг социальных явлений. В поле творческого внимания писателя закономерно вошел и огромный по своей численности слой мел-

²⁶ Кирпотин В. Я. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821—1853). М., 1960, с. 233.

²⁷ Короленко В. Г. Полн. собр. соч., т. 3, с. 364 (статья «Современная самозванщина»).

²⁸ Бялый Г. А. В. Г. Короленко. М.—Л., 1949, с. 200.

кого чиновничества. В раздумьях писателя об основах русской государственности, в его борьбе против правительственных беззаконий вопрос о возможности воспитания гражданского сознания во всех слоях русского общества, в том числе и в низшем чиновничестве, приобрел для него особую остроту. Это и определило своеобразный — короленковский — аспект темы мелкого чиновника.

Если новаторский смысл первого романа Достоевского — в утверждении нравственной ценности «маленького человека», в «очеловечивании чиновника», то новаторство Короленко — в постановке вопроса о его *общественных* возможностях, о его *гражданской ценности*.

В этом плане представляет интерес отчеркнутое Короленко следующее место в дневнике А. И. Герцена: «Мелкие чиновники — не худшее сословие в России, пора перестать исключительную стрельбу по маленьким взяточникам, довольно ругали титулярных советников и канцелярских, пора иронию возвести в чин».²⁹

Короленко и «возвел иронию в чин», направив ее на относительно крупных представителей бюрократии. Но одновременно он «возвел в чин» и мелкого чиновника, предъявив ему высокие требования не только как к человеку, но и как к гражданину.

Противоречие между ролью мелкого чиновника как «агента» власти, т. е. в конечном счете орудия насилия, и его «гражданственностью», примиралось в сознании Короленко идеей законности. Гражданское чувство чиновника должно было, с точки зрения Короленко, прежде всего выражаться в отстаивании закона. На своем маленьком посту чиновник должен был неуклонно стоять на его страже.

Идея законности была одной из самых выношенных идей в политических взглядах Короленко. Эта та самая идея, которая прозвучала некогда в письме Белинского к Гоголю в числе «самых живых современных национальных вопросов в России»: «... введение по возможности строго выполнения хотя тех законов, которые уже есть».³⁰

Свои силы талантливого публициста и общественного борца Короленко постоянно отдавал «тяжбе» закона с беззаконием. Ход общественно-политического развития России был таков, что, как неоднократно отмечал писатель, «закон — воля самодержца, объявленная установленным порядком, — обращается в революционный лозунг...».³¹

²⁹ Васильева Г. А. Пометки В. Г. Короленко на страницах Дневника А. И. Герцена. — В кн.: Вопросы русской литературы. Вып. 2 (28). Республиканский межведомственный сборник. Львов, 1976, с. 29.

³⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X. М., 1956, с. 213.

³¹ Дневниковая запись 12 октября 1898 г. (см.: Короленко В. Г. Дневник, т. IV. Полтава, 1928, с. 37. См. там же, на с. 81, запись от 19 ноября 1898 г.).

В свете этого факта особый смысл приобретает апелляция Кругликова в его столкновении с Арабиным к закону, к «указу его императорского величества» и то, что законное требование прогонов Арабин расценил как бунт.³²

Выразительным публицистическим комментарием к рассказу «Ат-Даван» может служить заключительная часть статьи Короленко «Современная самозванщина», направленная против «язвы российского самодержавного строя» — беззакония. С величайшей четкостью паметив в ней два «исконных полюса русской жизни — произвол, с одной стороны, бесправие — с другой», Короленко считает «почти центральным эпизодом нашей комедии» позицию в ней «маленького человека».

«Если ямщик, подошедший с просьбой показать „прогонный лист“, „настоит на своем праве“, — пишет Короленко, — похождения Раменского (самозванного ревизора, — *Т. М.*) кончены, ему не придется ни ревизовать, ни беспокоить высшее начальство нескольких уездов и даже губерний, так как маленький человек своим законным требованием разоблачит его самозванство в самом начале».³³

Здесь, как и в рассказе «Ат-Даван», ясно проявилось своеобразие политических убеждений Короленко, сильные и слабые стороны его демократизма. Надежды свои он полагал не на улучшения «сверху», а на представителей массы, на социальные низы в самом широком смысле слова. Это была программа общедемократической борьбы против самодержавия за обновление политического строя России.

С признанием в мелком чиновнике человека и гражданина связана главная идея «Ат-Давана» — утверждение плодотворности и красоты противления, борьбы. Этой определяющей стороной своего содержания рассказа Короленко прямо полемичен по отношению к Достоевскому с его апологией смирения, идеализацией кротости.

Короленко и Достоевский, исходившие из общих гуманистических и демократических позиций, разошлись в содержании своего гуманизма и своих демократических взглядов, что и отразилось в идейной направленности их творчества.

Короленко относил себя к «тургеневской школе».³⁴ Он был прав в том смысле, что творческая манера Тургенева была ему ближе других. Не случайно Н. Г. Чернышевский, характеризуя дарование Короленко, сказал: «Это большой талант, это тургеневский талант».³⁵ Но, как показывают исследования, и Тургенев не избежал в молодости влияния Достоевского, и в зрелом твор-

³² Слова об указе «его императорского величества» добавлены автором в 6-м издании «Очерков и рассказов» (1902).

³³ Короленко В. Г. Полн. собр. соч., т. 3, с. 359, 366—367.

³⁴ В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 321.

³⁵ См.: Морозова Т. Г. Н. Г. Чернышевский о В. Г. Короленко. — Изв. ОЛЯ АН СССР, 1953, т. XII, вып. 3, с. 271.

честве двух великих романистов при всем их различии можно установить известные параллели.³⁶

Короленко стоял на таком историческом и литературном перепутье, которое не могло не обусловить множественности воздействий на формирование его стиля. Вместе с тем анализ «Ат-Давана» показывает, как самостоятелен был его автор в творческом освоении художественного опыта своих предшественников.

Из романов Достоевского Короленко взял целый ряд мотивов и приемов художественного изображения. В «Ат-Даване» он применил их к произведению малого жанра. Получился необычный по художественной выразительности эффект. Поэтика Достоевского, несомненно, обогатила художественную систему Короленко. Автор «Бедных людей» и «Двойника» помог не только в разработке темы о мелком чиновнике. Мы чувствуем приобщение к опыту гениального романиста в целом ряде других созданий Короленко, в острой сюжетности его рассказов, в умении построить конфликтную ситуацию, в сложности психологических характеристик, в продуманной четкости группировки персонажей.

Использование элементов творческой системы писателя, чуждого по основным принципам его поэтики собственной манере Короленко, не создает впечатления двустильности, настолько смягчены и органично влиты эти элементы в собственный стиль Короленко, настолько строго они подчинены определенной идейно-художественной задаче.

Анализ «Ат-Давана» убеждает, с одной стороны, в широте художественного воздействия Достоевского на русскую литературу, а с другой — в еще недостаточно оцененном мастерстве Короленко, в богатстве и сложности его художественного наследства.

³⁶ См.: Виноградов В. В. Тургенев и школа молодого Достоевского. — Русская литература, 1959, с. 45—71; Бялый Г. А. Две школы психологического реализма (Тургенев и Достоевский). — В кн.: Бялый Г. А. Русский реализм конца XIX века. Л., 1973, с. 31—53.

Ю. И. СОХРЯКОВ

**ТРАДИЦИИ ДОСТОЕВСКОГО В ВОСПРИЯТИИ
Т. ВУЛФА, У. ФОЛКНЕРА И Д. СТЕЙНБЕКА**

По-своему преломляются определенные традиции Достоевского в творчестве Томаса Вулфа. Т. Мотылева, говоря об этом, пишет: «Связи Томаса Вулфа с искусством Толстого и Достоевского, конечно, еще требуют специального исследования. Так или иначе, перед нами еще один характерный пример того, как выдающийся зарубежный писатель XX века стремился в собственной творческой практике освоить и применить опыт обоих русских классиков».¹ Американский критик М. Гейсмар, подчеркивая близость произведений Вулфа романам Достоевского, замечает, что оба писателя склонны изображать «массы людей с их закрученными семейными историями, с их мелочным вековым этикетом, с их чрезмерным радушием, бесконечными разговорами, с обилием смеха, с их долговечными легендами о грехе и кровопролитии — все это из всех наших богатых культурных традиций ближе всего к тому, что мы называем „русская“ душа...».²

Американская исследовательница Доротти Брюстер пишет: «Его (Вулфа, — Ю. С.) концепция семьи, выведенной под фамилией Гантов в романах, с их тайной порочностью крови, с их преувеличенными аппетитами, скупостью матери, все это поразительно напоминает концепцию семейства Карамазовых, концепцию, которая явно присутствовала в мозгу Вулфа, побуждая его символизировать и романтизировать свою семью».³

В романе «Паутина и скала» Томас Вулф устами своего героя Монка Уэббера высказал свои впечатления от знакомства с романами Достоевского. Первая вещь русского писателя, с которой встретился герой в студенческие годы, был роман «Пре-

¹ Мотылева Т. Толстой и Достоевский: их мировое значение. — В кн.: Яснополянский сборник. Тула, 1974, с. 78.

² Цит. по: Brewster D. East-West passage. A study in literary relationships. London, 1954, p. 216.

³ Там же.

ступление и наказание», ошеломивший, подавивший и сбивший с толку его, перевернувший все его прежние представления о литературе. «Он отбросил роман в сторону. Однако не смог забыть его. События, характеры, слова, происшествия возвращались к нему, не оставляли покоя, подобно воспоминаниям из некоего, часто виденного сна».⁴ После этого Уэббер прочитал «Идиота» и «Братьев Карамазовых». По поводу последнего романа он затевает бурную дискуссию с руководителем студенческого кружка Джерри Олсопом, ярым поклонником Диккенса, который скептически относится к творчеству Достоевского и сомневается в его способности «давать здоровый и закруженный взгляд на вещи». Возмущенный до глубины души ограниченным скептицизмом Олсопа, Уэббер произносит длинную речь: «Паскаль сказал, что один из величайших жизненных сюрпризов состоит в том, что когда открываешь книгу, надеешься встретиться с автором, и вдруг вместо него находишь человека. Именно это и происходит с Достоевским. Вы не видите автора. Вы встречаетесь с человеком. Вы можете не верить тому, что он говорит, но вы верите человеку, который это говорит. Вас убеждает его предельная искренность, величие, свет, исходящие от него, и в финале, не имеет значения, сконфужен ли, растерян или неуверен сам автор, вы вновь и вновь убеждаетесь, что он прав. И вы понимаете, что дело не в том, как говорят люди, а в том, что если за их словами скрывается глубокое чувство, то значит в том, что они говорят, заключается истина. Я могу привести вам пример, — продолжал он горячо. — В финале „Братьев Карамазовых“, где Алеша беседует с детьми на кладбище, опасность фальши и сентиментальности налицо <...> Он произносит речь, смущенную и бессвязную, в которой каждое предложение могло быть произнесено... учителем в воскресной школе <...> Алеша говорит детям, что люди должны любить друг друга, и мы верим ему. Он призывает никогда не забывать похороненного товарища, вспоминать бесчисленные и добрые поступки, его любовь к отцу, его смелость и преданность. Алеша говорит детям, что самая главная вещь в жизни, которая искупит все наши грехи, искупит все наши ошибки и ужасы и сделает нашу жизнь осмысленной, — это добрая память о ком-либо. И эти простые слова трогают нас больше, чем самая искусная риторика, потому что неожиданно мы понимаем, что услышали вечную истину о жизни и что человек, сказавший нам это, прав».⁵

Отстаивая свою точку зрения, Уэббер категорически заявляет, что Достоевский гораздо выше Диккенса, а его роман «Братья Карамазовы» выше «Повести о двух городах» Диккенса, книги, представляющей «искусную и возбуждающую мелодраму, изображающую некоторые события из эпохи французской револю-

⁴ Wolfe Th. The Web and the Rock. New York, 1940, p. 207.

⁵ Там же, с. 212, 213.

ции». Роман же Достоевского, по словам Уэббера, вовсе не роман, но «великое видение жизни и человеческой судьбы духовным взором великого человека».⁶

Вулфа роднит с Достоевским и художественная концепция действительности, представление о жизни как трагической мистерии. В романе «Паутина и скала» Уэббер, явно выражая мысль автора, говорит: «Человек был рожден жить, страдать и умирать, и эта жизнь исполнена трагизма. В конечном счете, этого нельзя отрицать. Но мы должны, дорогой Фокс, все время отрицать это».

У Вулфа, как и у Достоевского, абсурд и бессмыслица человеческого существования лишены той вневременной универсальности, какое часто встречается у писателей-модернистов XX в. Трагизм жизни, особенно остро ощущаемый Юджином Гантом в юности, обусловлен прежде всего бесплодностью накопительства, мрачной бесперспективностью индивидуалистического существования семьи Гантов. Юджин, по словам автора, «не столько понимал, сколько чувствовал бессмыслицу, путаницу, слепую жестокость их существования — его дух был растянут на дыбе отчаяния и недоумения, ибо он все сильнее убеждался в том, что их жизнь нельзя было бы больше изуродовать, изломать, извратить и лишить самого простого покоя, удобства, счастья, даже если бы они сами нарочно запутали клубок и порвали канву». Юджин понимает, что бессмыслица того образа жизни, который вела его семья, является результатом «жадного скопидомства», «убогой алчности».⁷

И не случайно, что порой у Юджина возникало ощущение не реальности всего происходящего: «Так жизнь оборачивалась тенью, живые огни вновь становились призраками. Мальчик среди телят. Где после? Где теперь?» (221). Говоря о смерти брата Юджина, Вулф пишет о том, какое влияние она оказала на жизнь и мироощущение Гантов. «Смерть брата уничтожила ту дисциплину, которая еще объединяла их, кошмар бессмысленной гибели и утрат уничтожил в них надежду. С сумасшедшим фатализмом они отдались на волю свирепого хаоса жизни» (632). Но уже в юности Юджин верил, что «из хаоса случайного в непредотвратимый миг возникает неизбежное событие и прибавляется к итогу его жизни» (221).

Иными словами, жизненный трагизм, в представлении Вулфа, отнюдь не фатален и жизнь не сводится к одной трагедии. Трагическому духу человек в романах Вулфа противопоставляет свою волю, свое мужество и свою способность прорывать индивидуалистическую замкнутость и находить путь к людям.

Жизнеутверждающий финал «Братьев Карамазовых», вне сомнения, вдохновил Вулфа на создание финальных сцен в романе

⁶ Там же, с. 215.

⁷ Вулф Т. Вагляни на дом свой, англ. М., 1971, с. 164, 221. — Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием страницы.

«Взгляни на дом свой, ангел». Стоя у могилы Бена, Юджин Гант испытывает противоречивые чувства, размышляя о жизни и смерти, о вечном жизненном круговороте: «Мы не вернемся. Мы никогда не вернемся. Был октябрь, но мы никогда не вернемся.

Когда они вернутся? Когда они вернутся?

Лавр, ящерица и камень больше не вернутся. Женщины, плававшие у ворот, ушли и не вернутся. И боль, и гордость, и смерть пройдут и не вернутся. И свет и заря пройдут, и звезды и трель жаворонка пройдут и не вернутся. И мы пройдем и не вернемся.

Что же вернется? О, весна, жесточайшее и прекраснейшее время года, весна вернется. И чужие погребенные люди вернутся, цветами и листьями чужие погребенные люди вернутся, а смерть и прах никогда не вернутся, ибо смерть и прах умрут. И Бен вернется, он больше не умрет, в цветах и листьях, в ветре и в дальней музыке он вернется» (611).

Трагизму бытия Вулф противопоставляет «беспредельную, странную жажду жизни», томящую Юджина, его способность мысленным взором охватывать бесконечное разнообразие мира, его бесконечную сложность и противоречивость. Благодаря этой способности Юджин не теряет веры и надежды на будущее. И когда Юджин «думал о том, как в будущем свободным выйдет в этот героический мир, где все краски жизни ярко пылают вдали от дома, сердце затопляло его лицо озерами крови.

Он уже слышал звон дальних церковных колоколов, разносящийся над горами в воскресный вечер; внимал земле, погруженной в задумчивую симфонию мрака и миллионноголосных маленьких ночных существ; он слышал уносящийся вопль гудка в дальней долине и тихий рокот рельсов; он чувствовал безграничную глубину и ширину золотого мира в кратких соблазнах тысяч и тысяч сложных, смешанных, таинственных запахов и звуков, которые в ослепляющем взаимодействии и многоцветных вспышках сплетались и переходили друг в друга» (109—110).

Уже в раннем детстве Юджин встречается с противоречивой сложностью нравственных вопросов и ощущает их важность в жизни человека. «В восемь лет он вплотную столкнулся с мучительным парадоксом недоброты-доброты, эгоизма-самоотверженности, благородства-низости, и, неспособный ни изменить, ни постигнуть эти глубоко скрытые пружины желаний в душе человека, который ищет всеобщего признания через добродетельное притворство, он томился от сознания собственной греховности» (143).

С героями Достоевского Бена и Юджина роднит стремление во всем дойти до конца, разобраться в той путанице противоречий, в том жизненном хаосе, которые их окружают. «Откуда мы пришли? Куда мы идем? Для чего мы здесь? Зачем все это, черт подери?» — яростно вопрошает Бен своего собеседника Коукера (386), и в этих вопросах чувствуется иступленная жажда, несмотря ни на что, найти смысл жизни.

С героями русской литературы Юджина роднит и «ненависть ко всему тому, что слишком уютно укладывается в мерки. Он начинает испытывать неприязнь и зависть к незаметной ординарности, несущей печать общности, — к бесчисленным рукам, ногам, запястьям, ступням, торсам, которые удобно сформированы для готовой одежды. Где бы он ни встречал смазливую правильность, он ее ненавидел — глупо красивых юношей с сияющими волосами, разделенными на ровный пробор, с уверенными, сильными, не длинными и не короткими ногами, выписывающими грандиозные па на полу танцевального зала» (427).

В письме к Э. Эсуэлли в 1938 г., излагая свои мысли по поводу романа «Паутина и скала», Вулф называет своего будущего героя «невинным человеком», «идущим по жизни». В числе литературных предшественников будущего «Американского Вильгельма Мейстера» Вулф называет наряду с Гулливером, Кандидом, Пикквиком и «Идиота». Именно на эти модели ориентировался Вулф, создавая свой вариант «невинного человека».⁸

Знакомство Вулфа с «Идиотом» Достоевского чувствуется в изображении взаимоотношений Бена и Юджина с окружающим миром. Как тот, так и другой чувствуют себя чужими среди корысти и расчета, стяжательства и наживы. Как Бен, так и Юджин в глазах окружающих выглядят своеобразными чудачками, существами не от мира сего. «Свихнутый», «тронутый» — вот эпитеты, которыми награждают этих молодых людей окружающие. Дети, может быть, более всего, чувствовали, что Юджин «тронутый». «Они чувствовали, что он „свихнутый“, — и, когда его преследователям попадало за эти издевательства, они, согласно законам самодовольной трусости, управляющим детским садом, оправдывались тем, что хотят сделать из него „настоящего мальчика“». «А в нем росла глубокая привязанность к Бену, который бесшумно проходил по дому, уже тогда пряча свою тайную жизнь за хмурыми глазами и угрюмой речью. Бен сам был чужим, и какой-то глубокий инстинкт влек его к маленькому брату, — часть своего небольшого заработка разносчика газет он тратил на подарки и развлечения для Юджина, ворчливо одергивал его, иногда награждал подзатыльниками, но оберегал от остальных» (107).

Не случайно Бен иронически называет своего любимого брата «проклятым идиотом». Это выражение появляется несколько раз в аналогичном контексте и в устах Бена выражает противоречивые чувства и смутное недовольство тем, что Юджин непохож на других, белая ворона, и одновременно симпатию к нему, глубокую привязанность и духовную общность.

Юджин, по словам автора, «оставался за пределами завистей и интриг, — все видели, что он ненадежен, что он не здоровы-

⁸ The letters of Thomas Wolfe. New York, 1956, p. 711—712.

слящ, что он в любом отношении неправильная личность. Он явно не мог стать человеком, что надо. Было очевидно, что губернатора из него не выйдет. Было очевидно, что политика из него тоже не выйдет, потому что он имел обыкновение говорить какие-то странные вещи» (519).

Любопытно также и то, что сам Бен, будучи таким же «идиотом», как и его брат Юджин, перед смертью называет себя неудачником, ничего не добившимся в жизни. Буржуазная мораль до самой смерти третировала Бена за то, что он посмел быть непохожим на других, за то, что посмел сохранить в своей душе человечность, внутреннюю деликатность и порядочность. Трагедия Бена и Юджина в том, что они на фоне всеобщего хищничества и повседневного буржуазного эгоизма выглядят аномальными, «свихнутыми», «тронутыми» и подвергаются насмешкам со стороны самодовольных «бэбитов». Как Бен, так и Юджин, обладая легко ранимой душой, тяжело переносят то, что их считают «неполноценными» существами. Их уязвленная гордость и развитое самолюбие каждый день подвергаются нравственным ударам, что делает их жизнь исполненной глубокого трагизма.

И сам факт, что человечность в буржуазном обществе вынуждена чувствовать себя чем-то аномальным, является серьезным обвинением тому общественному устройству, в котором такие люди, как Бен и Юджин, считаются «тронутыми», «идиотами».

Одной из главных тем Вулфа является тема психологической отчужденности, подчеркнутая в романе «Взгляни на дом свой, ангел» эпиграфом: «Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остается навеки чужим и одиноким?» (28).

Психологическая отчужденность Юджина на протяжении романа выражается в ощущении своего глубокого одиночества. Причем подчас это одиночество представляется ему вечным и неизменным законом человеческого бытия. «Затерянный! — думает Юджин. — Он понимал, что люди вечно остаются чужими друг другу, что никто не способен по-настоящему понять другого, что, заточенные в темной утробе матери, мы появляемся на свет, не зная ее лица, что нас вкладывают в ее объятия чужими и что, попав в безысходную тюрьму существования, мы никогда уже из нее не вырвемся, чьи бы руки нас не обнимали, чей бы рот нас ни целовал, чье бы сердце нас не согревало» (63).

Отличительной особенностью Юджина было то, что острое сознание своего одиночества сочеталось в нем с ощущением братства со всеми людьми, с ощущением общности со всей землей, со всем бесконечным ее разнообразием. «Он был счастлив, полон заразительной радости и каждого встречал с восторженной пылкостью. Он испытывал огромную нежность ко всей чудесной и неизведанной земле, которая слепила глаза. Никогда еще он не

был так близок к ощущению братства со всеми людьми, и никогда еще он не был так одинок» (519).

И лишь постепенно лирический герой Вулфа приходит к осознанию своей ответственности перед миром. Если в юности в его душе жило лишь смутное ощущение «общности всего земного», то с течением времени это ощущение превратилось в твердое осознание своей нравственной ответственности за все совершающееся на земле. Эта духовная эволюция героя Вулфа в своих основных чертах напоминает внутреннюю эволюцию Дмитрия Карамазова, который после перенесенных страданий также приходит к мысли о своей нравственной ответственности за беды и муки людей, за страдания капитана Снегирева, безымянных погорельцев и плачущего дитя.

Если в юности Юджин Гант руководствовался традиционной системой ценностей и, по словам автора, «был приобщен к этике успеха», то в финале романа он уже становится равнодушен к почестям и отличиям, которые желали ему родители. Его новые жизненные критерии уже «лежали за пределами их школы ценностей».

Нет сомнения в том, что линии преемственности между Достоевским и реалистической литературой США XX в. следует искать не столько в тематическом плане (ибо, например, тему двойственности человеческого характера можно найти и у Э. По и Э.-Т.-А. Гофмана), сколько в совершенно ином подходе к изображению человека. Принципиально новый подход Достоевского к изображению человека заключается в том, что у писателя по сути дела не было «маленьких» людей. Даже самый незначительный чиновник или горький пьяница вроде Мармеладова или штабс-капитана Снегирева наделен у него особым внутренним миром, «самостоятельным хотением». Униженный и оскорбленный человек предстал в его романах не только как объект сострадания, не только как жертва неблагоприятных обстоятельств, но и как субъект общественных отношений, как существо, способное на «самостоятельное хотение» и ценящее это самостоятельное хотение выше всего на свете.

В этом смысле художественный полифонизм Достоевского, доведенный писателем до высокой степени совершенства, был выражением излюбленной идеи Достоевского — идеи неповторимости и самоценности каждой человеческой личности.

Именно в этом контексте становится понятным отказ Достоевского от манеры вести повествование с позиций «всевидящего и всезнающего рассказчика». В литературе США XIX в. Г. Джеймс использовал прием изложения событий «через восприятие наблюдателя, который и сам участвует в действии».⁹ Однако все это было, по словам Моэма, «лишь небольшим видоизменением авто-

⁹ Моэм С. Подводя итоги. М., 1957, с. 162.

биографической формы романа, которая обладает многими из тех преимуществ, и говорить об этом как о некоем открытии в эстетике немножко смешно». ¹⁰ В целом Г. Джеймс не смог понять художественного новаторства Достоевского и поэтому называл романы русского писателя «текучими пудингами», возмущался именно «множественностью точек зрения» в этих произведениях, как будто, над каждым романом трудилась дюжина романистов. «Наличие дюжины точек зрения», по мнению Джеймса, превращало произведения Достоевского в «беспорядочную, какофоническую похлебку». ¹¹

Введение в роман «множественности точек зрения» позволяло писателю выразить новый взгляд на человека как существо, которое стремится осмыслить себя в мире, осмыслить свое отношение к миру. А стремление осмыслить свои внутренние связи с окружающими людьми в XX веке станет характерной особенностью героев западных писателей, для которых главное заключается не столько в непосредственном изображении событий, сколько в осмыслении их влияния на внутренний мир героя.

Разнообразные, подчас диаметрально противоположные «точки зрения» в романах Достоевского не просто находятся в состоянии мирного сосуществования, что было бы равносильно признанию этического релятивизма писателя. Эти «точки зрения» всегда находятся в состоянии напряженного, страстного конфликта. Миропонимание Раскольникова сталкивается с правдой Сони Мармеладовой, с точкой зрения Порфирия Петровича, Разумихина и т. д. Дмитрий, Иван и Алеша Карамазовы, равно как и их отец, а также Смердяков — любой из героев Достоевского обладает собственным миропониманием, стремится по-своему осмыслить себя и мир. Причем каждый из героев не просто стремится отстоять право на свое миропонимание, каждый из них стремится во чтобы то ни стало отстоять правоту своего взгляда на мир и готов скорее умереть, нежели утратить сознание истинности своей «точки зрения», своего миропонимания.

Именно эти мотивы развивает в своем творчестве У. Фолкнер. В романах этого американского художника герои мучительно и сложно размышляют о самих себе и о мире, каждый из них пытается осмыслить самого себя, разрушить скорлупу своего одиночества и найти путь к людям. Говоря об идиоте Бенджи из романа Фолкнера «Шум и ярость», и сравнивая его с князем Мышкиным, советский исследователь Г. Злобин отмечает, что Бенджи томит «желание быть понятым, жажда участия и общения, стремление сломать стену отчуждения <...> Может быть, — продолжает Злобин, — именно в образе этого ущербного персонажа, в котором „все горе, все утесненные всех времен обрело на миг голос“, наиболее полно выразился характер гуманизма Фолкнера,

¹⁰ Там же.

¹¹ Anderson Quentin. The imperial Self. New York, 1971, p. 210.

его горькое сострадание к жертвам, его призыв к пониманию людей и того, как обстоятельства могут исковеркать жизнь».¹²

Движущим импульсом мыслей и поступков многих фолкнеровских героев является «суетность и гордыня», «тщеславие и суетная гордость», которые подавляют в человеке его личностное начало, извращают его человеческую сущность и приводят к страданию и смерти. Причем все это подчас изображается Фолкнером в плане мистической и непримиримой борьбы между дьяволом и богом. «Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей», — говорит у Достоевского Дмитрий Карамазов, и эти слова полностью приложимы к героям американского писателя.

Исследуя внутренний мир и глубинные пласты психологии таких своих героев, как Кристиас, Минк Сноупс и др., Фолкнер вслед за Достоевским показывает, что своеволие и насилие могут проявлять не только сильные мира сего, но и задавленные нуждой бедняки, что униженный и оскорбленный человек, таящий в течение длительного времени в себе запасы гнева и ненависти, способен в один прекрасный момент проявить «своеволие», «самостоятельное хотение». Характерен в этом отношении не только Кристиас, но и Минк Сноупс из трилогии Фолкнера, который является одним из вариантов «человека из подполья». Детально, словно под микроскопом, прослеживает автор психологические нюансы внутренней жизни задавленного нуждой бедняка, показывая при этом, как постепенно возникает в его душе стихийный протест против жизненной несправедливости.

Сам Достоевский по праву считал себя новатором в исследовании «трагизма подполья». Сущность этого трагизма, писал он, состоит в «сознании уродливости. Как герои, начиная с Сильвио и Печорина до князя Болконского и Левина, суть только предстатели мелкого самолюбия, которые „нехорошо“, „дурно“ воспитаны, могут исправиться потому, что есть прекрасные примеры (Сакс в «Полиньке Сакс», тот немец в «Обломове», Пьер Безухов, откупщик в «Мертвых душах»). Но это потому, что они выражали не более как поэмы мелкого самолюбия. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в осознании лучшего и невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!» (16, 329).¹³

К трагическому ужасу, пустоте и отчаянию приходят многие из героев Фолкнера, одержимые «суетной гордостью» и индивидуалистическим своеволием. Самоутверждаясь в жизни, они

¹² Злобин Г. Падение дома Компсонов. — В кн.: Современная литература за рубежом. М., 1975, с. 199.

¹³ В этом смысле нельзя не согласиться с А. Долининым, который считает, что каждый из романов Достоевского, начиная с «Преступления и наказания», есть «только новая своеобразная вариация» этой общей темы «трагизма из подполья» (Долинин А. Последние романы Достоевского. М.—Л., 1963, с. 204).

не брезгают никакими средствами ради достижения своих целей. Однако их индивидуалистическая философия не столько декларируется, сколько проявляется в непосредственной жизненной практике. И Фолкнер, явно учитывая уроки русского писателя, отнюдь не стремится разоблачить индивидуалистическое своеволие своих героев при помощи словесных доводов и логических аргументов. Он исследует конечные результаты, непосредственные жизненные итоги героев. И введение в роман «множественности точек зрения» помогает Фолкнеру осмыслить финальные итоги необузданного своеволия Кристмаса, звериной эгоистической сущности Флема Сноупса. Вновь и вновь исследуя мотивы и поступки людей, одержимых «суетностью и гордыней», Фолкнер приходит к выводу о внутренней бесперспективности и нежизнеспособности индивидуалистических критериев. И потому чрезвычайно важен и многозначителен тот факт, что Флем Сноупс в финале трилогии не делает ни малейшей попытки к своему спасению и покорно подставляет себя под пулю Минка. Внутренняя обреченность и саморазрушительность индивидуализма, так ярко изображенная в романах Достоевского, вновь получает дополнительное подтверждение в трилогии Фолкнера.

В статье «Русская антология» Томас Манн писал: «Со времен Гоголя русская литература комедийна, комедийна из-за своего реализма, от страдания и сострадания, по глубочайшей своей человечности, от сатирического отчаяния, да и просто по своей жизненной свежести: но гоголевский элемент комического присутствует неизменно и в любом случае. Даже эпилептически-апокалипсический мир призраков Достоевского пронизан безудержной комедийностью, да он, кстати сказать, писал и явно комедийные романы, к примеру „Дядюшкин сон“ или исполненное шекспировского и мольеровского духа „Село Степанчиково“ <...> И если нам дозволено говорить голосом сердца, то нет на свете комизма, который бы был так мил и доставлял столько счастья, как этот русский комизм с его правдивостью и теплотой, с его фантастичностью и его покоряющей сердце потешностью — ни английский, ни немецкий, ни жан-полевский юмор не идут с ним в сравнение, не говоря уже о Франции, которая — *sec* (суха): и когда встречаешь что-либо подобное вне России, например у Гамсуна, то русское влияние тут очевидно».¹⁴

Одной из основных функций комического у Достоевского является разоблачение гипертрофированного самолюбия, непомерного честолюбия своих героев. Начиная с «Села Степанчиково» и кончая «Братьями Карамазовыми» писатель использовал комические средства для вскрытия внутренней пустоты индивидуалистического своеволия, безграничных притязаний ординарнейших

¹⁴ Манн Т. Русская антология. — Литературная газета, 1975, 4 июля, № 23.

личностей типа Фомы Опискина и Гаши Иволгина. Элементы комизма пронизывают и знаменитую сцену с чертом в романе «Братья Карамазовы», где черт пародирует философские концепции Ивана Карамазова, обнажая при этом их внутреннюю несостоятельность.

Исследователи уже указывали, что юмор Фолкнера «в значительной мере восходит к американской фольклорной традиции <...> Лошадиный торг и борьба покупателей-фермеров с плутнями барышника — традиционная тема американского крестьянского фольклора».¹⁵ Однако это лишь один несомненный аспект комического в трилогии Фолкнера. Другой аспект связан с функциональным значением комического в творчестве писателя, который вслед за Достоевским использовал комическое как средство для разоблачения внутренней сущности Флема Сноупса. Многочисленные реплики Рэтлифа и других героев трилогии пронизаны безудержным и едким комизмом, призванным вскрыть цинизм и безразличность этого накопителя, не брезгающего никакими средствами для достижения своих целей.

В критической литературе также отмечалось определенное воздействие сцены с чертом в «Братьях Карамазовых» на вставную новеллу в «Деревушке», где описывается в пародийно-иронических тонах беседа Флема Сноупса с Князем Тьмы. Так, В. Костяков пишет: «В „Деревушке“ сатана также используется для проверки Флема Сноупса, но как отлична эта сцена от разговора Ивана Карамазова с чертом. У Достоевского герой через болезненное воображение судит самого себя. У Фолкнера суд над Флемом вершит сам автор, превративший фантазмагорическую сцену в гротеск».¹⁶

Замечание исследователя в целом верно, однако нуждается в конкретизации. Комическое в данной сцене, как и вообще в трилогии Фолкнера, используется писателем для иронического вскрытия хищнического индивидуализма Флема Сноупса, с которым даже сам Князь Тьмы не может ничего поделаться и в разговоре с ним терпит поражение.

Для Фолкнера, как и для Достоевского, счастье, внутренняя гармония не могут быть достигнуты вне поисков путей преодоления внутренней замкнутости и одиночества. Становление личности человека происходит именно тогда, когда он отказывается от злобы, гордыни и ненависти и открывает свое сердце людям. «Когда Хайтауэр, — пишет американский критик Д. Нобл, — успешно принимает младенца, он участвует в чуде рождения новой жизни и впервые становится „мягким, сияющим и победоносным“». «Он искупил свои грехи и научился принимать мир

¹⁵ Старцев А. Трилогия Уильяма Фолкнера. — В кн.: Фолкнер У. Деревушка. М., 1964, с. 23—24.

¹⁶ Костяков В. Фолкнер и Достоевский. — В кн.: Американская литература. Проблемы романтизма и реализма. Краснодар, 1973, с. 97.

с любовью. Он достиг смирения, которое поможет ему принести жертву, что впоследствии сделает его в конце концов истинным слугой мира <...> Со своей стороны Крестмас полон не любви, а ненависти, и поэтому нет ему прощения и искупления грехов». ¹⁷

Современный американский исследователь Г. Пэйр видит главную заслугу Достоевского в том, что он вслед за Стендалем начал разрушение «классической концепции целостности человеческой природы». ¹⁸ Нам кажется, что это замечание не отражает существа дела, ибо для Достоевского разрушение рационалистической концепции цельности человека отнюдь не было самоцелью. Будучи «реалистом в высшем смысле слова» и исследуя сложность и противоречивость человеческой души, Достоевский в конечном счете стремился к восстановлению классической цельности и гармонии человека на новом, более высоком уровне. Пример тому — Алеша Карамазов, «человек странный, даже чудак». Однако эта странность и чудачество героя в последнем романе Достоевского выражают нормальную человеческую сущность и подчеркивают ненормальность окружающего карамазовского мира. Это новое понимание значения чудачков в жизни общества категорически утверждается автором уже в предисловии к роману: «Ибо не только чудак „не всегда“ частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались...» (14, 5).

Для «чудака» Алеши характерно отсутствие тщеславия и честолюбия, которые заставляли его сверстников «выставляться» и совершать подлости. Цель и смысл своей жизни он видел в непрестанном служении ближним, и, может быть, поэтому он всегда был «ровен и ясен». Эта ровная ясность в сочетании с открытостью характера и доброжелательным отношением к людям придавала ему необыкновенную привлекательность и обаяние. Образ Алеши Карамазова, равно как и образы его духовного наставника Зосимы и князя Мышкина, — свидетельство страстного стремления Достоевского к той самой гармонии и классической цельности, которую он, по словам Г. Пэйра, систематически разрушал.

В своих романах «Идиот» и «Братья Карамазовы» Достоевский сумел убедительно разрешить проблему положительного героя, выразить свой нравственно-эстетический идеал, и это в конечном счете также обусловило его значение для западной литературы XX в., в частности для Фолкнера. Фолкнеровские

¹⁷ Noble D. W. The Eternal Adam and the New World garden. New York, 1968, p. 174.

¹⁸ Peyre H. French Novelists of Today. New York, Oxford University Press, 1967, p. 29.

положительные герои — это также своеобразные чудачки, которые отличаются от окружающих людей отсутствием «суетности и гордыни», сжигающих человека, «тщеславия и суетной гордыни». Именно отсутствие этих качеств обуславливает светлую ясность и спокойно-доброжелательное отношение к людям негритянки Дилси из «Шума и ярости», Лины Гроув из «Света в августе», Гэвина Стивенса из трилогии о Сноупсах. Духовная привлекательность этих героев Фолкнера в том, что у них отсутствует эгоистическая устремленность к самоутверждению за счет других. Фолкнеровские чудачки сродни чудачкам Достоевского, которого сам Фолкнер ценил выше всех других писателей и, по собственному признанию, «читал и перечитывал чуть ли не каждый год».¹⁹

Тема «невинного человека», «проходящего по жизни», или тема «чудаков», не приемлющих окружающего меркантилизма и буржуазного стяжательства, нашла свое, пожалуй, наиболее яркое и оригинальное воплощение в произведениях Д. Стейнбека 30-х годов, творчество которого, по справедливому замечанию одного из советских критиков, «вскормлено русской и французской традицией».²⁰ Ученик Ш. Андерсона, поклонник Хэмингуэя, которого считал «прекраснейшим писателем нашего времени», Стейнбек в своих романах и повестях живописал примитивно-патриархальные нравы бродяг и чудачков, выбившихся из буржуазной колеи, противопоставляя их расчетливому и корыстному миру. «Чудаки, странные и добрые, незадачливые, ущербные существа, о которых с такой щемящей нежностью писал Шервуд Андерсон, — замечает Р. Орлова, — появились в творчестве Стейнбека еще в романе „Райские пастбища“ и многократно впоследствии возвращались на страницы его книг...».²¹

Главный герой повести «О мышах и людях» — очередной вариант «Идиота» или, по терминологии Т. Вулфа, «невинного человека». Огромный верзила, обладающий нечеловеческой силой, Ленни на первый взгляд кажется существом слабоумным, недоразвитым и почти кретином. Дружба между ним и Джорджем вызывает недоумение и насмешки у окружающих, которые не могут понять, с какой стати умный и практичный Джордж заботится о совершенно бесполезном для него «идиоте». Да и сам Джордж в сердцах говорит о том, как было бы хорошо, если бы с него свалилась эта обуза — заботиться о «дураке». «Боже праведный, — говорит он, — будь я один, я бы и горя не знал. Работал бы себе спокойно. Никаких забот, получал бы каждый месяц свои 50 долларов, ехал в город и покупал что хотел».²²

¹⁹ Faulkner in the University. New York, 1965, p. 69.

²⁰ Ландор М. Стейнбек и его критики. — Вопросы литературы, 1959, № 1, с. 243.

²¹ Орлова Р. Деньги против человечности. (Заметки о творчестве Джона Стейнбека). — Иностранная литература, 1962, № 3, с. 199.

²² Стейнбек Д. О мышах и людях. — Москва, 1963, № 8, с. 62.

В глубине души, однако, Джордж чувствует, что эти слова не выражают его истинного отношения к Ленни, что его ворчание сродни ворчанию любящей матери. И Ленни интуитивно догадывается об этом, потому-то он и любит слушать ворчание своего друга и даже не прочь иногда поиграть на этой слабости Джорджа. Несмотря на свое слабоумие, Ленни догадывается, что он необходим Джорджу, необходим потому, что один человек не может жить на свете в одиночку, ни о ком не заботясь, кроме самого себя. А именно так и живут окружающие их люди. «Вы все боитесь друг друга — вот что, — заявляет работникам фермы жена Кудрявого. — Всякий боится, что остальные против него что-нибудь замышляют».²³

«Человеку нужно, чтоб кто-то был рядом», — говорит в повести негр по прозвищу Горбун, и эти слова невольно заставляют вспомнить одного из героев Достоевского, который также утверждал: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти», «надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели» (6, 14, 15). Вслед за Достоевским Стейнбек говорит о необходимости пробывать скорлупу отчужденности и вражды, злобности и недоверия, о необходимости для одного человеческого существа находить путь к другому.

Современный американский критик Л. Гурко, отмечая, что еще Достоевский в «Идиоте» опроверг мнение о том, что история «идиота» может представлять ограниченный интерес, пишет: «Ленни Стейнбека значительный герой не потому, что его идиотизм подвергается тщательному анализу, но потому, что качества его характера в несколько ослабленной форме связывают его с нормальным миром: это его мечты, его жажда дружбы и домашнего спокойствия, его страсть к красоте, его верность и добродушие. Все это придает привлекательность его взаимоотношениям с Джорджем и очаровывает нас».²⁴

Сам Стейнбек, говоря о своем герое, подчеркивал, что «Ленни вовсе не символизирует безумие, он олицетворяет невнятные, но могучие томления всех людей».²⁵ И действительно, «идиот» Ленни вовсе не сумасшедший. Подобно князю Мышкину он отличается от других людей своей кротостью и беззлобностью, своей инстинктивной боязнью причинить зло другому человеческому существу. «Он не идиот, — говорит о своем друге Джордж. — Он бессловесный, но не сумасшедший».²⁶ И не случайно, что в обществе Ленни люди хотя бы на короткое время добреют душой, становятся мягче и лучше. Они словно видят в Ленни свои не-

²³ Там же, с. 95.

²⁴ Gurko L. The Angry Decade. New York, Evanston & London, 1968, p. 218.

²⁵ Цит. по: Watt F. W. Steinbeck. New York, 1962, p. 61—62.

²⁶ Стейнбек Д. О мышах и людях, с. 76.

реализованные потенции, свою невыразившуюся сущность и на миг утоляют свою потайную тоску по красоте, мягкости и добру.

Однако каким-то странным образом добрые намерения Ленни трансформируются в свою противоположность. Нечеловеческая сила Ленни обрекает на смерть все живое, что попадает в его руки, все то, что верзиле Ленни нравится гладить и ласкать. В сущности здесь Стейнбек остается верным своей биологической концепции жизни. В книге путевых заметок «Море Кортеса» он писал: «Есть в человеке странная двойственность, которая представляет этический парадокс <...> Добро, по нашему мнению, это мудрость, терпимость, великодушие, щедрость, смирение; такие же качества, как жестокость, себялюбие, хватка и прожорливость, обычно мыслятся как нежелательные. Однако в структуре нашего общества эти качества так называемого добра неизбежно ведут к краху, в то время как качества зла являются залогом успеха. Любой человек, с человеческой точки зрения, пока любит абстрактное добро и отвергает абстрактное зло, будет, однако, завидовать и восхищаться личностью, которая, обладая качествами зла, добилась успеха, экономического и социального <...> В отличие от человека, в применении к животным, мы заменяем понятие „добро“ термином „слабая жизнеустойчивость“».²⁷

Финальная гибель Ленни от пули Джорджа заставляет нас вспомнить о нравственно-психологической коллизии буржуазного общества, исследованной в свое время Достоевским в «Идиоте». Доброта Ленни — это нечто аномальное в буржуазном мире, и потому она обречена на поражение. Добро ничего не может изменить в мире зла и собственничества. Именно это обстоятельство обусловило появление в повести определенных модернистских тенденций.

²⁷ The Log from the Sea of Cortez. John Steinbeck. New York, 1951, p. 96.

СООБЩЕНИЯ. ЗАМЕТКИ



Р. Г. НАЗИРОВ

ДОСТОЕВСКИЙ И РОМАН У. ГОДВИНА

1

Имя У. Годвина, видного английского политического мыслителя и романиста, пользовалось значительной известностью у русских читателей прошлого века. Весьма знаменательно теплое, почти восторженное отношение Н. Г. Чернышевского¹ к этому самобытному философу, сделавшему из идей просвещения столь радикальные выводы, что в них он, по выражению молодого Ф. Энгельса, «граничит с коммунизмом».² Но и на другом крыле русской литературы в 60-е годы творчество Годвина нашло своеобразный отклик. Страстный защитник угнетенных, суровый критик буржуазного государства и права, Годвин привлек к себе внимание Достоевского.

Русский романист не оставил упоминаний о Годвине. Тем не менее между его художественным миром и лучшим романом Годвина «Вещи как они есть, или Приключения Калеба Уильямса» (1794) существуют определенные связи.

Еще О. В. Цехновицер в работе «Достоевский и социально-криминальный роман 1860—1870 гг.» заявил, что Достоевский — это «человек одной карьеры с Диккенсом, Жорж Занд и Годвином».³ Однако включение Годвина в один ряд с Достоевским осталось у Цехновицера не аргументированным.

М. П. Алексеев в очерке «Уильям Годвин» справедливо указал: «Годвин был одним из первых писателей, сумевших построить целый роман на мотиве преступления и наказания».⁴ Речь опять-таки идет о «Калебе Уильямсе», который нередко квалифицируется как один из ранних образцов криминального ро-

¹ Подробнее об этом см.: Алексеев М. П. Из истории английской литературы. М.—Л., 1960, с. 299—302.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 25—26.

³ Ученые записки ЛГУ, 1939, № 47, вып. 4, с. 273—303.

⁴ Алексеев М. П. Из истории английской литературы, с. 283—284.

мана. Эта книга по причине острой актуальности ее содержания для русских читателей жила в России дольше, чем у себя на родине (как это позже случилось с «Оводом» Э. Л. Войнич).

В предисловии к роману Годвин приоткрыл завесу над творческой историей «Калеба Уильямса», сам рассказав о том, как он конструировал сюжет: сначала Годвин построил историю преследования невинного человека организованными силами буржуазного государства; затем изобрел мотивировку преследования — тайну, в которую проник Кaleb, — и вину инициатора преследования — предательское убийство, которое было совершено и удачно сокрыто Фоклендом и за которое погибли на эшафоте два невинных человека; после этого писатель придумал завязку действия и, наконец, экспозицию.

Завершив столь рациональное конструирование сюжета, Годвин приступил к систематическому чтению отчетов о преступлениях и побегах, черпая из них необходимые детали. Только после этого он взялся за методическое исполнение плана, широко пользуясь при этом достижениями предшествующего английского романа — Дефо, Ричардсона, Филдинга и Энн Редклиф.

С особенной силой и достоверностью в «Калебе Уильямсе» показано, как функционирует аппарат социального преследования и кары, заботливо организованный цивилизованным обществом и теоретически оправданный просветителями типа Джереми Бентама, этого «гения буржуазной глупости».⁵ Еще В. Дибелиус в книге об английском романе, которая и по сей день сохраняет известное значение, показал, что мотив преследования является главным связующим мотивом всех приключений Калеба.⁶ Тот же мотив преследования играет первостепенную роль в «Преступлении и наказании» Достоевского.

Заметим, что и характер преследования в русском романе схож с английским: это государственная машина, даже более того — само цивилизованное общество преследует индивида, нарушившего установленный порядок вещей. Но в «Преступлении и наказании» проблема заострена изображением бунта личности против порядка, единицы против всеобщности: это традиция, идущая от «Медного всадника» Пушкина и на сегодняшний день активно изучаемая в нашей науке.

Рассмотрим внимательнее черты общности между романом Достоевского и «Калемом Уильямсом».

2

В первой главе второй книги «Калеба Уильямса» передаются «опасные разговоры», на которые герой провоцирует Фокленда, подозревая его в убийстве и увлекаясь своеобразной игрой с ог-

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 624.

⁶ Dibelius W. Englische Romankunst, 1-er Bd. Berlin, 1910, S. 379.

нем. Калеб задает Фокленду «наводящие вопросы», как у Достоевского это будет делать Порфирий Петрович:

«— Прошу вас, сэр <...> скажите мне, как случилось, что Александр Македонский был назван Великим?»

И далее Калеб поясняет свое недоумение:

«...— Хорошо нам, сидя здесь, слагать ему панегирики. Но могу ли я забыть, какой огромной ценой был сооружен памятник его славы? <...> Разве он не устраивал нашествий на народы, которые ничего бы о нем не слыхали, если бы он не опустошил их страны? Сколько сотен тысяч жизней уничтожил он на своем поприще? Что должен думать я о его жестокостях? <...> Да, человек в самом деле странное создание. Никого он не превозносит с таким восторгом, как того, кто сеет разрушение и гибель среди народов!»⁷

К этим речам близки по содержанию мысли Раскольников: «... Настоящий властелин, кому всё разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры...» (6, 211). Но не забудем об ином оценочном знаке: Калеб изобличает «исключительных» людей, Раскольников говорит о них в тоне злобного и завистливого восхищения.

На цитированные речи Калеба Фокленд отвечает:

«— На первый взгляд смерть ста тысяч человек вызывает сильное возмущение, но, в сущности, сотня тысяч таких людей — не то же ли самое, что сто тысяч овец? Разум, Уильям, порождение знания и добродетели, — вот что мы должны любить. Таков был и замысел Александра. Он предпринял огромное дело — просветить человечество, он освободил обширный азиатский материк от глупости и развращенности персидской монархии...» (131).

Так Фокленд сам разоблачает свое аристократическое просветительство (заметим, что просветительская идеология Годвина имела прямо противоположную социальную окраску). Если цель исторического героя — «просветить человечество», то как она согласуется с таким презрением к конкретным жизням? Как сказал Гегель, «истина конкретна»; тем не менее замена конкретности абстракцией была характерна для определенных школ рационалистической философии. Практическое приложение подобной философии порождало абсурд: такой философ просвещает, убивая. Для Фокленда «сто тысяч людей» (низшего разряда) равны «ста тысячам овец». Поневоле напрашивается вопрос в духе Сони Мармеладовой: «Это человек-то овца?»

Аргументы Фокленда предваряют наполеоновскую идею Раскольникова. Юный секретарь лендлорда убедительно опровер-

⁷ Годвин У. Калеб Уильямс. М.—Л., 1961, с. 131. — Далее ссылки даются в тексте на это издание.

гает эти аргументы: «— И все-таки, сэр, боюсь, что копые и секира — неподходящие орудия для того, чтобы делать людей умными. Допустим, было бы признано, что можно без угрызений совести приносить в жертву человеческие жизни, если следствием явится высшее благо, — даже и тогда, мне кажется, убийство и кровопролитие оказались бы очень неудачным способом насаждения просвещения и любви. Но скажите, не думаете ли вы, что этот великий герой был своего рода сумасшедшим?» (132).

Допущение Калеба о правомочности «героев» приносить людей в жертву «высшему благу» — это всего лишь диалектический прием. В «Преступлении и наказании» аналогичное допущение станет аксиомой Раскольникова: можно «проливать кровь по совести», можно приносить в жертву человеческие жизни, если следствием явится «высшее благо». И сумасшедшими (в момент преступления) Раскольников считает не завоевателей мира, а заурядных убийц. Характерно для него и фоклендовское смешение императоров с мудрецами под одной рубрикой «благотелей и установителей человечества» (Кеплер, Ньютон, Ликург, Солон, Магомет, Наполеон).

В диалогах Калеба и его патрона уже заключена *in gerito* проблема наполеонизма, и даже отчасти с готовой аргументацией *pro* и *contra*. В 1794 г., когда генерал Бонапарт блуждал по Парижу без куска хлеба, Годвин в своем романе опережал историю, формулировал проблему, которая в дальнейшем получила имя Наполеона. В 1866 г. он превратится в символ того же ряда, что Александр Великий и Юлий Цезарь. Хочется подчеркнуть, что Годвин осознавал историческую актуальность этой проблемы. Кaleb у него говорит:

«— Значит, сэр, Александр в конце концов пользовался только теми средствами, которые употребляют по его примеру все политические деятели? Он насильничал над людьми, чтобы сделать их мудрыми, и обманом заставлял их гоняться за собственным счастьем...» (132).

Перед этим речь шла о том, для чего Александр провозгласил себя богом в Египте. Фокленд отстаивает благотворный обман как необходимый инструмент манипулирования массами (идея Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых»). Насильственное просвещение для английского романиста неприемлемо. Выраженное в словах Калеба отвращение Годвина ко всякой грязной политике не столь уж далеко от присущей Достоевскому имплицитной критики всякой государственности, основанной на отчуждении личности.

Когда Фокленд, спровоцированный своим секретарем, теряет выдержку, он обнаруживает под «любовью к разуму» свой крайний индивидуализм (любовь только к своему собственному разуму):

«— Презрение к вселенной и законам, которые правят ею! Честь, справедливость, добродетель — все это обманы бездельни-

ков! Если бы это было в моей власти, я в один миг обратил бы все это в ничто!» (138).

Он бы «убил принцип», говоря словами Раскольникова, который чуть ли не в тех же выражениях поносит традиционную мораль: «...предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..» (6, 25).

Уже на основании приведенных сравнений мы можем сказать, что Достоевский в «Калебе Уильямсе» мог бы найти некоторые «прототипы идей», как М. М. Бахтин определил источники художественного образа идеи в романах Достоевского. Однако русский романист был не пассивным реципиентом посланий из прошлого, а спорщиком — он вступал со своими предшественниками в глубоко содержательный диалог.

Фокленд рассуждает так, как будет рассуждать Раскольников. Но у Годвина убийца является гонителем, мобилизующим на травлю Калеба все силы английской полиции. У Достоевского убийца показан гонимым и затравленным, как Калев. И он придает Раскольникову такое же отчаянное мужество, фанатическую верность самому себе.

Споры, аналогичные спорам Фокленда и Калеба, концентрируются в сознании самого Раскольникова, хотя и обрамленном вторящими, как эхо, голосами-сознаниями других персонажей. М. М. Бахтин справедливо указал на диалогизированность внутреннего монолога героев Достоевского. Добавим к этому, что в некоторых случаях, по нашим наблюдениям (отчасти изложенным выше), внутренний диалог у Достоевского генетически связан с идейным диалогом в романах писателей-предшественников. Монолог у Достоевского произошел из диалога.

2

Эпопею гонимого в «Преступлении и наказании» Достоевский строит, по нашему предположению, с использованием некоторых деталей и мотивов «Калеба Уильямса».

Так, например, Калев читает распространяемую на улице брошюру с объявлением о розыске опасного преступника (т. е. самого себя) и с описанием его примет. Теперь против него выступает уже не только «Боу-стрит» (улица, на которой тогда находился лондонский центр уголовного розыска, управлявший отрядом сыщиков — the Bow-street-runners), против него вооружился уже «миллион людей». Один против общества — это наполняет Калев отчаянием.

Между Калевом и Раскольниковым пролегла вся эпоха романтизма, и Достоевский развивает этот мотив весьма оригинально. Раскольников, едва оправившись после болезни, спешит найти в газетах отчет о своем преступлении и «жадно» отыскивает «позднейшие прибавления». Он упивается этим отчетом. Один против общества — это наполняет Раскольникова мрачным

наслаждением; «эстетизм зла» толкает его на опасную игру с Заметовым, в которой он производит потрясающий эффект и в которой это наслаждение поднимается до градуса истерии.⁸

Калев, скрываясь от властей, принимает разные личины, ведет фальшивую жизнь (он сознает, что вся его жизнь стала ложью). Он контролирует на каждом шагу свой поддельный характер, поддельные манеры и даже поддельный акцент (ведь он на самом деле говорит на чистом английском языке). Точно так же Раскольников, проявляя сумасшедшую хитрость, непрерывно играет роль и проверяет сам себя, боясь упустить хоть малейшую деталь: «Стотысячную черточку просмотришь — вот и улика в пирамиду египетскую!» (6, 210).

Калев думает о самоубийстве на лондонском мосту, как Раскольников колеблется над Невой. Калев в черном отчаянии принимает решение бороться без надежды на победу; такого же рода злобный стоицизм Раскольникова, уже осознавшего, что он не Наполеон, а «эстетическая вошь». Калев в конце концов безвольно позволяет арестовать себя; Раскольников, отнюдь не считая свою идею ложной, все-таки является в полицию с повинной. Все эти параллели имеют в основном внешнее, ситуационное значение.

Ибо Достоевский в положение затравленного Калеба, в положение гонимого и несчастного ставит настоящего убийцу. Гонимая невинность требует от нас обязательного сострадания, поэтому и наскучили сентиментальные романы; но вот пожалеть преступника — для этого нужен более широкий гуманизм. Изображая мучительную борьбу Раскольникова против следователя, Достоевский добивается огромного читательского сопереживания. Разумеется, писатель — против убийства, но он не сочувствует и полицейской машине цивилизованного общества, хитрой механике уловления преступника. Для Достоевского единственно подлинное наказание есть самонаказание, а потому убийца не должен быть разоблачен следователем: отсюда — эпизод с повинной Миколки Дементьева, срывающего великолепно задуманную психическую атаку Порфирия Петровича.

Поняв антигуманность своих ухищрений, умный следователь перестает издеваться над Раскольниковым и, придя к нему домой, просит его явиться с повинной — по-человечески советует и просит. Калев невольно восхищался дарованиями и сильным характером Фокленда; так и Порфирий восхищается незаурядной личностью Раскольникова: «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем» (6, 352).

Поскольку для Достоевского, противника и канцелярского суда, и суда присяжных, и смертной казни, любое юридическое

⁸ См.: Назиров Р. Г. Проблема читателя в творческом сознании Достоевского. — В кн.: Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978, с. 228.

преследование в современных ему бездушных формах выглядит неправым гонением, постольку оказывается возможным соединить в Раскольникове черты убийцы и «жертвы общества». Так снимается оппозиция Фокленда и Калеба Уильямса — в Раскольникове оба они слились.

Достоевский никогда не снимает с человека ответственности: это означало бы неуважение к личности героя. Он вовсе не оправдывает своего убийцу, а ищет путей его нравственного спасения.

Вне всяких сомнений, «Преступление и наказание» идейно и типологически более близко Пушкину, Бальзаку и Диккенсу, чем Годвину. Но у последнего, кроме авантюрного материала и психологических деталей, Достоевский все же мог почерпнуть кое-что психологически важное для создания субстанции идей Раскольникова.

Пафос ненависти к порочной цивилизации соединен у Раскольникова с аристократической, фоклендовской, наполеоновской брезгливостью к человечеству. Как возможно такое совмещение высокомерно-абстрактной идеи «права на преступление» с гуманистическим социальным протестом (если не считать этот протест бессознательной ложью)?

Это совмещение становится возможным потому, что Достоевский относится и к наполеоновской идее, и к философскому бунту против цивилизации с нетеоретических позиций. Комплексная идея (плод контаминации двух враждебных «идей-прототипов») противопоставляется эмоциональным и неточным фиксациям непосредственного нравственного опыта: философия противопоставляется жизни. Антитезой идеи Раскольникова выступают жертвенное горение Сони, явка с повинной безгрешного Миколки, плач и крики толпы, подающие купчихи, пожалевшей Раскольникова после удара кнутом на мосту, и многое другое: «... в страдании есть идея». Страдание не умеет формулировать, но его нравственный опыт сильнее правильных силлогизмов.

В романах Достоевского теоретические идеи поверяются, как об этом неоднократно писалось советскими учеными, практикой, и ни одна отвлеченная доктрина экзамена не выдерживает.⁹

«Идеи-прототипы», попадая в роман Достоевского, часто видоизменяются до неузнаваемости благодаря новой сюжетной реализации и сращению с новыми носителями идей. Подтверждение тому мы находим и в повести «Вечный муж». Кстати, это еще один пример, подтверждающий близость Достоевского к Годвину.

⁹ См.: Фридлендер Г. Достоевский в современном мире. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1974, с. 20.

«Вечный муж» кажется всесторонне изученным, а между тем до сих пор не отмечено, что кульминация повести имеет аналогии в романе Годвина.

Напомним, что в этой сцене Трусоцкий сперва трогательно ухаживает за больным Вельчаниновым, согревая его горячими тарелками. Вельчанинов слезно благодарит его и засыпает. Ему снится жуткий сон. Пробудившись с криком, он инстинктивно бросается в сторону невидимой опасности и в полной темноте хватается занесенную над ним бритву; борется с подкравшимся к нему Трусоцким и, одолев, связывает его. Напомним, что в III книге романа Годвина Кaleb попадает в разбойничий приток, где навлекает на себя ненависть бандитской стряпухи. Однажды он остается с нею один в доме. Замечтавшись, он засыпает.

«Не могу точно припомнить всех образов, которые проносились передо мной, когда я был в этом состоянии, но знаю, что они окончились представлением о каком-то человеке, которого подослал мистер Фокленд и который приближается, чтобы убить меня <...> Мне чудилось, что убийца хочет захватить меня врасплох, что мне известны его намерения, но что я словно околдован и не думаю уходить. Я слышал шаги убийцы, который осторожно приближался ко мне. Я как будто улавливал его дыхание, которое он старался затаить. Он дошел до угла, где я находился, и стал. Положение сделалось слишком страшным. Я вздрогнул, открыл глаза и увидел знакомую читателю отвратительную старуху, склонившуюся надо мной с большим, как у мясника, ножом в руке.

Я откинулся с быстротой, казалось, слишком стремительной для движения, и удар, предназначенный для моего черепа, бесильно обрушился на кровать. Прежде чем она успела выпрямиться, я бросился на нее, схватил ее нож и вырвал его у нее из рук, но в одно мгновение к ней вернулись и прежняя сила, и ужасное намерение, и между нею, подстрекаемой закоренелой злобой, и мной, защищающим свою жизнь, началась бешеная борьба. <...> Наконец, я оказался победителем, вырвал у нее смертоносное оружие и опрокинул ее на пол» (269).

Старуха, подползающая с ножом к спящему, в «Вечном муже», естественно, не фигурирует: ее заменил злобный рогоносец (полемиический вариант Шарля Бовари). Ситуация из «Калеба Уильямса» психологически переосмыслена Достоевским до неузнаваемости. Не говоря о других лицах, Достоевский гораздо тщательнее подготовил эффект неожиданности. Покушение Трусоцкого выглядит совершенно внезапным и в то же время воспринимается как нечто давно назревшее: слишком много недомолвок и косых взглядов накопилось в сюжете. Не сразу разъясняется сложная мотивировка покушения, окончательно мы постигаем ее только в финале «Вечного мужа». Разгадывание

мотивировки составляет интерес дальнейшего действия. У Годвина, наоборот, покушение старухи объяснялось бегло и односложно: драматизм приключения по сути дела был самоцелью.

Годвиновский эпизод трансформирован Достоевским путем замены обстановки, действующих лиц и мотивировок. Осталась неизменной только динамическая модель эпизода с ее общим эмоциональным эффектом. Гонимый Калев заменен фатоватым Вельчаниновым, который, однако же, тоже испытывает ощущение преследуемого; истерической мстительностью бандитской стряпухи наделен презренный Трусоцкий, который тем не менее тоже оказывается неожиданно страшен. В «Вечном муже» Достоевский использовал уже не философские темы Годвина, а только структуру одного эпизода из его романа. Однако структура эта в высшей степени «идееносна».

Смысл ее, не только сохраненный, но и усиленный парафразой Достоевского, заключается в жестокости и низости покушения на спящего (моральный план) и в переходе кошмара в реальность (психологический план). Действительно оказывается прямым продолжением сновидения, ибо Вельчанинов подсознательно предчувствовал месть Трусоцкого. Спасительный инстинкт будит спящего в последний миг перед смертельным ударом. Эта структура в обоих случаях создает ощущение непредсказуемости жизни и открывает возможность ее подсознательного постижения. Годвин был просветителем, хотя и не обычным, у него цитированный эпизод скорее случаен и объясняется влиянием готического романа (вспомним хотя бы «Итальянца» Энн Редклиф и фигуру Скедони, входящего в спальню Эллены с лампой и стилетом). Достоевский, повторив ситуацию Годвина, придал ей первостепенную важность в повести «Вечный муж».

Из всего сказанного следует вывод, что связи Достоевского и Годвина не поверхностны — ими опосредованы более глубокие, духовные связи. Художественные аргументы годвиновского «libertarian socialism»,¹⁰ его мечты о свободе и справедливости, размышления о природе власти и роли насилия в истории послужили «прототипами» для некоторых идей Достоевского.

Протест Годвина против социальной несправедливости, критика сословного государства, борьба за достоинство личности нашли у Достоевского, быть может, не менее живой и сочувственный отклик, чем у автора «Что делать?» и «Пролога». Это не первый случай разительного «совпадения противоположностей», наблюдаемого в художественном творчестве двух непримиримых идейных противников — Чернышевского и Достоевского.¹¹

¹⁰ Термин Герберта Рида: Godwin William. A biographical study by George Woodcock with a foreword by Herbert Read. London, (1946), p. IX.

¹¹ См.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики у Достоевского. М., 1972, с. 112—118.

ЗАМЕТКИ О ПОЧВЕННОМСТВЕ

Несмотря на то что термин «почвенничество» сравнительно давно утвердился в научной литературе и употребление его как будто не вызывает спора, сущность явления, им обозначаемого, остается непроясненной.¹ Цель настоящих заметок, имеющих тезисный характер, — обратить внимание на тот аспект изучения почвенничества, который представляется нам наиболее плодотворным. (Здесь и далее мы говорим о почвенничестве, каким оно представало прежде всего в конце 50-х—начале 60-х гг. XIX в., в период издания «Времени» и «Эпохи»).

Одна из трудностей, встающих перед исследователем, сформулирована еще Достоевским в письме брату от 13 апреля 1864 г.: «Направление наше, конечно, для публики несомненно, но статей-то, *специально* разрабатывающих направление, мало» (П., I, 365—366). Подобного рода статьи в «Эпохе» до конца ее существования так и не появились; и, в частности, задуманная Достоевским работа о русских историках, в которой, как сообщалось брату 2 апреля 1864 г., «все идеи „Эпохи“ о „почве“ должны быть выражены» (П., I, 354).

В то же время, анализируя немногочисленные программные документы почвенничества, необходимо отдавать отчет в том, что сам их характер в известном смысле противоречил духу этого направления. Дело в том, что уже при своем возникновении почвенничество сознательно отказывалось от сколько-нибудь окончательного разрешения тех вопросов, которые оно обсуждало. Н. Н. Страхов, вспоминая о начальной поре кружка Достоевских—Григорьева, писал, что Федор Михайлович видел в почвенничестве «совершенно новое, особенное направление, соответствующее той новой жизни, которая видимо начиналась в России, и долженствующее упразднить или превзойти прежние партии западников или славянофилов. *Неопределенность самой мысли не пугала его, потому что он твердо надеялся на ее развитие*» (курсив мой, — А. О.).²

В этой связи требует уточнения традиционная характеристика, которая дается Страхову. «Мысль о *новом направлении*, — вспоминал он позднее, — однако же, сперва занимала меня, особенно вследствие влияния Ап. Григорьева; но очень скоро,

¹ Из последних работ, специально посвященных этой теме, см.: Гуральник У. А. Достоевский, славянофилы и «почвенничество». — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 427—461; Андреев И. И. К оценке философско-исторической концепции почвенничества. — В кн.: Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. М., 1973, с. 312—324.

² Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 199.

может быть по своему нерасположению к неопределенности, я порешил, что нужно прямо признавать себя славянофилом...».³ Автор статьи «Достоевский и Страхов» — наиболее капитальной работы на интересующую нас тему — А. С. Долинин приводит данное высказывание, но тем не менее считает Страхова наиболее репрезентативной фигурой по отношению к почвенничеству, поскольку это направление, на взгляд исследователя, могло самовыявиться, либо переходя на позицию Герцена, либо солидаризуясь со славянофильством.⁴ Нам же представляется, что нет оснований не доверять Страхову, который говорил о своем почвенничестве (да и то не последовательном) лишь применительно к периоду издания «Времени».⁵ А в 1864—1865 гг. именно его геллертерству принадлежит решающий вклад в славянофилизацию, если можно так выразиться, последнего журнала Достоевского.

Если бы мы даже не знали доподлинно о том, что первый «манифест» почвенничества — «Объявление о подписке на журнал „Время“» (1860) — был написан Ф. М. Достоевским, то сомнения в авторстве все равно вряд ли бы возникли: М. М. Достоевский в ту пору был поглощен организационными заботами, Страхов, как следует из его собственного признания, на подобную роль и не мог претендовать, а Ап. Григорьев, не говоря уже об особенностях его натуры, исключавших всякое выступление в аналогичном жанре, вообще стремился растворить и так расплывчатую — в социальном плане — мысль почвенничества в «беспредельности».⁶ (В лучшем случае он указывал: «Иной <цели>, кроме знамени *народности* в широком смысле, ему <„Времени“> и иметь нельзя».⁷

Страхов пронизательно заметил о Достоевском: «Он, так сказать, необыкновенно живо *чувствовал мысли*. Тогда он высказывал ее в различных видах, давал ей иногда очень резкое, образное выражение, хотя и не разгъяснял логически, не развертывал ее содержания».⁸ Эта характеристика вызвана как раз «Объявлением о подписке на журнал „Время“». В нем Достоевский декларировал наступление «огромного переворота» в русской жизни: «Этот переворот есть слитие образованности и ее пред-

³ Там же, с. 205.

⁴ См.: Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.—Л., 1963, с. 317—318.

⁵ См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, с. 205.

⁶ Григорьев А. Воспоминания. М.—Л., 1930, с. 356. Об этом см.: Осповат А. Л. К изучению почвенничества (Достоевский и Ап. Григорьев). — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 3. Л., 1978, с. 149—150.

⁷ Из письма к Страхову от 21 декабря 1861 г. — В кн.: Григорьев А. Воспоминания, с. 486.

⁸ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, с. 195.

ставителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни...» (18, 35). Именно это «примирение цивилизации с народным началом» (18, 37) и означает обретение русским обществом своей преродной почвы.

В такой — или близкой к ней — формулировке эта мысль варьируется на протяжении всех лет издания «Времени» и «Эпохи». Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (1861) Достоевский писал, что, так как «цивилизация уже совершилась у нас весь свой круг», ее носители обязаны теперь обратиться «к родной почве» (18, 49). Эта мысль по сути дела является главным и единственным постулатом почвенничества в плане общественно-историческом.⁹ Совершенно оригинальным его назвать нельзя: оторванность образованного слоя русской нации от «почвы» еще в 1847 г. констатировал К. С. Аксаков;¹⁰ через пять лет термин «почва» в схожем смысле употребил Е. Н. Эдельсон в статье «Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической критики».¹¹ Да почвенники и не настаивали на своем приоритете; в заметке «От редакции» («Время», 1861, № 1) говорилось, что мысль о соединении с «почвой» явилась не впервые: «Она давно уже вырвалась наружу и искала заявить себя: и в горячем слове, и в надеждах на будущее, и в охлаждении к обоим старинным партиям, еще так недавно разделявшим всю мыслящую часть нашего общества» (18, 115).

И не так уж неправ был И. С. Аксаков, когда в письме Стрехову от 6 июля 1863 г. заявлял, что в почвеннических декларациях не содержался новый взгляд на проблему взаимоотношения народа и общества.¹² Действительно, славянофилы если не впрямую утверждали будущий тезис почвенников, то во всяком случае его подразумевали (см., например, статью Ю. Ф. Самарина «О мнениях „Современника“ исторических и литературных» или, скажем, комедию К. С. Аксакова «Князь Луповицкий»).

Рядовыми же современниками «Время» квалифицировалось как «невывыказанный журнал»,¹³ более пронизательное суждение,

⁹ На наш взгляд, несостоятельна попытка представить ключевым в «концепции» почвенничества понятие «культурно-исторический тип», а Ап. Григорьева объявить главным предтечей Н. Я. Данилевского (см.: Андреев И. И. К оценке философско-исторической концепции почвенничества, с. 314—320).

¹⁰ Имрек «Аксаков К. С.» Три критические статьи. — В кн.: Московский ученый и литературный сборник на 1847 год. М., 1847, отд. критик, с. 41.

¹¹ См.: Москвитянин, 1852, № 6, отд. III, с. 52.

¹² См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, с. 256—257.

¹³ Штакеншпейдер Е. А. Дневник и записки. Л., 1934, с. 332.

впрочем, высказано в письме А. С. Суворина к М. Ф. Де Пуле от 28 августа 1861 г.: «А у „Времени“, по крайности, инстинкты пробуждаются, хоть оно не в состоянии еще формулировать своих убеждений, потому что их не выработано еще».¹⁴ Высказывание Суворина вполне корреспондирует с отмеченной Достоевским «неопределенностью мысли», пахотящейся в «развитии» (см. выше; ср. также запись Достоевского 1862 г., в которой подчеркнуто: на вопрос о конкретных путях воссоединения общества с народом «мы не можем отвечать ясно и точно, отчасти уже и потому, что вопрос этот до того громаден, что мы не берем на себя его разрешение»¹⁵). А с другой стороны, Григорьев постоянно упрекал орган своих единомышленников в несамостоятельности, имея в виду недопустимую, на его взгляд, оглядку журнала на изменчивую общественно-литературную конъюнктуру тех лет.¹⁶

Как бы подводя итог изданию «Времени», Достоевский писал брату 19 ноября 1863 г.: «...наш журнал <...> был все время до крайности наивен и, черт знает, может быть, и взял наивностью и верой» (П., I, 340). Эта характеристика (прямо переключаящаяся с представлением об идеале у Григорьева: «он только вера, вера в жизнь и в народ»¹⁷) не исчерпывает, однако, всего реального содержания почвенничества.

Показательно для почвеннического направления само *предощущение* будущего, упование на него (ср. выше аналогичные выражения Достоевского), но главное в почвенничестве — решительное выдвигание на первый план факторов культурного порядка. В статье «Роковой вопрос» Страховым, так сказать на нижнем этаже почвенничества, была — пусть и не так внятно — высказана идея, которую впервые формулировал Достоевский. Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (1861) он писал, «что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой всё сойдется и примирится, — это всеобщее духовное примирение...» (18, 50). И Достоевскому известен тот уникум русской культуры, который воплощает «всеобщее духовное примирение». — «Да, — заключает он во „Введении“, — мы именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека <...> Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность» (18, 69).

¹⁴ Лит наследство, т. 86, М., 1973, с. 382.

¹⁵ Лит. наследство, т. 83, М., 1971, с. 158.

¹⁶ См.: Григорьев А. Воспоминания, с. 442, 476—477, 485—486.

¹⁷ Там же, с. 356.

Как нам представляется, эти строки дают ключ к истолкованию почвенничества. Уже из сказанного выше явствует, что почвенничество самоосознавалось принципиально иным путем, нежели славянофильство и западничество, в слишком жестком соотношении с которыми оно обычно рассматривается; почвенничество последовательно ориентировалось на самую жизнь в ее течности (а в конце 50—начале 60-х гг. общий слом традиционного уклада ощущался очень остро), и попытки опередить мыслью движение нации почвенники считали бессмысленными и отражающими ничем не подкрепленные амбиции славянофилов и западников — «теоретиков» и «доктринеров» (см. запись Достоевского 1862 г. о нежелании «бездарно стремиться вперед — не зная куда, не с историей, а за теорией»¹⁸). В свете же приведенного высказывания Достоевского становится очевидным, что содержательность почвеннической попытки «превзойти» односторонность славянофильства и западничества может быть раскрыта лишь в том случае, если мы откажемся рассматривать почвенничество как законченную, однозначную идеологическую доктрину, а увидим здесь явление, обращенное к будущему. В русской культуре почвенники находили доказательства того великого предназначения России, осуществление которого виделось им в наступающем и будущем периодах ее истории. Явление Пушкина в глазах сотрудников «Времени» и «Эпохи» было в этом смысле более весомым аргументом, чем сознание религиозной избранности или любые соображения позитивистского толка.¹⁹

Можно сказать, что почвенничество в это время представляло собой новый творческий опыт самосознания русской культуры — на фоне распада двух идеологических структур — западничества и славянофильства, — противостояние которых определяло духовную атмосферу русского общества предшествующих десятилетий.

Культурную основу своего направления почвенники сознавали вполне отчетливо. Страхов писал Достоевскому в середине марта 1868 г.: «Для меня необыкновенно дороги честь и значение *нашего литературного кружка*»;²⁰ еще позже он утверждал, что «никакие другие кружки не были больше преданы литературе».²¹ И не случайно, конечно, Достоевский (в цитированном

¹⁸ Лит. наследство, т. 83, с. 158.

¹⁹ Не рассматривая здесь вопрос о дальнейшей идейной эволюции Достоевского, отметим лишь, что в период создания «Бесов», он склонялся к близкому славянофильству толкованию роли русского православия (см.: 11, 187 и др.; любопытно, что неприятие славянофильства при этом сохранялось — см.: 11, 186), а в «Пушкинской речи» снова проявилось собственное почвенническое воззрение.

²⁰ Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. М.—Л., 1940, с. 259.

²¹ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, с. 313.

письме от 13 апреля 1864 г.) настойчиво советовал брату (комплектовавшему очередную книжку «Эпохи»): «Похлопочи только о критике, главное о критике» (П., I, 365). Напомним также статью М. М. Достоевского о «Грозе» Островского — первую, по мнению Г. М. Фридендера,²² декларацию почвенничества; уже в ней содержалась весьма примечательная оценка: «Г-н Островский в своих сочинениях не славянофил и не западник, а просто художник, глубокий знаток русской жизни и русского сердца».²³

И почвенники имели все основания гордиться тем, что, акцентируя внимание на культурно-историческом аспекте традиционной проблемы о назначении России, они первыми осмыслили явление Пушкина в его подлинном масштабе. «На пушкинском торжестве, — заявлял Страхов о празднике 1880 г., ознаменованных речью Достоевского, — должна была одержать верх та партия, которая во все продолжение последних тридцати лет питала и исповедывала поклонение Пушкину...»;²⁴ здесь очевидна мысль о непрерывности почвенничества вплоть до смерти Достоевского, но, может быть, еще важнее суждение о том, что истоки почвеннического восприятия Пушкина можно проследить с начала 50-х гг. Страхов имеет в виду, конечно, выступление Григорьева, начиная с периода «молодой редакции „Москвитянина“».

Те характеристики Пушкина, которые содержались у Григорьева (см., например: «Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности <...> полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности...»²⁵), безусловно оказали влияние на заключительные строки «Введения» к «Ряду статей о русской литературе». Достоевский лишь укрупнил масштаб, придал русскому поэту всемирное, «всечеловеческое» значение и одновременно увидел в нем первого «почвенника», что также в известном смысле было развитием идей Григорьева. Очень существенным обстоятельством явилось и то, что своей интерпретацией Пушкина почвенники, как им казалось, могли наглядно «превзойти» и славянофилов, и западников (на пристальный взгляд Достоевского и Григорьева, обе партии — в силу разных причин — равно недооценивали поэта).

²² См.: Фридендер Г. М. У истоков «почвенничества». (Ф. М. Достоевский и журнал «Светоч»). — Изв. АН СССР (серия лит-ры и языка), 1971, т. XXX, вып. 5, с. 400—410.

²³ Светоч, 1860, № 3, Критическое обозрение, с. 5.

²⁴ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, с. 313.

²⁵ Григорьев А. Литературная критика. М., 1967, с. 166.

Во время своего первого заграничного путешествия Достоевский 26 июня (8 июля) 1862 г. отправил из Парижа Н. Н. Страхову в Петербург письмо, в котором назначал ему свидание в Женеве 20—22 июля ст. стиля (П., II, 309—312). 10 июля Страхов ответил Достоевскому, что будет в Женеве к назначенному времени (ГБЛ. Ф. 93.П.9.19; ср.: Описание рукописей Ф. М. Достоевского, М., 1957, с. 489). Около 22 июля (4 августа) Достоевский и Страхов встретились в Женеве, откуда съездили в Люцерн, а затем вместе через Турин направились во Флоренцию, где пробыли около недели. Страхов вспоминает об этой поездке и о совместной жизни с писателем во Флоренции: «Мы пустились в путь через Монсенис и Турин в Геную; там сели на пароход, на котором приехали в Ливорно, а оттуда по железной дороге во Флоренцию. В Турине мы ночевали, и он своими прямыми и плоскими улицами показался Федору Михайловичу напоминающим Петербург. Во Флоренции мы прожили с неделю в скромной гостинице Pension Suisse (Via Tornabuoni).¹ <...> наши прогулки по городу были очень веселы, хотя Федор Михай-

Non abbonati ci offrono al Gabinetto Scientifico-Letterario

1862

di G. P. VISUSSEUX.

luglio	16.	x	Giuseppe Pirelli di Firenze pag. 20 scade
"	"	x	Luscher Luigi di Firenze D. L. Cassa 717. pag. 11. pag. 12
"	"	x	Theodore Dostoyevsky 3 Mod. Suisse Nume 1075 pag. 11. pag. 12
"	"	x	Rod. Kuser M. D. per un anno paid.
"	17		Franchetti. Via della fornace nell'orto della torre - 1 maggio 1862.
"	"		P. Mandelli Sobani - Ob. di via Roma 1862. pag. 12

¹ Швейцарский пансион (улица Торнабуони). — *Ред.*

лович и находил иногда, что Арно напоминает Фонтанку, и хотя мы ни разу не навестили *Кашин* <...> Во Флоренции мы расстались; он хотел, если не ошибаюсь, ехать в Рим (что не состоялось), а мне хотелось хоть неделю провести в Париже, где он уже побывал». ²

Как сообщил нам член Международного общества по изучению Достоевского ученый и литератор А. Н. Гедройц (Брюссель), во время пребывания в Италии в 1974 г. ему удалось установить название и местонахождение читальни, которую Достоевский посетил в 1862 г., в дни, проведенные во Флоренции в обществе Страхова. А. Н. Гедройцу довелось также разыскать в книге посетителей этой читальни запись, сделанную 16 августа 1862 г. рукою Достоевского. Читальня эта называлась по имени основавшего ее в начале XIX века швейцарского мецената «Научно-литературный кабинет Дж. П. Вьёсё» («Cabinetto Scientifico-letterario di G. P. Vieusseux») и помещалась в нижнем этаже старинного флорентийского дворца Палаццо Строцци. С любезного разрешения А. Н. Гедройца, предоставившего в наше распоряжение ксерокопию страницы указанной книги для записи посетителей читальни Вьёсё, на которой Достоевский в ряду других посетителей записал свое имя, мы публикуем в данном сборнике факсимиле ее. Вот перевод записи: «Федор Достоевский. Заплачено за неделю». ³ Адрес: Швейцарская гостиница. № 20». Обнаруженная А. Н. Гедройцем запись позволяет датировать точно время пребывания Достоевского со Страховым во Флоренции в 1862 г.: с 15—16 по 21—22 августа (т. е. с 3—4 по 9—10 августа ст. стиля) и указывает на то, что и здесь, как везде, писателя не покидает горячий интерес к повестям, печатавшимся в русских и заграничных газетах и журналах.

В своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская пишет, что когда в 1868 г. она с мужем приехала во Флоренцию, здесь «нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами», и Достоевский «ежедневно заходил туда их читать после обеда». ⁴ Вероятно, под «читальней» здесь имеется в виду тот же Научно-литературный кабинет Вьёсё, с которым Достоевский впервые познакомился в 1862 г. и который он продолжал посещать во время их совместной жизни во Флоренции в 1868—1869 гг.

² Страхов Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском. — В кн.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 243—245; ср. также: Лит. наследство, т. 86. М., 1973, с. 384, 560, 561.

³ Было: Упложено 20 франков.

⁴ Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 181.

**ДОПОЛНЕНИЯ К КОММЕНТАРИЮ
«ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

1. Анекдот о кавалере де Рогане

В третьей главе «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевский привел анекдот, который, по его словам, он затвердил наизусть, прочтя его в десятилетнем возрасте в какой-то книжке «екатерининского времени» (5, 56). Источник этого коротенького рассказа, озаглавленного «Остроумный ответ кавалера де Рогана», установлен не был, и в комментарии (5, 366) сделано указание на пародийный анекдот о герцоге де Рогане Козьмы Пруткова, не имеющий отношения к французскому *bon mot*, процитированному Достоевским по памяти.

Анекдот подобного содержания был переведен на русский язык с немецкого в составе второго тома сборника К.-Ф. Николаи «Спутник и собеседник веселых людей, или Собрание приятных и благопристойных шуток, острых и замысловатых речей и забавных повестей» (М., 1774):

«Дурной запах

Герцог Рокелор, как то часто бывало, случился некогда у дофина; когда он только что вставал с постели. Дофин, которому или показалось только, или так в самом деле было, напрямки сказал, поотодвинься, Рокелор! От тебя несносно воняет. Сие, может статься, была суцая правда, потому что у сего герцога был крошечный носок, и притом несло из него толь дурным запахом, что многие тем его и упрекали; однако ж Рокелор, будучи проворен на слова, всегда на такие упреки отвечал весьма колко и смеявшихся ему в том приводил в большой стыд, в чем не спустил он и самому дофину: ибо оный едва успел выговорить, что от герцога воняет, Рокелор, по своему обыкновению, весьма холодным духом на то отвечал: извините меня, ваше высочество! вы меня поклепали: не от меня воняет, а разве от вас; ибо вы только что встаете с постели».¹

Гастон-Жан-Батист герцог де Рокелор (1617—1676) слыл во Франции самым уродливым, но одновременно одним из самых остроумных людей своего времени. После его смерти была издана небольшая книжечка, содержащая его остроты, частично подлинные, частично ему приписанные, и забавные происшествия, с ним действительно случившиеся, а также вымышленные: «*Le Momus français, ou les aventures divertissantes du Duc de Roquelaure*» (Cologne, 1720; переиздания). Этот сборник, автором и состави-

¹ Николаи К.-Ф. Спутник и собеседник веселых людей..., ч. 2. М., 1774, с. 135—136.

телем которого с наибольшей вероятностью считается Антуан Леруа, также переводился в екатерининское время на русский язык, и в его составе — другая, более ранняя, пространная редакция указанного анекдота, в которой подробно разъяснялась соль ответа Рокелора.²

Вполне возможно, что именно первый из названных сборников был той самой книжкой, о которой говорил Достоевский. Однако необходимо считаться с вероятностью того, что мог существовать и переводиться на русский язык краткий вариант этого анекдота, который и процитировал Достоевский, спутав имя персонажа и наверняка забыв за давностью лет точный текст.

2. Butte aux cailles

1 августа 1875 г. Достоевский записал в черновой тетради отдельным пунктом французское название «Butte aux Cailles»³ (Перепелиный холм). Поскольку многие из соседних заметок, сделанных в тот же день, так или иначе нашли отражение в подготовительных материалах к «Подростку» и окончательном тексте, эта запись, очевидно, также имела отношение к работе над романом. Действительно, через непродолжительное время (после 11 августа) то же название повторилось в наброске к тем страницам романа (ч. III, гл. 5, разд. 2—3), где появляется «верзила» (le grand dadais) Андреев:

«Знает, что такое Butte aux Cailles.

— Я гражданин местечка Butte aux Cailles.

— Слоныце пане?

Butte aux Cailles тем замечателен, что там носят панталоны 15 лет, не снимая, а рубашек совсем не носят» (16, 421).

В черновом автографе эти записи трансформировались в реплики, которыми в пылу ссоры обмениваются в ресторане Андреев с поляками:

«— Кто вы такой? — закричали оба поляка.

— Je suis le citoyen de la Butte aux Cailles! — проговорил им dadais, даже не шевельнувшись.

— Кто такой citoyen de la Butte aux Cailles на свете?

— Это такое место Butte aux Cailles, а citoyen de la Butte aux Cailles — это тот человек, который не снимает штанов 15 лет, а рубашек никогда не носит» (17, 121).

В наборной рукописи этот отрывок был сокращен до одной реплики:

«— Je suis le citoyen de la Butte aux Cailles, — вдруг громко объявил dadais, оборачиваясь ко всей зале» (17, 219).

² Приключение XVIII. Смелая двусмысленная речь. — В кн.: Леруа А. Смеходей, или Забавные и смешные приключения герцога Рокелора. СПб., 1789, с. 90—93.

³ Лит. наследство, т. 83, М., 1971, с. 317. Прочтено и опубликовано неверно: Caëlles вместо Cailles.

Одновременно краткое пояснение названия было искусно введено в характеристику Андреева, которую ему дает Тришатов в беседе с Подростком: «А что он не моется — это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный — это всё одно и нет разницы; и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или всё равно — можно делать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по месяцу, пить, да есть, да спать, *вог как в этой Butte aux Cailles, в Париже лохмотники*» (13, 351—352; 17, 220; курсив мой, — В. Р.).

В окончательном тексте и реплика Андреева, и слова Тришатова, выделенные курсивом, были сняты.

В комментарии к роману (17, 326—327), где высказываются остроумные и веские соображения относительно мотивов, которые могли побудить Достоевского исключить все реплики, содержавшие упоминание Перепелиного холма, сама эта местность поясняется как «глухое захолустье», а в вариантах чернового автографа и наборной рукописи название напечатано как нарицательное, со строчной буквы. Это толкование, однако, противоречит словам Тришатова, из которых можно понять, что *Butte aux Cailles* имеет отношение к Парижу.

Действительно, это название носил холм на левом берегу Сены, в тринадцатом округе столицы Франции. «Гнилым и прокаженным наростом», всасывающим «в свои смрадные недра ядовитейшие соки нового Вавилона», представился он русскому журналисту П. А. Монтеверде, который провел в его трущобах два дня и описал их в одном из своих очерков, печатавшихся в 1875 г. в «Русском вестнике» под псевдонимом Петр Петров.⁴

«Что за странное, прокаженное место! — писал Монтеверде. — Кругом, с одной стороны роскошная растительность берегов Бивевры, с другой — пригородные луга, и среди этого зеленого пояса голая, белесоватая шишка, облепленная безобразными лачугами, сложенными из мусора и грязи, лачугами покосившимися, накренившимися, осевшими, навалившимися, опирающимися друг на друга, как пьяницы, для взаимной поддержки или чтоб если рухнуть, так уж всем сразу; шишка, прорезанная вкривь и вкось узкими, излучистыми улищами с сильнейшим наклоном, настоящими помойными ямами, вечно струящими омерзительную смрадную жидкость, в которой голодные, страшно тощие, лысые, ободранные, паршивые собаки роятся с остервенением, ища случайную поживу.

Ни деревца, ни кусточка, ни клочка зелени; одна грязь и мерзость, смрад и вонь, одни мусорные сальные лачуги, претя-

⁴ Парижские силуэты и очерки. II. *Butte aux Cailles*. (Горка Перепелов). — Русский вестник, 1875, № 6, с. 606—629. Другие очерки из этой серии: Парижские силуэты. — Там же, № 3, с. 213—242; Парижские силуэты и очерки. Вукет русских. — Там же, № 7, с. 317—353.

щие душе дворы и помойные улицы. Да и как тут расти и жить дереву, траве? Зараза и вонь стоят в воздухе. Веет чем-то кислым, гнилым, протухшим. Подумаешь, что сама почва здесь на семь пядей насквозь прогнила, всасывая мерзость кипящего на ее поверхности. Только человек, да собака, да разве еще свинья могут тут ужиться, но свинья слишком аристократическое животное для этого забытого богом уголка».⁵

В подобном тоне выдержано все описание. Не скупится автор на черную краску и хлесткие эпитеты, рассказывая о коренных обитателях трущоб Перепелиного холма — парижских сборщиках утиля, называвшихся «тряпичниками» (*chiffonniers*). Это, по его характеристике, «подонки общества, осадки, скопляющиеся в одном месте, гнилые, прокаженные соки, стекающиеся в одну яму, подобно тому как городские нечистоты стекаются в центральный сточный резервуар».⁶ Среди этих «отверженных» внимание Монтеверде привлекла колоритная в своем безобразии фигура «гражданина Гальяра», «шикарного шифоньера»: «Гальяр идеально грязен; грязен, как черви, копошащиеся в помойных ямах. Первобытный цвет его блузы и штанов определить теперь нет возможности, были ли они синие, белые, серые, решать не берусь; за одно могу поручиться, — что лет за десять, кроме дождя, другой стирки этому платюю не было».⁷

На Перепелином холме Монтеверде записал народную песню о коммунаре, расстрелянной версальцами. Это «непереводимое произведение дикой поэзии» он полностью привел в своем очерке, выделив третью строку четвертого куплета:

Elle fut pris par les Versailleux...
C'est ell'même qui commanda l'feu!
Allons donc prendre une absinthe verte
A Montmerte'...⁸

По поводу всей песни и этой строки в особенности Монтеверде писал: «<...> надо это слышать спетое туземцем, хриплым, надтреснутым голосом, то исполненным ядовитой иронией, то цинизма, то этого непередаваемого *air canaille*,⁹ присущего парижскому подкаретному люду. И вдруг, как луч солнца, мелькнувший среди мрака, раздается теплая, душевная нотка, и голос глухоблезненный вибрирует при словах:

*Allons donc prendre une absinthe verte...*¹⁰

⁵ Русский вестник, 1875, № 6, с. 610—611.

⁶ Там же, с. 623.

⁷ Там же, с. 624—625.

⁸ Там же, с. 624. «Ее схватили версальцы... // Она сама скомандовала „огонь!“ // Пойдем же выпьем зеленого абсента // На Монмартре!...»

⁹ Озорства.

¹⁰ Русский вестник, 1875, № 6, с. 610—611.

Эта же строка, лишь слегка измененная, присутствует в подготовительных записях к роману как набросок сумбурных речей Ламберта, обращенных к Подростку в коляске по пути в ресторан: «Allons prendre un verre de l'absinthe vert» et <нрзб.> Ты щегольски одет. Сертук. Есть у тебя другой сертук? Я тебе могу дать денег, приходи ко мне» (16, 421; ср.: 15, 348).

Это совпадение служит достаточным свидетельством того, что Достоевский читал очерк П. А. Монтеверде и именно оттуда почерпнул детали, касающиеся Перепелиного холма. Несомненно также, что тряпичник Гальяр стал прототипом Андреева. Исходная запись, связанная с разработкой образа «верзилы», относится к 1 августа 1875 г.: «У Ламберта в 1-й визит. Его знакомые, завтрак за шампанским <...>» (16, 384). Поскольку из двух знакомых, участвующих в намеченной сцене, ранее в подготовительных материалах упомянут только Тришатов (16, 369), можно предположить, что начальный замысел образа Андреева оформился в тот самый день, когда Достоевский в первый раз выписал в тетрадь название *Butte aux Cailles*.

В оценке парижских тряпичников П. А. Монтеверде резко разошелся с их обычной характеристикой, утвердившеюся во французской, а вслед за нею и в русской литературе. По-видимому, Монтеверде сознательно вступил с этой традицией в полемику, хотя ни словом не обмолвился о тех, кто писал об этом предмете до него и с кем он спорил в своем очерке. Достоевский, по всей вероятности, не мог пропустить мимо внимания полемической заостренности описания обитателей Перепелиного холма, так как предшествующая традиция, во всяком случае русская, должна была ему быть хорошо известна. Более того, даже если сделанное выше допущение неверно и Монтеверде не был знаком со сложившимся ранее и прочно вошедшим в литературу представлением о парижском тряпичнике, Достоевский, очевидно, не мог не воспринять нарисованный им портрет как полемический.

Традиционно французские писатели и художники видели в тряпичнике Диогена XIX в., презревшего цивилизацию и бросившего ей вызов, сохранявшего под грязными лохмотьями и в жалкой берлоге свободу духа и личности. К Диогену, например, возводилась генеалогия тряпичника в физиологических очерках; обычным было в них и его уподобление философу.¹¹ Один из рисунков художника Ш.-Ж. Траввеса из серии, посвященной тряпичникам, назывался «Тряпичник-философ»; в том же духе их рисовал и П. Гаварни. Эта традиция отразилась позднее и в статье «Chiffonnier» в «Большом всеобщем словаре XIX века» П. Ларуса.¹²

¹¹ См., например: *Les chiffonniers*. — In: *Paris aux dix-neuvième siècle: recueil de scènes de la vie parisienne...* Paris, 1839, p. 67—68; *Bertaud L.-A. Les chiffonniers*. — In: *Les français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle*, t. 3. Paris, 1842, p. 333—344.

¹² *Grand dictionnaire universel du XIX^e siècle*, t. 4. Paris, s. d., p. 96.

Канонизации этого представления сильнее всего способствовала мелодрама Феликса Пиа «Парижский тряпичник», в которой главный персонаж, папаша Жан, чья профессия дала название пьесе, являл собою добродетельного философа, воплощавшего в себе черты французского народного характера и мировоззрения. Премьера состоялась 11 мая 1847 г. в театре Порт-Сен Мартен. Успех постановки и в особенности артиста Фредерика Леметра в роли папаша Жана был огромный и объяснялся тем, что в накаленной предреволюционной обстановке пьеса была воспринята демократическим зрителем как произведение резкого социального протеста, несмотря на то что мелодраматическая морализация и благополучная развязка резко приглушали ее социально-критическую силу.

На одном из первых представлений побывал П. В. Анненков. Он посвятил «Парижскому тряпичнику» несколько строк в своем очередном «Парижском письме», датированном 19 мая 1847 г. (н. ст.) и напечатанном в июньском номере «Современника». Его общее впечатление от пьесы было холодным. Он считал, что, «несмотря на благое начинание, драма оканчивается пустым треском» и потому «походит на пустые жернова, которые с визгом трутся друг о друга, не высыпая ничего, и от этого делаются скоро негодны к употреблению».¹³ Однако роль тряпичника П. В. Анненков отнес к «самым лучшим созданиям Фредерика Леметра», подчеркнув сочувственно, что актер оттенил внутреннее благородство своего персонажа: «Он смело появился в грязной блузе, с корзиной за плечами, с крючком в руках, пьяный и недостойный, как сделали его ремесло и общество. Ни на минуту не оставлял он своего грубого тона и типических привычек своего звания, но чем далее шла пьеса, тем все сильнее пробивался наружу внутренний свет благородной души ветошника и облекал его сиянием. К концу пьесы лицо это выразилось во всем своем человеческом достоинстве».¹⁴ В следующем письме (Современник, 1847, сентябрь) Анненков неодобрительно отозвался о водевиле «Парижские тряпичники», в котором авторы, шародируя пьесу Пиа, «как будто задали себе цель осмеять сочувствие публики к бедным классам общества и потопить его в позоре сцен из народной жизни, в отвратительности выдуманных ими подробностей».¹⁵

В мае—июне 1847 г. смотрел «Парижского тряпичника» (возможно, несколько раз) А. И. Герцен¹⁶ и подробно рассказал о нем русским читателям в «Письмах из „Avenue Marigny“»

¹³ П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов, т. I. СПб., 1892, с. 315.

¹⁴ Там же, с. 314.

¹⁵ Там же, с. 319.

¹⁶ Летопись жизни и творчества А. И. Герцена, [т. 1], 1812—1850. М., 1974, с. 397, 401.

(Современник, 1847, октябрь, письмо третье). Его также не удовлетворил «примирающий, услаждающий финал в буржуазном духе», которым автор «пьесу <...> сгубил и растянул»,¹⁷ но папаша Жан навел его на пространное размышление об особом духовно-интеллектуальном складе парижских «отверженных». «Собственно парижские бедняки, — писал он, — имеют, сверх загаенного негодования, голову, поднятую вверх, они психически развиты гораздо более, нежели вы предполагаете в этих организациях <...> В душе их есть что-то верно чувствующее, метко понимающее и притом беспредельно грустное и нежное. Чистота и нравственность далеко не чужды им; разврат имеет свои пределы, опускайтесь по лестнице общественных положений, вы будете с каждым шагом находить более и более пороков и гадостей; но опуститесь на самое дно, вы найдете столько же добра и нравственности, сколько падения и преступного <...> Масса стремлений, понятий и мыслей, проникнувшая в низшие классы и поддерживающая лихорадочное и болезненное расположение духа, чрезвычайно велика; она-то и есть главная хранительница их нравственности; теряя ее, бедняки впадают в страшную жизнь „парижских тайн“, с нею они типы героев Ж. Санд».¹⁸ В этом свете Герцен видел и папашу Жана, который для него был «чисто парижским продуктом», «грибом, выросшим на парижском навозе»: «...его колыбель, родина, училище — улица, на которую его выбросили тотчас после рождения», всю жизнь «он жил, как мокрица на сырых каменных стенах, и ползал по ночам по узким темным переулкам», но «недаром, однако же <...> лет шестьдесят таскался по улицам и смотрел на это многообразие движущейся жизни; он философ, он мудрец, а главное он — характер».¹⁹

Пьеса Пиа настолько завладела вниманием Герцена, что он намеревался перевести ее для М. С. Щепкина, сделав «короче и лучше», но не искажая. Об этом он сообщал в конце мая 1847 г. в письме из Парижа к С. И. и Т. А. Астраковым.²⁰ Впоследствии он рассказал о «Парижском тряпичнике» в третьей главе шестой части «Былого и дум», упомянув и свой о нем отзыв, и более поздний разговор с автором по поводу концовки.²¹ Об этой беседе с Пиа он вспоминал также в предисловии к «Похождениям Грибуля» Ж. Санд (1860).²²

«Письма из „Avenue Marigny“» были хорошо известны Достоевскому. Он, без сомнения, читал их еще в «Современнике», а впоследствии в составе «Писем из Франции и Италии». Влияние последних ощущается в «Зимних заметках о летних впечат-

¹⁷ Герцен А. И. Собр. соч. в тридцати томах, т. 5. М., 1955, с. 49.

¹⁸ Там же, с. 46.

¹⁹ Там же, с. 46—47.

²⁰ Там же, т. 23, с. 25.

²¹ Там же, т. 11, с. 42—43.

²² Там же, т. 14, с. 357.

лениях» (5, 358); с их проблематикой совпадают и некоторые мысли Версилова, в чьей литературной генеалогии Герцен вообще признается центральной фигурой (17, 288—290). При условии, что, работая над «Подростком», Достоевский непрестанно возвращался мыслями к Герцену и в том числе вспоминал, очевидно, также «Письма из Франции и Италии», представляется вполне вероятным, что очерк П. А. Монтеверде мог оживить в его памяти контрастную в них трактовку того же самого предмета. Если так в действительности и произошло, т. е. мысль Достоевского, оттолкнувшись от описания Перепелиного холма в «Русском вестнике», обратилась опять к неизменному объекту своего внимания в этот период — Герцену, то становится понятным развитие ассоциаций, на основе которых родилась фраза Андреева «Je suis le citoyen de la Butte aux Cailles», содержащая иронию (17, 326) по адресу гражданина швейцарского кантона Фрибург, «gentilhomme russe et citoyen du monde», как назвал его Достоевский в очерке «Старые люди».

3. Запись о книгах

В списке «Не забыть нужные книги», составленном в тетради 1875—1876 гг., последним пунктом значится: «Вильмен, Сен-Бев, Тэна критические этюды, Юлиана Шмидта, если переведен».²³ При публикации тетради каждое из этих имен было снабжено примечанием, поясняющим, о каком лице идет речь, какие его сочинения мог иметь в виду Достоевский и какие из них были переведены на русский язык до 1876 г.²⁴ Тем не менее смысл этой записи (как, впрочем, и многих других аналогичных) остался неясным, поскольку комментатору не удалось ни установить, что послужило для нее поводом, ни проследить, читал ли в действительности Достоевский указанные книги упомянутых авторов. В настоящее время этот пробел, в первой его части, может быть восполнен.

Сведения о заинтересовавших его авторах Достоевский почерпнул из анонимной статьи «Библиография» в газете «Голос» (1876, № 8, 8 января), открывавшейся следующим рассуждением:

«История литературы — наука, но в то же время она и искусство. Особенно с нынешнего столетия художественная сторона этой отрасли благодаря таланту некоторых немецких и, еще более, французских представителей, получила такое развитие, о котором и не мечтала тяжеловесная эрудиция прошлых веков, думавшая удовлетворить самым притязательным требованиям, накапливая массу фактов, цифр, имен и параллельных цитат. Такие произведения, как „История французской литературы XVIII-го

²³ Лит. наследство, т. 83, с. 463.

²⁴ Там же, с. 515.

вска“ Вильмена, „Литературные портреты“ Сент-Бева, критические очерки Тэна, „Очерки современной умственной жизни“ Юлиана Шмидта и рецензии Карла Гиллебрандта, преимущественно об итальянской и французской литературах, далеко выдвигаются из ряда научно-удовлетворительных опытов, точных в фактическом отношении, более или менее тонких в отношении логическом и ясных по форме <...>».

Подтверждение того, что Достоевский читал «Библиографию», дают другие записи в той же тетради, в которых упоминаются содержащиеся в этой же статье отзыв о книжке О. Щербинской «Чтения для детей» (СПб., 1875) и протест против «спекуляций на детские души» (т. е. рекламы) М. О. Вольфа и других книгоиздателей.²⁵

4. «Прелюбодей мысли»

Выражение «прелюбодей мысли», которым в «Братьях Карамазовых» названа глава (ч. IV, кн. XII, гл. 13), посвященная заключительной части речи адвоката Фетюковича (15, 167), не привлекло внимания комментаторов. Между тем его история раскрывает намек, содержащийся в этом заглавии и легко, по-видимому, улавливаемый современниками Достоевского.

Это выражение было включено в собрание М. И. Михельсона с примерами из статей М. Н. Каткова, В. П. Буренина и с цитатой из тоста, произнесенного известным русским юристом В. Д. Спасовичем «за адвокатским пиром».²⁶ Напечатанные в подборке различных прозвищ, которые употреблялись по отношению к журналистам, эти цитаты, очевидно, ввели в заблуждение С. Г. Замойского, который позднее ошибочно утверждал, что «прелюбодей мысли» были «пущены в оборот писателями охранительного лагеря <...> по адресу либеральных журналистов и деятелей» и что «очень скоро это выражение повернулось острием против авторов его» — М. Н. Каткова, Б. М. Маркевича и др. Замойский также отметил факт использования этого выражения Достоевским, но почему-то считал, что в «Братьях Карамазовых» оно употреблено «в осудительном, по адресу прогрессивной печати, смысле».²⁷ Впоследствии был установлен источник выражения, которым оказалась статья публициста газеты «Голос» Е. Л. Маркова «Софисты XIX века. (Критические заметки)», напечатанная в № 36—37 за 5—6 февраля 1875 г. и подлившая изрядную долю масла в огонь разгоревшейся в то

²⁵ Там же, с. 406, 490.

²⁶ Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии, т. I. СПб., [1902], с. 573.

²⁷ Замойский С. Г. Крылатое слово. Справочник цитаты и афоризма. М.—Л., 1930, с. 295.

время на страницах прессы дискуссии о нравственном состоянии русской адвокатуры.²⁸

Введенный судебной реформой 1864 г. институт присяжных поверенных был моментально поражен «язвой 70-х годов», по определению Маркова, — «духом хищничества» — и подвергся резкой критике с разных сторон, с тем отличием, что обличения консервативной печати клонились к злорадному выводу о разлагающих последствиях вредных, с ее точки зрения, реформ, в то время как либеральные публицисты, констатируя крайнее нравственное разложение многих практиковавших присяжных поверенных, но признавая необходимость адвокатуры как одного из звеньев системы правосудия, были сторонниками частных оздоровительных мер.

Марков отмечал, что адвокатура стала сферой деятельности, где быстро завоевывалась слава и достигалось благосостояние, где талант легко находил поклонение, где открывался «безграничный простор предприимчивости, находчивости и ловкости человека» и куда поэтому стекались «самые свежие и смелые силы судебного мира», куда стремились ослепленные внешним блеском молодые люди. Не выступая за ее упразднение, Марков, однако, считал настоятельно необходимым сорвать с адвокатов маскарадный костюм «людей науки», «представителей нового лучшего мира», показать их такими, какими они были на самом деле — людьми «беззащитной корысти». Обществу, считал он, необходимо было взглянуть на адвокатуру беспристрастными глазами, так как явление теряет половину своего вреда, если его правильно оценить. Юношам, мечтавшим об адвокатской карьере, утверждал он, нужно было еще до вступления на это поприще знать, «какого рода та слава и роскошь, которые их манят и какую ценою придется купить их». Наконец, он признавал «некоторые выгоды адвокатуры», заключавшиеся, по его мнению, в том, что она могла «служить как бы отводным каналом для вызовов беспринципной корысти, бродящих в каждом обществе».

Рисуя портреты адвокатов и разбирая их повседневную практику, Марков не скупился на хлесткие выражения, назвав присяжных поверенных, например, «софистами XIX века» и уподобив их итальянским наемным убийцам «браво». Адвокатура, по его определению, это — «азартная биржевая игра», «живая скоростная фабрика всевозможных доводов на всевозможные случаи», «организованное пособничество неправде». Она «помогает богатому притеснять бедного», «бросается на зов силы, на звон рубля», в ней «наука и гуманность XIX века идут на пристяжке

²⁸ Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные питаты. Образные выражения. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1966, с. 544—545. — Статья Маркова перепечатывалась в его Собрании сочинений, т. I, СПб., 1877, с. 63—94. Цитаты приводятся по газетной публикации.

у ажиотажа». Вся статья была как бы каскадом звонких пощечин, и одна из них стала отправной точкой в истории выражения «прелюбодей мысли».

«Отнимая у общества веру в те основы его, без которых союз людей обращается в звериное стадо, — писал Марков, — устанавливая в обществе, при самых обаятельных условиях, культ слепой корысти, без того сочувственный грубому большинству — адвокатура вместе с тем дает собою пример цинического прелюбодеяния мысли. Есть ли смысл осуждать какую-нибудь злополучную камелию, продающую по таксе свое тело, в виду этих камелий права, продающих едва ли не с аукциона свои убеждения и свой талант? Прелюбодеяние мысли отражается уже не на одной специальной сфере права. Если оно прочно привьется к обществу, оно погубит со временем весь мир мысли, всю науку».

Статья Маркова имела большой резонанс,²⁹ и в одном из полемических откликов на нее окончательно оформилось крылатое выражение в том виде, как его через несколько лет употребил в своем романе Достоевский.

В конце апреля 1875 г. состоялись выборы в Петербургский совет присяжных поверенных. Среди столичных адвокатов в это время царил смятение. Столь сильными были проявления общественного негодования по поводу их коррупции и столь ожесточенно нападала на них пресса, что выступить с открытым забралом они не решались. К тому же совсем некстати для них началось следствие по скандальному делу петербургского кушача-миллионера, подрядчика С. Т. Овсянникова, обвинявшегося в умышленном поджоге с корыстной целью паровой мельницы на Обводном канале, которую он арендовал у другого миллионера — В. А. Кокорева. Заранее убежденное в крупном мошенничестве, общественное мнение было взбудоражено слухами о том, что двое присяжных поверенных (имена не были известны) согласились защищать Овсянникова. Не удивительно, что присяжный поверенный П. А. Потехин, высказавшийся в пользу толстосума-преступника, едва не был забаллотирован в совет, хотя до этого опрометчивого поступка был основным кандидатом на пост председателя (на процессе защитником Овсянникова был именно он).

Однако среди адвокатов нашелся человек, дерзко бросивший в этой обстановке вызов общественному мнению — это был В. Д. Спасович. Об этом событии следующими словами рассказал А. С. Суворин:

«После выборов последовал обед. За обедом г. Спасович сказал речь, по обыкновению блистательную. Подняв бокал, он провозгласил тост в такой форме: „Прелюбодей мысли пьет за здоровье софистов XIX века!“ Что это: чистосердечное сознание,

²⁹ Гессен И. В. История русской адвокатуры, т. I. М., 1914, с. 209—220.

циническая выходка или ирония? Затем он стал развивать ту идею, что литература и общество, клеймящие такими эпитетами адвокатов, сами медного гроша не стоят, а потому обращать внимание на то, что они скажут об адвокатах, не стоит труда. „У нас есть собственное общественное мнение, и если оно оправдывает, то мы можем не обращать внимание на все остальное <...>“. Разумеется, оглушительные „браво“, плески, овация». ³⁰ Спасовича, продолжал Суворин, поддержал присяжный поверенный Языков. После этих выступлений присутствовавшими овладело «пьяное одушевление». Многие «кричали: „плевать нам на все!“ Другие кричали „браво“ и топали в восторге от того, что с высоты, так сказать, адвокатского Олимпа раздалось слово одобрения. Были и такие, которые отвергивались от этой вакханалии нравственной разнузданности и спешили уйти от „товарищей“. Картина!» ³¹

Формула, произнесенная Спасовичем, став немедленно крылатым выражением, получила широкое распространение. Полемика об адвокатуре продолжалась долгое время, и в ходе ее это хлесткое прозвище звучало неоднократно, ³² причем то его автором указывали Маркова, ³³ то вспоминали о Спасовиче. Так, откликаясь на возмущившую общественное мнение речь Спасовича в защиту С. Кроненберга, жестоко избившего свою семилетнюю дочь, публицист журнала «Дело» А. П. Пятковский, скрывшийся под псевдонимом Н. Мизантропов, обратился к знаменитому адвокату со следующими стихами:

Вы позабыли все идеи,
Что прежде с кафедры вещал,
И с ключкою «прелюбодея»
К союзу страшному пристали.³⁴

Можно полагать, что за недолгое время, протекшее между апрелем 1875 г. и выходом «Братьев Карамазовых», тост Спасовича не изгладился совершенно из памяти современников и что поэтому вынесенное в заглавие выражение «прелюбодей мысли» недвусмысленно указывало им на живой прототип Фетюковича.

О том, что именно Спасович был одним из прототипов защитника Дмитрия Карамазова, уже отмечалось в работах о романе

³⁰ Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. Суворина), кн. 2. СПб., 1875, с. 136—137 (третья пагинация). — Книга имела в библиотеке Достоевского; см.: Гроссман Л. П. 1) Библиотека Достоевского. По неизданным материалам, с приложением каталога библиотеки Достоевского. Одесса, 1919, с. 132; 2) Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. М.—Пг., 1922, с. 26 (в обоих случаях неверно указана дата выхода книги).

³¹ Очерки и картинки, кн. 2, с. 138 (третья пагинация).

³² Например: Петербургская газета, 1876, № 27, 8 февраля; С.-Петербургские ведомости, 1876, № 4, 4 января.

³³ Михайловский Н. К. Записки профана. IX. Нечто о г. Маркове. — Отечественные записки, 1875, июнь, отд. II, Современное обозрение, с. 305.

³⁴ Дело, 1876, № 3, с. 478.

в виде предположения, подкрепленного созвучием фамилий и ссылкой на февральский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г., где Достоевский разбирает речь Спасовича в защиту Кроненберга (15, 586—587). Приведенные факты полностью это предположение подтверждают.

Интересно, что до сих пор не было дано истолкования явно смысловой фамилии «Фетюкович». Может быть, это объясняется тем, что ни одно из приводимых в различных словарях русского языка значений слова «фетюк» (разиня, рохля, простофиля; бездеятельный или глупый, несообразительный человек; угрюмый человек, брюзга) не подходит к блестящему столичному адвокату в зените его славы, приехавшему выступать на громком процессе в провинциальном городе. Однако если вспомнить примечание к этому слову в «Мертвых душах» («фетюк — слово, обидное для мужчины, происходит от Ф, буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквою»³⁵), то можно заключить, что эта фамилия в романе несет в себе именно тот неприличный смысл, о котором говорил Гоголь, и таким образом тоже обыгрывает кличку «прелюбодей».

М. Д. ЭЛЬЗОН

ДВЕ ЗАМЕТКИ К РОМАНУ «БЕСЫ»

1

Как установлено Н. Ф. Будановой, одна из черновых записей Достоевского к «Бесам» могла быть результатом чтения «Очерков общественного движения при Александре I» А. Н. Пыпина (разделы 3—4, посвященные М. М. Сперанскому и Н. М. Карамзину) и полемической статьи Н. Н. Страхова «Вздых на гробе Карамзина» (12, 363). Четвертый раздел труда А. Н. Пыпина был посвящен конкретному разбору «Записки о древней и новой России». Анализ был произведен с явным намерением дискредитировать Н. М. Карамзина; «диалог» М. М. Сперанского и Н. М. Карамзина трактовался как извечный спор представителей двух поколений: «молодой» Сперанский противопоставлен здесь «консерватору» Карамзину.¹ Именно этот раздел вызвал резкую отповедь Н. Н. Страхова. «Карамзин, Карамзин! Какое чудесное имя, милостивый государь! — так начинает «Н. Косица» свое «Письмо в редакцию „Зари“». — Великий писатель, создатель русской истории, зачинатель нового периода нашей литературы, а главное — человек несравненный по мягкости и благородству души, друг царей, но верноподданный России — чего же еще нужно для

³⁵ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 6. Л., 1951, с. 77, 734.

¹ Вестник Европы, 1870, № 9, с. 170—248.

самой чистой славы? <...> Я воспитан на Карамзине, <...> мой ум и вкус развивался на его сочинениях. Ему я обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями».² Панегирик Карамзину завершался «пророчеством»: «Статью г. Пыпина будут защищать и превозносить без меры <...>, г. Тургенев с удовольствием прочитает ее в Баден-Бадене» (курсив мой, — М. Э.).

В письме к Н. Н. Страхову от 2(14) декабря 1870 г. (из Дрездена) Достоевский дал высокую оценку статье Пыпина, где «в первый раз так резко» высказано «то, о чем все молчали» (П., II, 300). Но при этом добавил: «К статье о Карамзине (Вашей — т. е. Страхова, — *Ред.*) я пристрастен, ибо такова почти была и моя юность, и я возрос на Карамзине. Я ее с чувством читал» (там же).

Все это делает вероятным, что фамилия «Кармазинов» появилась в «Бесах» после прочтения статьи Н. Н. Страхова, причем в ней объединились фамилии двух «западников» — Карамзина и Тургенева.

2

В главе «Петр Степанович в хлопотах» Достоевский следующим образом характеризует круг чтения молодого Верховенского:

«— Вы, кажется, не так много читаете? — прошипел он (Кармазинов, — М. Э.), не вытерпев.

— Нет, не так много.

— А уж по части русской беллетристики — ничего?

— По части русской беллетристики? Позвольте, я что-то читал, читал... „По пути“... или „В путь“... или „На перепутье“, что ли, не помню. Давно читал, лет пять. Некогда» (10, 286).

В комментарии к эпизоду приведена запись из черновой тетради 1864—1865 гг.: «Нигилисты. Читали: „Откуда“, „Покуда“, „Накануне“, „Послезавтра“, „Зачем“, „Почему“» (12, 303—304). Легко догадаться, что первое и второе — пародийные переименования «Некуда» Н. С. Лескова (1864), а «Послезавтра» идентично предшествующему ему подлинному заглавию. Однако ни одно из них не соответствует приведенным «путевым» названиям. С большой натяжкой можно предполагать, что последние пародируют «Некуда»: их объединяет мотив дороги.

Однако в данном случае Достоевский был достаточно конкретен.

«В путь» — несомненно «В путь-дорогу!..» П. Д. Боборыкина (СПб., 1864; в 3-х т.). Эта книга не входит теперь в «обойму» антинигилистических романов. Но вот что писал М. Е. Салтыков-Щедрин Н. А. Некрасову 8 апреля 1865 г. (из Пензы): «Кстати:

² Заря, 1870, № 10, с. 207. — «Записка» характеризуется здесь как «отвержение всего, что не было и не могло быть сродни с русской жизнью» (с. 220—224).

не желаете ли, чтобы я написал хорошие и милые рецензии на романы: „Некуда“, „В путь-дорогу“ и „Марево“? Я напишу. Если желаете, то пришлите мне самые романы, кои хотя я и читал, но все-таки недурно иметь их под руками».³ Этот замысел не был осуществлен.

Если роман П. Д. Боборыкина действительно мог быть прочитан Петром Верховенским «лет пять» назад, то «На распутьи» В. Г. Авсеенко, также относящийся к разряду антинигилистических романов, был впервые опубликован в «Заре» (1870, № 9—12) и вышел отдельным изданием в 1871 г. Роман был подвергнут резкой критике в «Отечественных записках» (1871, № 12).⁴ Иное мнение высказано в письме Достоевского к Н. Н. Страхову от 9(21) октября 1870 г. (из Дрездена): «Анна Григорьевна говорила мне, что роман Авсеенко хорош. Дай бог, прочту непременно» (П., II, 295).

Возможно, что и «По пути» имеет свой «прототип».

В. Е. ВЕТЛОВАСКАЯ

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» ДОПОЛНЕНИЯ К КОММЕНТАРИЮ

1. По поводу песенки, которую в «Братьях Карамазовых» поет Смердяков (14, 203, 204, 206), Достоевский писал Н. А. Любимову 10 мая 1879 г.: «Лакей Смердяков поет лакейскую песню <...> Песня мною не сочинена, а записана в Москве. Слышал ее еще 40 лет назад. Сочинилась она у купеческих приказчиков 3-го разряда и перешла к лакеям, никем никогда из собирателей не записана и у меня в первый раз является» (П., IV, 54).

Песенка, записанная Достоевским, имеет, по-видимому, литературный источник и представляет собой его позднейшую мещанскую переработку. Ср. у С. Н. Марина (1776—1813):

.. Иль волшебной силою
Дух привержен к милой.
Господи помилуй!
Ее для меня <...>

Скучен свет без милой.
Век хочу быть с Лилой.
Господи помилуй!
Ее для меня.

См.: Марин С. Н. Полн. собр. соч. М., 1948, с. 56. (Летописи Гослитмузея, кн. 10. Указано В. Я. Лакшиным).

2. Искаженный 27-й стих 117-го псалма «Бог-господь, и явился нам», который цитирует Иван (14, 226), звучит в церкви не во время литургии, но за всеобщей (во второй ее части, утрени).

³ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., т. 18, кн. 1. М., 1975, с. 301.

⁴ Возможно, что автором рецензии был М. Е. Салтыков-Щедрин. См.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., т. 9. М., 1970, с. 441—443, 606—607.

Это возглас дьякона, подхватываемый хором (замечено Н. М. Любимовым).

3. Слова Ивана: «Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка „Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу“» (15, 116) — опираются на фольклорные записи В. И. Даля: «Хоцу — вскоцу, не хоцу — не вскоцу (в старину невеста говорила: хочу — вскочу и, соглашаясь идти замуж, прыгала через положенный кругом пояс или в наставленную юбку)». См.: Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957, с. 332.

4. Опровергая речь прокурора, Фетюкович обвиняет своего противника в излишнем психологизме, который заставляет его сочинять «роман» вместо объективного анализа дела: «<...> есть вещи, которые даже хуже, даже гибельнее в подобных случаях, чем самое злостное и преднамеренное отношение к делу. Именно, если нас, например, обуюет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность художественного творчества, так сказать, создания романа <...>» (15, 154). В дальнейшем эти слова повторяются и вызывают ответную реплику прокурора: «...Нас упрекают, что мы насоздавали романов. А что же у защитника, как не роман на романе? Не доставало только стихов» и т. д. (15, 174). Этот мотив, вероятно, появился под влиянием аналогичных обвинений в судебной полемике между А. Ф. Кони и В. Д. Спасовичем. Кони так вспоминает об этом (ст. «Приемы и задачи прокуратуры»): «В моих „Судебных речах“ и в пятом томе сочинений Спасовича помещены судебные прения по делу Янсен и Акар, обвиняемых во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, и по делу Егора Емельянова, обвиняемого в утоплении своей жены, которые характеризуют приемы и способы борьбы между нами. По обоим делам последовали обвинительные приговоры. В деле Емельянова, по окончании судебного следствия, Спасович сказал мне: „Вы, конечно, откажетесь от обвинения: дело не дает вам никаких красок — и мы могли бы еще сегодня собраться у меня на юридическую беседу“. — „Нет, — отвечал я ему, — краски есть: они на палитре самой жизни“ <...> Несмотря на горячие нападения Спасовича на то, что он называл „романом, рассказанным прокурором“, присяжные согласились со мной, и Спасович подвез меня домой, дружелюбно беседуя о предстоящем на другой день заседании Юридического общества». См.: Кони А. Ф. Собр. соч. в восьми томах, т. IV. М., 1967, с. 130.

5. В заключение своей речи Фетюкович повторяет слова Петра I из его Воинского устава: «Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного...» (15, 173). Ср. слова В. Д. Спасовича в одной из его речей: «Я мог бы заключить мою речь разными пошлостями, вроде той, что лучше оправдать десять виновных, нежели осудить одного невинного. Однако положение мое как защитника графа Моркова вовсе не столь отчаянное, чтобы прибегать к подобным избитым приемам». См.: Спасович В. Д. Собр. соч., т. V. Изд. 2-е, СПб., 1913, с. 66.

**ДОСТОЕВСКИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
(1881—1917)**

Взаимоотношения русских писателей с цензурными инстанциями царской России — важная и интересная тема, ибо существенно не только восстановить первоначальный авторский замысел и проследить судьбу произведения после его завершения, но и выяснить позицию государственной власти, отношение ее к отдельным представителям отечественной культуры, ценностям, этой культурой созданным.

Исследование механизма цензурного ведомства, характера и направленности его мероприятий позволяет оценить действия властей, которые иногда диктуются не столько трезвым стратегическим расчетом, сколько социальным инстинктом. Инстинкт этот, «бдительность высшего порядка», оказывался зачастую роковым для произведения, созданного автором, казалось бы, с вполне «благонадежной» репутацией. Охранительный инстинкт действовал в подобных случаях независимо от такой репутации и в конечном счете приводил к цензурному вмешательству или запрещению.

Достоевский умер в разгаре всероссийской и на пороге мировой славы. Казалось бы, обстоятельство это, равно как и закрепленная за автором «Бесов» «надежная» политическая репутация, гарантировали посмертные издания Достоевского от каких бы то ни было цензурных поправок.

Но дело обстояло не столь просто.

Приводимые ниже материалы, извлеченные главным образом из ленинградских архивохранилищ, позволяют проследить отношение к Достоевскому со стороны цензурного ведомства после его смерти, выяснить социальную и психологическую мотивацию запрещения некоторых из произведений писателя, схватить, так сказать, саму динамику административной мысли.¹

Значительная часть документов разыскана нами в архивах министерства народного просвещения: в обязанности его Ученого комитета, высочайше учрежденного в 1856 г., входило «предупреждение распространения в публике таких издаваемых частными людьми всякого рода учебных книг и руководств <...> кои по

¹ В качестве отдельных попыток в этом направлении можно назвать лишь небольшую заметку А. В. Блюма «Ф. М. Достоевский и „педагогическая цензура“» (Советские архивы, 1971, № 5, с. 96—98) и публикацию В. К. Лебедева «„Братья Карамазовы“ перед лицом цензуры» (Русская литература, 1970, № 2, с. 123—125).

своему достоинству не заслуживают одобрения и не обещают той пользы, какой от издания сего рода желать надлежит».²

Законодательство 1860-х годов о печати не затронуло прерогатив этого органа; более того, созданный в 1869 г. особый отдел Ученого комитета постепенно сосредоточивает в своих руках цензуру всех книг для так называемого «народного чтения», а также всех сочинений, поступающих в библиотеки низших и средних учебных заведений. Изучение журналов заседаний Ученого комитета дает весьма интересные сведения о таковой его деятельности, и Достоевский не был обойден вниманием этого учреждения.

8 марта 1885 г. (т. е. спустя четыре года после смерти писателя) особый отдел Ученого комитета рассматривал две брошюры: одна содержала рассказы «Столетняя» и «Мужик Марей», вторая — «Мальчик у Христа на елке» (все из «Дневника писателя» 1876 г.).³ Вопрос о допущении этих рассказов в библиотеки средних учебных заведений и народные школы был представлен на усмотрение тринадцати членов Ученого комитета.⁴ О рассказах Достоевского давал заключение И. П. Хрущов.⁵ «Оба эти рассказа, — сказал он о «Столетней» и «Мужике Марее», — составляют счастливое исключение из тех отрывков и рассказов из произведений Достоевского, которые включены были в книгу О. Миллера „Русским детям из сочинений Достоевского“. Исключительный характер рассказов состоит в том, что в них не очерчивается мир страданий, порожденных особого рода развратом и преступными деяниями целой среды, в которой действуют надорванные люди, будущие преступники».

Кратко изложив содержание «Мужика Марей», докладчик ставит в заслугу автору, что в этом рассказе «отражено мягкое, ласковое чувство грубого и черствого на вид мужика».

Но одобрительно в общем оценив рассказ, Хрущов отмечает некоторые досадные, на его взгляд, отступления от «правды жизни»: «Автор как бы особенно умиляется тому, что крепостной, не думавший и не гадавший тогда о свободе крестьянин, был исполнен нежности к барчонку. Мы не разделяем этого удивления: никого так не любили искренно крестьяне, как детей своих господ. Не раболепство городской дворни, а свежая, непритворная

² Георгиевский А. И. К истории Ученого комитета Министерства народного просвещения. СПб., 1862, с. 19.

³ См.: ЦГИА СССР, ф. 734, оп. 3, 1885 г., д. 54, л. 150—154.

⁴ На заседании присутствовали: А. Н. Майков, А. И. Георгиевский, К. К. Сент-Илер, Т. А. Маевский, П. А. Аннин, И. П. Хрущов, А. Д. Дмитриев, А. А. Радонежский, В. Я. Стоюнин, кн. М. Р. Кантакузен, М. В. Родевич, В. И. Шемякин, А. И. Теодорович.

⁵ Хрущов Иван Петрович (р. 1841) — публицист, в 1870—1878 гг. занимал кафедру русской словесности в Киеве, с 1879 г. — член Ученого комитета, председатель комиссии по устройству народных чтений. В 1896—1899 гг. — попечитель харьковского учебного округа.

ласка и любовь мужиков обдавала господских детей, когда они приезжали в село свое», — так завершает Хрущов разбор «Мужика Марея».

Благосклонность проявил докладчик и в отзыве о «Столетней»: «Тут все мягко, задушевно, гуманно, потому опять является повод направить этот рассказ в библиотеки детей средних учебных заведений». Правда, рекомендовав таким образом упомянутые произведения Достоевского, Хрущов дает понять, что он делает это с нелегким сердцем: «Для народного училища не вполне подходит оба рассказа. Это восхищение мужичком, приглубившим ребенка, равно как эту дмещанской сцены, утратят всю тонкость намеков в среде людей простого быта, почему едва ли будут занимательны».

Однако подобные мелкие замечания служили на деле главным образом цели оттенить тонкость эстетического чутья самого докладчика. Скепсис же последнего относительно третьего рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на елке» носит уже совсем иной характер. «Об этом произведении Достоевского, — заявляет Хрущов, — мне пришлось высказываться печатно по поводу составленного для детей подбора выдержек из сочинений Достоевского под названием „Русским детям из сочинений Достоевского“ („С.-Петербургские ведомости“, 1884 г.). Я нашел тогда этот рассказ вполне невозможным для детского чтения. <...> По замыслу рассказ принадлежит к направлению обличительному. Обличитель обобщает ненормальный, быть может возможный, но исключительный случай замерзания ребенка. Русский мороз берет себе чистую невинную жертву».⁶

Докладчик прибегает к следующей, вполне убедительной, на его взгляд, аргументации: «В Москве и повсюду елки не устраивают никогда под праздник во время всенощной и тем паче накануне рождества. Елки в наших заграничных семействах те же, что детский бал, и поэтому религиозному чувству нашему крайне неловко приспособиться к поэтическому изображению елки для загубленных детей на небе у Христа. Елка, кругом которой вместо украшений витают души задохшихся, умерших голодной смертью, замерзших детей, имеет в себе что-то уголовное, страшное, почему и писатель заставляет матерей этих детей плакать около елки, плакать там, где нет печали и вздыханий».

Желая придать своей точке зрения еще большую неотразимость, Хрущов обращается к фольклору и приводит «народную притчу» о злой мачехе, которая оставляет в лесу несчастную падчерицу: «Приходит Мороз, здороваеся с девушкой; та отвечает: „Мороз, Мороз! Христос тебя нанес“ <...> Таким образом, — победоносно заключает докладчик, — одно имя Христово спасает от напрасной смерти. У Достоевского смерть от мороза есть

⁶ В настоящем случае Хрущов имеет в виду отдельное издание: Мальчик у Христа на елке. Рассказ Ф. М. Достоевского. СПб., 1885.

благо <...> Но беспристрастно вникая в идею Достоевского, мы бы зашли далеко».

Хрущов все же попытался как-то извинить автора: «У талантливого писателя была цель, и цель добрая, высокая». Но, по мнению докладчика, благие намерения не искупают педагогических грехов: «Достоевский мог любить детей, но менее подходящего к детскому возрасту писателя не существует». Еще долгие десятилетия эта формулировка будет верно нести свою службу, ограждая умы русского юношества от «проклятых вопросов» Достоевского.

Социальный смысл попечительства цензора о подрастающем поколении особенно ясно выступает наружу, если обратиться к заключительным словам доклада Хрущова: «А что до детей простого народа, то тут еще есть и другое обстоятельство. Нужно ли это сопоставление <богатства> и неприкрытой бедности, отчаянное положение искусанного морозом и замерзшего за дровами мальчика и утехи и радости столичных детей на елке. По мнению моему, рассказ этот не для детей, и никак уж не для низших училищ».

В полном единомыслии с докладчиком особый отдел Ученого комитета определил: «Согласиться с мнением Хрущова, о чем и представить на благоусмотрение его сиятельства г-на товарища министра народного просвещения».

Спустя десять лет педагогическому начальству вновь пришлось высказать свое суждение по поводу сочинений Достоевского. И хотя к тому времени существенно изменился персональный состав особого отдела Ученого комитета,⁷ в деятельности этого министерского органа сохранилась известная последовательность. В протоколе заседания от 20 сентября 1896 г.⁸ зафиксировано: «Слушали (ст. 1) доклад члена *Аверкиева*⁹ <...> о рассмотрении и одобрении для употребления в училищах <...> отрывков из сочинений Ф. М. Достоевского: 1) „Представление“ (из „Записок из Мертвого дома“) <...> 2) „Летняя пора“ (из „Записок из Мертвого дома“) <...> 3) „Верующие бабы“ (из романа „Братья Карамазовы“) <...> 4) „В барском пансионе“. Из романа „Подорожник“...». «Всем известна достоинство сочинений Достоевского, — пишет Аверкиев, — но известно также, что далеко не все произведения самых знаменитых писателей удобны для чтения детей

⁷ Помимо уже знакомых нам П. А. Аннина и А. Д. Дмитриева, на этом заседании присутствовали В. Н. Хитрово, А. У. Кочетов, А. Г. Филонов, И. П. Зверев, В. В. Федоров, Д. В. Аверкиев, В. А. Семена.

⁸ ЦГИА СССР, ф. 734, оп. 3, 1896 г., д. 78, л. 1459—1462.

⁹ Любопытно, что докладчиком на этот раз выступал не кто иной, как драматург, сотрудник Достоевского по журналу «Эпоха» Д. В. Аверкиев; отношения с Аверкиевым сохранились у писателя до конца жизни. В чине титулярного советника Аверкиев был с 1892 г. причислен к Министерству народного просвещения (см.: Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1897 г. СПб., 1896).

школьного возраста». Слух последних, по мнению Аверкиева, могут оскорбить такие ужасные «резкости и неприличия», как «вишь, подлая» и «бабенка от мужа погуливает».

Далее следует заключение Аверкиева об отрывках из «Записок из Мертвого дома». «„Представление“ и „Летняя пора“ знакомят с бытом каторжных, и хотя в обоих отрывках этот печальный мир изображен с наименее мрачной стороны, тем не менее я полагаю, что нет причины желать ознакомления детей школьного возраста с бытом каторжных былых времен».

Характеризуя предлагаемый отрывок из «Братьев Карамазовых». Аверкиев довольно прозрачно намекает на несоответствие отдельных моментов романа ортодоксальной православно-христианской доктрине: «Одна женщина убивается о смерти малютки-сына, и старец утешает ее. Другая кается в убийстве большого мужа; старец, утешая ее, говорит между прочим: „Да и греха такого нет и *не может быть* на всей земле, какого бы не простил господь воистину кающемуся“. Не знаю, насколько это согласуется со словами Спасителя: „Кто скажет слово на духа святого, тому не простится ни в сем веке, ни в будущем“ (Матв., 12, 32)» «Вообще, — заканчивает Аверкиев, — отрывок этот по своему содержанию, по моему мнению, превышает понимание крестьянских детей школьного возраста».

Аверкиева будто бы прежде всего заботят интересы маленького читателя. Но крайне интересно сопоставить его суждения по этому поводу с решением С.-Петербургского цензурного комитета, касавшимся отрывка из тех же «Братьев Карамазовых». Отрывок этот под названием «Рассказ старца Зосимы» предназначался издательской фирмой «Посредник» для народного чтения (т. е. и для *взрослого* читателя). В цензурском определении 1886 г. по поводу этого отрывка совершенно недвусмысленно указывалось, что он «не дозволен к напечатанию вследствие заключающегося в нем мистически-социального учения, несогласного с духом учения православной веры и церкви и существующим порядком государственной и общественной жизни».¹⁰ Нельзя не отметить в данном случае удивительного единодушия как «взрослой», так и «детской» цензуры.

Примечательно, что не одобрил Аверкиев и фрагмент из «Подростка»: «Действие происходит в среде, слишком непохожей на крестьянскую, а потому рассказ во многом будет непонятен для крестьянских детей школьного возраста». Очевидно, почтенный автор «Каширской старины» полагал, что крестьянским детям могут быть доступны лишь сюжеты, не выходящие за сословные рамки идиллического сельского быта.

¹⁰ ЦГИА СССР, ф. 777, оп. 3, 1886 г., д. 57, л. 86. См. также: Лебедев В. К. «Братья Карамазовы» перед судом цензуры. — Русская литература, 1970, № 2, с. 124.

Негативно оценив все четыре отрывка из произведений Достоевского, Аверкиев как бы печально вспомнил о своей принадлежности к цеху изящной словесности. Поэтому его выводы не вполне последовательны: «Указывая на непригодность перечисленных рассказов для ученических библиотек народных школ, я полагаю, что они могли быть допущены в народные читальни, куда уже открыт доступ для полного собрания сочинений Достоевского».

Но на этот раз члены особого отдела Ученого комитета не сочли возможным допустить подобную двусмысленность — и их решение оказалось радикальнее половинчатых предложений докладчика. Оно гласило:

«Определено: признать все вышеназванные брошюры непригодными ни для ученических библиотек учебных заведений, ни для народных читален <...>».

Нелогичность этого решения очевидна: ибо *собрание сочинений Достоевского* уже было допущено в народные читальни. Поэтому не прошло и года, как министерство попыталось исправить свою оплошность.

Еще в 1887 г. министр народного просвещения И. Д. Делянов наложил на докладе Ученого комитета следующую резолюцию: «Не могу не заметить, что окружным начальствам давно следовало бы обратить внимание на библиотеки учебных заведений и остановить выписку на казенные деньги частью пустых по содержанию, а частью в высшей степени вредных по направлению книг, что нередко, к сожалению, имеет место, как ясно видно из доставленных в министерство списков книг, приобретенных учебными заведениями».¹¹

Во избежание подобных неувязок и дабы сосредоточить надзор за народным чтением в одних руках, 4 февраля 1888 г. состоялось высочайшее повеление, согласно которому в бесплатные народные читальни отныне могли быть допущены только книги и периодические издания, предварительно одобренные Ученым комитетом.

Ученый комитет рьяно взялся за дело. В 1896 г. был выпущен первый каталог книг, рекомендованных для народного чтения, в который оказалось включенным и Полное собрание сочинений Достоевского! Циркулярным письмом Министерства народного просвещения от 31 августа 1896 г. каталог был препровожден к попечителям учебных округов на отзыв. Многие местные деятели, к удивлению и неудовольствию петербургских чиновников, выступили со встречным предложением — о предоставлении попечителям учебных округов собственной властью допускать те или иные книги в бесплатные народные читальни. А попечитель Западносибирского учебного округа, тайный советник В. М. Флоринский осмелился даже представить в министерство «список книг

¹¹ Георгиевский А. И. К истории Ученого комитета Министерства народного просвещения, с. 119.

и изданий, коими, по мнению подведомственных ему, попечителю округа, училищных начальств, вполне им разделяемому, желательнее было бы дополнить упомянутый каталог».¹² В этом сибирском каталоге оказались и отдельные произведения Ф. М. Достоевского.

Нежелательная, с точки зрения петербургских педагогических властей, местная инициатива вызвала волнение в канцеляриях Министерства народного просвещения. 27 марта 1898 г. этот вопрос обсуждался на заседании особого отдела Ученого комитета,¹³ на котором со специальным докладом выступил П. А. Аннин. Со всей решительностью отверг он «дерзкое» предложение своих не в меру либеральных коллег на местах: «Предоставление управления учебными округами права разрешать собственной властью допущение в народные читальни тех или других книг повело бы в оценке пригодности или непригодности книг для сих читален к <...> разноречию и даже противоречию между учреждениями одного и того же ведомства, т. е. учебного <...> Указанное разноречие и противоречие особенно неизбежны были бы в настоящее время, когда по новости дела руководства народа по части чтения и в самом учебном ведомстве <...> не установился еще определенный и правильный взгляд на состав и потребности того круга читателей, для которого предназначаются бесплатные народные читальни».

Включение в каталог произведений Достоевского вызвало наибольшее возмущение докладчика; эта прискорбная оплошность объясняется, по его мнению, «недостатком определенности и правильности взгляда на цель бесплатных народных читален».

«Составители списка, — продолжает Аннин, — предполагают допустить в бесплатные народные читальни все отдельные издания сочинений Достоевского, коего полное собрание сочинений допущено Ученым комитетом. Это последнее обстоятельство, т. е. допущение Ученым комитетом в народные читальни полного собрания сочинений Достоевского, послужило, вероятно, и основанием или поводом к упомянутому предложению составителей списка. Мне кажется, что полное собрание сочинений Достоевского попало в каталог книг для народного чтения по какому-нибудь недоразумению. Как бы то ни было, но полное собрание сочинений Достоевского, по моему мнению, не должно значиться в каталоге книг для бесплатных народных читален, которые, как справедливо выяснил особый отдел на заседании 23 января с. г., предназначаются для таких лиц из низших слоев или сословий населения империи, которых образование в подавляющей массе не выходит за

¹² ЦГИА СССР, ф. 734, оп. 3, 1898 г., д. 84, л. 768.

¹³ См.: там же, л. 761—772. — На этом заседании, в частности, присутствовали: К. К. Случевский, Н. А. Майков, А. Ф. Соколов, В. Н. Хитрово, А. А. Радонежский, А. Ф. Селиванов, В. А. Семека, Д. В. Аверкиев, Е. П. Ковалевский и др.

пределы курса начального народного училища. Не принимая на себя задачи и не считая нужным в доказательство моего мнения входить в разбор не только всех, но и главнейших из сочинений Достоевского, я ограничусь лишь некоторыми замечаниями относительно их с точки зрения пригодности для бесплатных народных читален.

Из всех наших писателей по изящной словесности Ф. М. Достоевский представляет собой, т. е. своими сочинениями, предмет едва ли не наиболее сложный и трудный для понимания и потому вызвавший весьма разнообразные, иногда диаметрально противоположные взгляды на него в нашей критической литературе, замечавшей между прочим, что к произведениям Достоевского нужен комментарий».

Для того чтобы подкрепить свое негативное отношение к произведениям великого романиста, Аннин подбирает цитаты из статей самых различных авторов — от Белинского до Чижова и от Головнина до Писарева и Страхова.

Любопытно, как использует докладчик высказывание Писарева о Соне Мармеладовой. Он приводит следующие слова критика: «Какой же голос эта девушка должна принять за голос совести, тот ли, который ей говорил: „Сиди дома и терпи до конца; умирай с голоду вместе с отцом, с матерью, с братом и сестрами, но сохраняй до последней минуты свою нравственную чистоту“, или тот, который говорил: „Не жалея себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, но спаси, утешь, накорми и обогрей этих людей хотя на неделю, во что бы то ни стало“. Я сам должен сознаться, что перед таким вопросом я становлюсь в тупик». «Читатели, которых мы имеем в виду, — восклицает в связи с этим Аннин, — встанут в тупик не только перед пониманием характера или личности Раскольникова и поступка девицы Мармеладовой, но и перед пониманием смысла или идеи самого романа „Преступление и наказание“. С другой стороны, прежде чем прийти к такому или иному пониманию смысла этого романа, означенного рода читатели успеют достаточно ознакомиться с тою упомянутою выше теориею, которая привела Раскольникова к убийству». Аннин опасается того, что неопытные читатели, вооружась топорами, немедленно последуют примеру героя «Преступления и наказания».

Затратив немало усилий, чтобы оградить читателя из народа от величайшего из романов Достоевского, докладчик переходит к «Братьям Карамазовым». Это произведение также отнюдь не вызывает у Аннина энтузиазма: «Что в нем найдет обычный посетитель народных читален? — Найдет: между прочим ряд эксцентрических личностей, каков особенно помещик Федор Карамазов, пьяница, самодур, безбожник и развратник <...> Найдет читатель ряд эксцентрических рассказов или разговоров...».

Не только обилие в «Братьях Карамазовых» «отрицательных персонажей» угнетает докладчика. Его волнует и другое: «Найдет читатель длинный ряд мыслей и суждений по разным вопросам

философско-богословским и церковно-гражданским. По этим вопросам в романе беседуют и философствуют большей частью вкривь и вкось, забираясь при этом в непроходимые дебри отрицательного или кощунственного глубокоумствования и словоизвращения: и лакей, и забубенный кутила, и оскотинившийся развратник, и публичная женщина, и мальчик-гимназист (Коля Красоткин), который, между прочим, высказывает: „Я социалист“ или „Христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс“. До каких эксцентричностей доходят разговоры или рассуждения по означенным вопросам, может служить образчиком то место в поэме „Инквизитор“, сочиненной Иваном Карамазовым, где старый Инквизитор, обращаясь к Спасителю, говорит: „Завтра сожгу тебя“.

На первый взгляд, можно было бы заключить, что педагогическому вкусу Аннина претят главным образом «отрицательные» персонажи романов Достоевского, ибо, по собственным его словам, «едва ли у кого из писателей, по крайней мере наших, выступают так часто на сцену люди, являющиеся или развратниками, или преступниками, или проповедниками разного рода ложных воззрений, или же эксцентриками». Но оказывается, что докладчика не устраивают и герои, изображенные Достоевским «со знаком плюс», равно как и защищаемая этими героями позитивная программа.

Аннин утверждал: «Читателям, которых мы имеем в виду, трудно разобраться не только в хитроумных суждениях светских лиц романа, но и в поучениях или наставлениях старца Зосимы, являющегося в романе предтечей или выразителем положительного образа мыслей. Так, например, по смыслу романа автор осмеивает светский или гражданский суд. Соответственно этому и старцу Зосиме автор усвоет воззрение, направленное против сего суда. Или по смыслу наставления Зосимы спасение для человека — жизнь в уединении, в монастыре. Но в то же время старец Зосима настоятельно советует Алексею Карамазову, поступившему в монастырь, оставить последний и жить в мире. <...> Наконец, вообще старец Зосима является в романе теоретиком или созерцательным мистиком».

Не без ловкости Аннин опирается на традиционную отрицательную оценку позитивных идей Достоевского либерально-буржуазной и народнической публицистикой (образ Зосимы и т. д.). Уже сама неоднозначность подхода к Достоевскому представитель различных общественных кругов служит в устах Аннина лишним доводом в пользу недопущения писателя к грамотным слоям простонародья: «Трудность понимания и разнообразие взглядов оказывается не только при общей оценке Достоевского и определении его основных идей или его идеала, но и при разборе отдельных из глав его художественных произведений, и даже при разборе отдельных лиц в таких произведениях. Если же понимание Достоевского представляется трудным для литературных

критиков, людей в общем гораздо более образованных и более подготовленных для понимания художественных или словесных произведений, чем посетители народных библиотек и читален, то можно себе представить, какую трудность должны встречать читатели этого рода в понимании сочинений Достоевского и какие превратные понятия и убеждения могут сложиться у них под влиянием чтения романов, повестей и рассказов Достоевского».

Докладчик, как и его предшественники, выказывает довольно острое социальное чутье: доводы, продиктованные государственным инстинктом, оказываются в глазах Ученого комитета решающими. «В сочинениях Достоевского есть множество указаний на такие явления в нашей жизни, вина которых падает на правительство или вообще на существующие порядки. Но означенные указания, ценные для правительства и вообще полезные для более подготовленных читателей, чем масса, посещающая народные читальни, на последнюю могут действовать лишь раздражающим образом, так как не от нее зависит воспользоваться указаниями для применения их к делу <...> Если все это так, то спрашивается, зачем же читателям из того круга людей, которых мы имеем в виду, предлагать такие сочинения, в которых есть немало страниц, могущих уложить в постель, в которых изображаются герои без руководящих начал, причем в значительном числе — душевнобольные или близкие к этому состоянию, и которые, по признанию самого автора, написаны недостаточно обдуманно и потому являются иногда дикими?».

Ответ на вопрос цензором был дан вполне определенный: «На основании всего вышесказанного, мне кажется, следует прийти к такому заключению: мнение тайного советника Флоринского о предоставлении попечителям округов права собственной властью разрешать допущение книг в бесплатные народные читальни отклонить, причем выразить желание, чтобы изъявленному выше предложению об учреждении особого комитета по цензуре сочинений, предназначенных для народа, если г-ну управляющему Министерству народного просвещения угодно будет одобрить это предложение, дав ему надлежащий ход <...> Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, значащееся ныне в каталогах книг для сих читален, исключить из него при следующем издании этого каталога».

Управляющий министерством утвердил определение особого отдела Ученого комитета. Его резолюция гласила: «Согласен, кроме вопроса об особом комитете по цензуре, который требует еще дальнейшего обсуждения».

Полное собрание сочинений Достоевского было отныне изъято из бесплатных народных читален, а отдельные произведения туда не допущены, как ранее не были они допущены в ученические библиотеки. Несомненно, что этой мерой был ограничен доступ к Достоевскому читателей из народа. Просмотренные нами обширные каталоги рекомендательной литературы, относящиеся к на-

чалу XX века, не содержат ни одного произведения Достоевского.¹⁴

Только настойчивостью и предприимчивостью вдовы писателя А. Г. Достоевской, время от времени возобновлявшей свои ходатайства перед различными инстанциями, можно объяснить то обстоятельство, что некоторые крайне немногочисленные произведения Достоевского все же просачивались в библиотеки учебных заведений. Несогласованность и расхлябанность громоздкого бюрократического аппарата давали себя знать. И тут большое значение приобретал персональный момент — в чьих руках оказывалось дело. Вот одно из прошений А. Г. Достоевской, которое нам удалось разыскать:

«В Училищный совет при святейшем Синоде вдовы подпоручика Анны Григорьевны Достоевской

ПРОШЕНИЕ

Препровождая при сем изданные мною отрывки из сочинений моего покойного мужа под названием 1) „Мужик Марей“, „Столетняя“, цена 10 коп. 2) „Верующие бабы“, цена 5 коп. 3) „Выбор из сочинений Ф. М. Достоевского для учащихся среднего возраста, изданный под редакцией Вл. Я. Стоюнина“, цена два рубля, имею честь просить Училищный совет при святейшем Синоде рассмотреть и, буде книжки окажутся достойными, разрешить к употреблению в библиотеках церковно-приходских школ. Считаю нужным присовокупить, что из этих книг „Выбор из сочинений Ф. М. Достоевского“ и „Мужик Марей“ вошли в список книг, разрешенных Министерством народного просвещения к употреблению в ученических библиотеках городских училищ по положению 31 мая 1872 г. и в учительских библиотеках начальных школ (ЖМНП, август 1895 г.). Кроме того, „Мужик Марей“ одобрен для библиотек средних учебных заведений и собственною е. и. в. канцеляриею рекомендован для чтения в сельских и патриотических школах и в приготовительных классах женских учебных заведений. Книжка „Верующие бабы“ также допущена для чтения в учебных заведениях ведомства учреждений императрицы Марии. Ввиду того, что цена моих изданий может считаться высокою, я могу сделать для церковно-приходских школ уступку в 40% и при следующих изданиях предполагаю понизить цену. Имею честь представить

¹⁴ См., например: Список книг, разрешенных Министерством народного просвещения (с июля 1900 г. по июль 1902 г.) для публичных народных чтений, бесплатных библиотек, читален, ученических и учительских библиотек низших и средних учебных заведений. Издание Тверского губернского земства (неофициальное). Тверь, 1902 и аналогичный каталог за 1904 год.

вашеозначенные книги в двух экземплярах каждый и приложить две гербовые марки 80-копеечного достоинства.

Апреля 1896 г.

Вдова подпоручика Анна Григорьевна
Достоевская

Жительство имею: СПб. Троицкая, д. 26, кв. 3». ¹⁵

Ответ Синода от 25 ноября 1897 г. (за № 4153) гласил:

«Г-же издательнице книг <...>
вдове подпоручика Анне Григорьевне
Достоевской.

Журнальным определением Училищного совета при святейшем Синоде от 22 ноября 1897 г. за № 715, утвержденным г-ном обер-прокурором святейшего Синода, ходатайство Ваше об одобрении для церковно-приходских школ изданных Вами вышеназванных книг отклонено, о чем Училищный совет сим Вас уведомляет». ¹⁶

Усилия А. Г. Достоевской оказались тщетными. Не помогло даже близкое знакомство просительницы с самим обер-прокурором святейшего синода — К. П. Победоносцевым (который, кстати сказать, состоял официальным опекуном ее детей!). «Духовное здоровье» русского юношества оказалось для Победоносцева несравненно дороже интересов отдельной, даже опекаемой лично им семьи...

Хотелось бы остановиться еще на одном, более раннем эпизоде, связанном с духовным ведомством и характеризующим отношение этого учреждения к Достоевскому. Вот документ, обнаруженный нами также в делах синодального архива и относящийся еще к 1879 г.:

«В СПб. комитет духовной
цензуры члена архимандрита Иосифа

З а п и с к а

В пятой главе 2-ой части романа г-на Достоевского рассматривается вопрос об отношении церкви к государству с *римско-католической точки зрения*. ¹⁷

Но так как на страницах 737 и 738 сделаны указания на некоторые памятники церковной письменности и даже на жития православных святых без должного к ним уважения [к пра-

¹⁵ ЦГИА СССР, ф. 803, оп. 1, 1896 г., д. 2127, л. 1—1 об.

¹⁶ Там же, л. 2.

¹⁷ Эти слова подчеркнуты в тексте карандашом.

вославной нашей церкви], то без исключения этих мест означенная глава романа неудобна для публичного чтения.

Архимандрит Иосиф
Декабря 24 дня 1879 г.»¹⁸

30 декабря 1879 г. Достоевский выступил с чтением главы «Великий инквизитор» (именно она и составляет указанную в записке архимандрита Иосифа V главу из пятой книги второй части «Братьев Карамазовых») на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета (см.: 15, 388, 518). 21 марта 1880 г. Достоевский сообщал В. П. Гаевскому: «Сам попечитель <М. С. Волконский> присутствовал на чтении. Но после чтения он мне объявил, что, судя по произведенному впечатлению, он, впредь, мне его запрещает читать» (П., IV, 133).

Имя Достоевского вызывало неизменно идейную полемику как при жизни писателя, так и после его смерти. Различные общественные группировки стремились представить автора «Преступления и наказания» своим духовным союзником. В этом отношении любопытен еще один документ, извлеченный нами из фондов Министерства народного просвещения:

«В заседании особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения 10 мая 1902 г. слушали (ст. VI): отзыв члена Н. А. Майкова о книжке: „Русские писатели. Маленькая хрестоматия (№ 7) VII. Составил К. Говоров“. <...> Из перечисления вошедших в книгу статей видно, что подбор сделан совершенно случайно,¹⁹ равным образом случайны и сведения о писателях и, кроме того, не всегда верны, и некоторые совершенно излишни. Так, в статье о Достоевском можно было и не упоминать о причине ссылки его, так как без разъяснения, какое значение имела эта ссылка на Федора Михайловича в смысле существенного изменения его убеждений, такое упоминание может повести к превратным толкованиям, особенно в среде читателей с известным настроением. Далее в той же статье сказано, что Достоевский „особенно любил учащуюся молодежь“. Достоевский особенно строго и несочувственно относился к беспорядкам в высших учебных заведениях, которые производились учащеюся молодежью, и постоянно осуждал ее за склонность к участию в разных подпольных движениях, и если искал сближения с ней, то ради влияния на нее (годы издания „Дневника писателя“). Вообще Достоевского в некоторых кружках почему-то считают в рядах не только либерального, но

¹⁸ ЦГИА СССР, ф. 807, оп. 2, ед. хр. 1629, л. 16.

¹⁹ В книгу вошли произведения Достоевского («Мужик Марей»), И. С. Тургенева, А. П. Чехова, А. М. Горького, А. Н. Майкова.

и революционного движения семидесятых годов, совершенно упуская из вида его характерный роман „Бесы“». ²⁰

Не вызвали одобрения у Н. А. Майкова и другие помещенные в хрестоматии авторы. Особый отдел Ученого комитета определил: «...согласно с изложенным мнением члена Майкова *признать* вышеозначенную книгу непригодною для школьных и народных библиотек». ²¹

Приводим также цензурский рапорт, относящийся к 1887 г.:

«„Из воспоминаний Достоевского“

(«Дневник писателя», 1876)»

На постоянный двор в 40-х годах приезжает фельдъегерь, бежит в буфет, выпивает несколько рюмок водки, затем садится в приготовленную ему свежую тройку и мчится дальше. Едва отъехали, как он встал и тяжелым кулаком ударил ямщика по загривку без всякой причины, тот ежится, погоняет тройку, но ничего не помогает, удары сыплются равномерно, как удары молота, и хозяин двора рассказывает, что все фельдъегери драчуны, но этого все боятся. Он всегда так дубасит ямщиков без причины, так, для удовольствия.

Теперь езда фельдъегерей по казенной надобности прекратилась; но на смену фельдъегерскому кулаку явилась водка, она подобно кулаку бьет беспощадно, забывает окончательно русский народ. Цензор находит рассказ этот неудобным для общедоступного журнала *«нрзб.»* народного и потому полагает запретить.

Цензор Энгельгардт». ²²

В последний раз имя Достоевского встретилось нам в цензурных делах Министерства народного просвещения среди бумаг 1915 г.:

«Отдел Ученого комитета, принимая во внимание отзыв рецензента (проф. И. А. Шляпкина, — *И. В.*), находит собрание сочинений Ф. М. Достоевского в полном виде неподходящим чтением для учащихся низшей школы и потому *не подлежащим допущению* в ученические библиотеки низших учебных заведений, но полагает возможным настоящее издание сочинений упомянутого писателя *признать заслуживающим внимания* при пополнении бесплатных народных библиотек и читален». На документе резолюция товарища министра народного просвещения А. К. Рачинского: «Согласен». ²³

²⁰ ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 172, 1902 г., д. 1903, л. 199—199 об. (см. также ф. 734, оп. 3, д. 99, л. 1919—1923).

²¹ Там же, л. 200 об.

²² Там же, ф. 777, оп. 4, д. 78, ч. III, л. 125 (рапорт вшит почему-то среди бумаг 1899 г.).

²³ Там же, ф. 734, оп. 3, 1915 г., д. 145, л. 2508.

Итак, вплоть до 1917 г. Достоевский оставался для царской власти писателем «нежелательным» для русской учащейся молодежи (и в первую очередь для «низшей» школы, т. е. наиболее разветвленного и демократического учебного института). Мнение о недоступности Достоевского разумению юного читателя достаточно прочно укоренилось в кругах также и высшего педагогического начальства.

И все же «русские мальчики» с упоением читали его великие романы, несмотря на любые педагогические запреты. В посмертном поединке Достоевского с цензурой победа в конечном счете осталась на стороне правды.

Ф. И. ЕВНИН

ДОСТОЕВСКИЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX—НАЧАЛА XX ВЕКА

(Заметки)

В последнее время внимание литературоведов все более настойчиво привлекает важная, но пока малоисследованная проблема воздействия творчества Достоевского на русских писателей конца XIX—начала XX века. Появились работы «Достоевский и Блок», «Достоевский и Л. Андреев», «Достоевский и Горький». Но и по сей день проблема эта разработана недостаточно. Данный этюд содержит некоторые частные наблюдения на эту тему. Не претендуя на обобщающее значение, он иллюстрирует широкое и плодотворное влияние идей и образов Достоевского на последующий ход литературного процесса.

Отголоски «бунта» Ивана Карамазова
в рассказе В. Г. Короленко «Сон Макара»

По содержанию и направленности творчества Короленко был далек от Достоевского. Его литературными «вдохновителями» справедливо считают прежде всего Г. И. Успенского и Тургенева. Находясь под явным впечатлением известной статьи Н. Ю. Михайловского «Жестокий талант», Короленко весьма критически отзывался о том, что он считал характерным для Достоевского методом преломления жизненных явлений в художественном творчестве. Многие в мировоззрении и творческом наследии Достоевского вызывало у него живейший отпор.¹ За всем тем он высоко ставил автора «Братьев Карамазовых»,

¹ Об отношении Короленко к Достоевскому см. содержательную статью: Морозова Т. Г. Короленко критик Достоевского. — Лит. наследство, т. 86, М., 1973, с. 621—642.

В черновом варианте статьи о Л. Н. Толстом (1908) Короленко писал, что русские могут гордиться тем, что «наша родина дала всемирной литературе двух таких писателей, как И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой, — можно прибавить и третье имя — Достоевский».² В окончательном тексте этой статьи Короленко, отдав явное предпочтение Толстому, все же отметил, что у Достоевского «местами, как клочки неба в черных лесных озерах, „сверкают“ откровения изумительной глубины и силы».³

Не могли не будить сочувственного отклика в душе Короленко демократизм и гуманизм Достоевского как певца и защитника «бедных людей». В речи Достоевского на могиле Некрасова, которую Короленко довелось самому услышать, наибольшее впечатление на него произвело «то место, когда Достоевский своим проникновенно-пророческим <...> голосом назвал Некрасова последним великим поэтом из „господ“». Придет время, и оно уже близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа <...> Мне долго потом вспоминались слова Достоевского, именно как предсказание близости глубокого социального переворота, как своего рода пророчество о народе, грядущем на арену истории».⁴

Отвергая многое в идейно-художественном наследии Достоевского, Короленко с большим пиететом писал о нем как о «беспощадном и суровом поэте „униженных и оскорбленных“».⁵ Тема безвинных, ничем не заслуженных человеческих страданий, несовершенства всего существующего уклада жизни, с такой силой воплощенная в главах III—IV книги пятой «Братьев Карамазовых», не могла не волновать Короленко. Она и нашла прямое отражение в произведении, положившем начало широкой известности писателя, — в святочном рассказе «Сон Макара». У Достоевского вопрос о «страданиях деточек», о торжестве зла на земле поднят до уровня важнейшей философской проблемы. Бунт Ивана — это бунт против бога как творца всего сущего. Иван оспаривает важнейшие атрибуты его — благость, милосердие, любовь к людям. Он гневно осуждает все мироустройство как несовершенное и несправедливое. И в мудрой социально-философской притче Короленко основу составляет мотив богоборчества. И здесь человек дерзновенно восстает против бога, вменяя ему в вину свои горести и страдания — и даже свои преступления.

Уже в первых строках рассказа автор дает понять, что речь пойдет не просто о крестьянине из глухой слободки, затерявшийся в якутской тайге, но о фигуре более общего плана: «Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие,

² Цит. по статье Т. Г. Морозовой — Лит. наследство, т. 86, с. 626.

³ В. Г. Короленко о литературе. М., 1957, с. 127.

⁴ Короленко В. Г. Собр. соч., т. 6. М., 1954, с. 199 («История моего современника», часть четвертая, гл. X).

⁵ Короленко В. Г. Полн. собр. соч., т. 3. СПб., 1914, с. 360.

угрюмые страны, — тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки». ⁶ Перед нами, следовательно, обоиденный судьбой бедняк, неудачник вообще — персонаж русского фольклора. Само имя его (Макар по-гречески — «счастливчик») имеет символический смысл — полно горькой иронии. Темный, одичавший (полу-русский — полу-якут), Макар влачит самое жалкое существование. «Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод» (с. 104). И вдруг чудесный сон переносит его в хоромы большого Тойона — самого господ бога. Макару снится, что он умер и над ним вершится последний суд. На одну — золотую — чашу весов кладут «Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу» (с. 125), на другую — деревянную — все его обманы, прегрешения, все выпитые им бутылки водки. И хотя тяжела была работа Макара, деревянная чаша в конце концов перетягивает золотую. Старый Тойон готов уже вынести бедняге жестокий приговор, но тут с Макаром происходит нечто странное. Он, «который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова» (с. 126). Ничуть не боясь всемогущего Тойона, он страстно оспаривает справедливость его приговора, заявляя о непосильности понесенных им трудов, о непомерности испытанных им страданий. «Его гоняли всю жизнь! — говорит Макар. — Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу (приношения от верующих. — Ф. Е.), гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!..» (с. 127).

«Пусть <...> поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжело, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелой нуждой» (с. 128). Он так и не узнал, «зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь его бедные кости» (с. 127). Ему пришлось рубить жерди в лесу и тогда, когда заболела его жена («он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!»), и после смерти жены — чтобы «заплатить за женин дом на том свете» («старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал»). По мнению Макара, нарубленные им тогда возы дров «надо считать впятеро и даже более» (с. 127—128).

Рассказ Макара заставляет Тойона прослезиться, золотая чашка весов начинает опускаться, а деревянная — подниматься. Но большой Тойон все же с упреком спрашивает Макара, почему же он так непохож на его праведников, у которых глаза

⁶ Короленко В. Г. Собр. соч., т. 1. М., 1953, с. 103. — В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте.

ясны, лица светлы, одежды без пятен, сердца мягки. «А ты посмотри на себя <...> Лицо твое темное <...>, глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев» (с. 128—129).

Но Макар и на это находит ответ: в его недостатках и преступлениях повинен не он. Он говорит, что у праведников, живших в богатых хоромах, глаза ясны потому, что не проливали слез столько, сколько их пролил он, а чистые одежды сотканы чужими руками.

«И он родился, как другие, — с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире. И если теперь он желает скрыть под землю свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? — Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение» (с. 129).

Отчаяние, гнев, ярость переполняют душу Макара. Но все услышанное пробуждает у Тойона глубокую жалость к барахсану (бедняге, — *Ф. Е.*), и он обещает ему, что на том свете и для него «найдется правда». Сознание того, что его жалеют, смягчило сердце Макара. «И он заплакал... И старый Тойон тоже плакал <...> А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!...» (с. 130).

В нашем литературоведении прочно утвердилась трактовка рассказа «Сон Макара» как важной вехи в эволюции взглядов Короленко на народ и его возможности. В наиболее развернутом и аргументированном виде она была высказана в монографии Г. А. Бялого «В. Г. Короленко» (1949). По мнению Г. А. Бялого, «Сон Макара» — свидетельство о том, что в душе самого тихого, самого убогого и дикого Макара таится «сон» о социальной несправедливости... и маячит ничем не угасимая надежда на «лучшую долю», что эта надежда вот-вот перейдет в великий гнев и ярость, потому что «в сердце его истощилось терпение».⁷

С теми или иными вариациями трактовка эта, ограничивающая смысл произведения социально-политической сферой, нашла выражение в ряде последующих специальных работ, посвященных рассказу, например в статье В. И. Каминского «„Сон Макара“ и народническая беллетристика 1870—1880-х гг.»⁸, статье Г. А. Васильевой «Рассказ Короленко „Сон Макара“»⁹, в статье А. К. Котова «Владимир Галактионович Короленко» (1953)¹⁰ и т. д.

Не подлежит сомнению, что это толкование проясняет многое

⁷ Бялый Г. А. В. Г. Короленко, Л., 1949, с. 64.

⁸ См.: Русская литература, 1960, № 2, с. 146—160.

⁹ Научные записки Государственного музея Короленко, вып. 1. Полтава, 1961, с. 3—27.

¹⁰ См.: Котов А. Статьи о русских писателях. М., 1958, с. 37.

в авторском замысле и в идейном содержании рассказа. И все же, на наш взгляд, ставшая традиционной трактовка не исчерпывает ни объективного содержания произведения, ни творческих намерений Короленко. Они глубже, значительнее. Мы решаемся восполнить и углубить ее иной, при которой мотивы социально-политического протеста при всей их важности оказываются чем-то частным, производным. Думается, рассказ Короленко — произведение более широкого, философского, плана. Замысел автора можно кратко сформулировать так: оправдание человека, возвеличение его, утверждение его права на радость и счастье. (Это ведь и лейтмотив всего творчества Короленко!) Темный и дикий обитатель якутской тайги, влачащий жалкое полуживотное существование в тяжелом единоборстве с силами природы, обманываемый и эксплуатируемый исправниками и заседателями, старостами и попами, сумел сохранить в себе лучшие человеческие качества. Он, правда, любит выпить, жуликоват — не прочь иногда присвоить себе лисицу, попавшую не в его, а в чужой капкан, или обвесить кого-нибудь на безмене. Но разве не очевидно, что все это следствие непереносимо тяжелых условий жизни. И как далеко на задний план отступает это по сравнению с сильными, бесхитростно-человеческими чувствами его к жене и детям.

Но главное в рассказе о Макаре — это мотив богоборчества, составляющий сюжетный и идейный стержень произведения. Он восстает против самого Великого Тойона (воплощающего и природные и общественные силы, обрекающие таких, как Макар, на полуживотное существование) во имя своего человеческого достоинства, во имя своих человеческих прав.

Если бы в рассказе шла речь только о социально-политическом неравноправии и гнете, не было бы так много сказано о враждебности к Макару жестокой северной природы (за которой стоит тот же Тойон — мироустроитель): Макара «гоняли» не только старосты и исправники, но и «морозы и жары, дожди и засухи <...> промерзшая земля и злая тайга» (с. 127). Не случайно смерть Макара изображается как следствие того, что на него ополчаются силы безжалостной природы: тайга «смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды <...> молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением» (с. 113). Издеваются над замерзающим Макаром и звери, за которыми он когда-то охотился.

К обобщенно-философскому осмыслению притчи Короленко побуждает и поэтика ее, напоминающая кое-чем поэтику народной сказки. Уже герой ее (мы это отметили ранее) — фигура обобщенного плана, вроде Иванушки-дурачка русского фольклора. Стихия рассказа — фантастика и символика. В фантастическом сне, где якутские реалии искусно сплетены с наивными религиозными образами и представлениями, многое имеет скрытый, по-

таенный смысл. Он сквозит за невероятными приключениями героя и совершающимися с ним чудесами — от обстоятельств его смерти до чудесного обретения дара слова на загробном суде.

В пользу предлагаемой трактовки свидетельствует, видимо, и история текста рассказа, концовка которого претерпела до напечатания существенные метаморфозы. В первоначальном варианте шла речь о пробуждении Макара ото сна, посещении им церкви и разговорах с попом и дьячком. Поп бесстыдно требует у Макара дров за крестины уже умершего ребенка, дьячок же берется за некоторую мзду разъяснить смысл увиденного Макаром сна. По его толкованию, сон этот — «к лисице», которую Макар поймает в капкан. Подобная концовка усиливала социально-обличительное звучание произведения, наглядно демонстрируя, как бессовестно обманывают несчастного Макара. Но в то же время, переключая действие в плоскость повседневного быта, она умаляла, отодвигала на задний план значение того великого спора, который вел Макар с самим господом богом. Естественно, что концовка эта была отброшена.

В следующем варианте уже ничего не говорилось о посещении церкви, о попе и дьячке. Но и здесь сообщалось о пробуждении Макара от чудесного сна. Рассказ кончался тем, что Макар, вернувшись к реальности, горько жалеет, что не умер действительно. И подобный финал представлял собой снижение, прозаизацию по сравнению с тем уровнем идейного и эмоционального звучания, который был достигнут в предыдущей сцене, завершающей описание сна: Макар и большой Тойон сокрушаются о несовершенстве жизни. Эта сцена (см. выше — с. 209) и стала в печатном тексте финальной, а версия с пробуждением героя была отвергнута.

Несомненный интерес для нашей темы представляют пометы Короленко на полях «Братьев Карамазовых». На дошедшем до нас экземпляре романа из личной библиотеки писателя много помет как раз в главе «Бунт» книги 5-й.¹¹ Отчеркнуты целые страницы. В ряде мест Короленко на полях ставит знак NB (в частности, там, где Иван требует возмездия за людские страдания). Ряд строк в тексте главы подчеркнут (например, те, где Иван заявляет, что возвращает свой входной билет на мировую гармонию).

Думается, тезис о близости проблематики и об историко-литературной связи между рассказом Короленко (в отстаиваемом нами понимании его¹²) и бунтом Ивана Карамазова не нуждается

¹¹ См.: Кронрод И. А. Пометы В. Г. Короленко на книгах Достоевского. — Лит. наследство, т. 86, с. 652—653.

¹² Необходимо указать, что богоборческий смысл «Сна Макара» был отмечен Д. С. Мережковским в книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893). Здесь говорится, что у Макара «в последнюю минуту, из какой-то страшной, неведомой глубины

ется в дальнейших обоснованиях. И тут и там человек дерзает бросить «творцу-вседержителю» обвинение в несовершенстве созданного им мира. И тут и там говорится о непереносимости человеческих страданий на земле. И тут и там страдания эти вызывают великий гнев смелого обвинителя: Иван требует отщепеня и возвращает «входной билет» на мировую гармонию, Макар готов целиком отдаться бурующей его ярости.

Встает, однако, вопрос: когда и где мог Короленко ознакомиться с романом Достоевского в целом и с главой «Бунт» в частности? Глава эта впервые увидела свет в составе майского номера «Русского вестника» за 1879 г. Но уже в марте 1879 г. Короленко был арестован, а вскоре и выслан из Петербурга. Для него начался период скитаний по тюрьмам и ссылкам, который завершился лишь в 1885 г., рассказ же «Сон Макара» был написан в 1883 г. во время пребывания в Якутии.

Ответ не представляет затруднений. С июня по октябрь 1879 г. Короленко жил в относительно свободных условиях в г. Глазове. В его письмах этого периода есть ряд упоминаний о посещении им глазовской библиотеки.¹³ Еще больше возможностей для ознакомления с текущей периодикой писатель имел во время пребывания в Перми с сентября 1880 г. до августа 1881 г.¹⁴ В декабре 1880 г. вышло уже отдельное издание «Братьев Карамазовых». Представляется вероятным, что Короленко использовал в Перми возможность ознакомиться с полным текстом романа писателя, речь которого на могиле Некрасова произвела на него столь сильное впечатление.

Близость или совпадение проблематики, о чем мы так много говорили, вовсе не означает, конечно, совпадения идейных позиций. Общие для обоих писателей мировоззренческие проблемы решались ими вовсе не одинаково. Короленко полностью солидаризуется с инвективами Макара, чего никак нельзя сказать об отношении — гораздо более сложном — Достоевского к бунту Ивана: это с несомненностью выясняется из последующих книг романа. Оправдание и возвеличение человека, с такой силой про-

человеческого духа поднимается не мольба, а крик свободы... Когда Иов, Фауст, Манфред или Каин обращаются с криком возмущенной совести к Верховному Судье, вы чувствуете, что они имеют право на голос... Но дикий полуживь из глубины обледенелых тундр, пьяный, уродливый, грязный якут — имеет ли он такое же право на крик свободы и возмущения, как древние титаны человеческого духа? Да, имеет!.. И даже еще большее право, потому что он — бессилен, дик, безобразен и, наперекор всему этому, он человек, а не зверь» (с. 69). Но Мережковский игнорирует социальную проблематику рассказа Короленко, а без этого невозможно правильно осмыслить и оценить его.

¹³ Короленко В. Г. Письма из тюрем и ссылок. 1879—1885. Горький, 1935, с. 26, 39, 45.

¹⁴ О том, что писатель посещал Пермскую общественную библиотеку, упоминается, например, в «Истории моего современника» (Третья книга, часть 3, гл. II — см.: Короленко В. Г. Собр. соч., т. 7. М., 1955, с. 187).

возглашаемые в рассказе Короленко, играют важнейшую роль и в проблематике «Братьев Карамазовых», но они преломлены там иначе, имеют другой смысл и звучание.

**Отголоски рассказа Достоевского
«Мальчик у Христа на елке» в последующей литературе**

Святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке» был напечатан в январском номере «Дневника писателя» за 1876 г. Это яркое воплощение темы, проходящей через все творчество Достоевского, — о несчастье, безвинно страдающем ребенке. В хронологическом соседстве с ним оказываются образ маленькой девочки из «Сна смешного человека» (1877) и «дитё» из книги девятой «Братьев Карамазовых» (1880).

Как и в других произведениях Достоевского, драма маленького существа, о котором идет речь в рассказе, это драма ребенка, у которого отняты радости детства, который в самом раннем возрасте столкнулся с жестокой прозой жизни — голодом, холодом, нищетой, социальной несправедливостью. Привезенный в Петербург откуда-то из глухой провинции, заночевавший вместе с тяжело заболевшей матерью в холодном подвале шестилетний мальчик, проснувшись, оказывается предоставленным самому себе. Его мама ночью умерла, земные странствия самого малыша кончаются тем, что он замерзает в одной из петербургских подворотен. Но рассказ на этом не кончается: мальчик попадает на елку к Христу. Это елка для всех безвременно погибших детей — несчастных, отверженных, обделенных на жизненном пиру. Она ярче и радостнее той, которой мальчик любовался в одном из петербургских окон.

Подобное разрешение жизненной драмы, обрисованной с таким реализмом, естественно, представляется современному читателю иллюзорным. Но и его покоряет глубина проникновения Достоевского в психологию ребенка, сила сочувствия его человеческим горестям и страданиям.

Напрашивается сопоставление святочного рассказа Достоевского с одним из произведений Л. Андреева — написанным в 1899 г. «Ангелочком». Но прежде всего следует сказать о том значении, которое имело для Л. Андреева наследие Достоевского в целом.

Беседа в 1916 г. с Л. П. Гроссманом, Л. Андреев заявил: «Из ушедших русских писателей мне ближе всех Достоевский. Я считаю себя его прямым учеником и последователем».¹⁵ Н. Н. Ходотов вспоминает признание Л. Андреева на одном товарищеском ужине писателей и артистов, что Гойя и Эдгар По —

¹⁵ Гроссман Л. П. Беседы с Леонидом Андреевым. — Собр. соч., т. 4. М., 1928, с. 250.

только братья его, «но отец мой — Федор Михайлович».¹⁶ Возвеличению и прославлению Достоевского должна была служить написанная Л. Андреевым четырехактная пьеса «Милые призраки» (1916), в которой главный персонаж Михаил Федорович Таежников — почти не «загримированный» Федор Михайлович Достоевский. Литературным связям Л. Андреева с Достоевским посвящен ряд статей и даже книг — начиная с дореволюционной поры и вплоть до наших дней. Но в них рассматриваются почти исключительно центральные произведения Л. Андреева — его философские повести и драмы — такие как «Мысль», «Мои записки», «Анатэма» и др. Однако и в его социально-бытовых и социально-психологических рассказах нетрудно распознать отражение идей и взглядов Достоевского. Так, например, тема «добродетельной проститутки» (Лиза из «Записок из подполья», Соня Мармеладова из «Преступления и наказания») нашла воплощение в рассказах «Памятник» (1899), «На реке» (1900). Как и у Достоевского, образы «падших» женщин в этих рассказах овеяны не только глубоким авторским сочувствием, но и обаянием подлинной, высокой человечности: в моральном отношении они оказываются неизмеримо выше людей из «порядочного общества», которые относятся к ним со снисходительной «жалостью».

То же можно сказать и о другой важнейшей теме Достоевского — изображении обездоленного, обиженного судьбой ребенка. Традицию, восходящую к автору «Униженных и оскорбленных», продолжают, например, рассказы «Петька на даче» (1899), «Гостинец» (1901).

Но наибольший историко-литературный интерес среди этой группы произведений Л. Андреева должен вызвать уже упомянутый рассказ «Ангелочек». О том, что сам автор высоко его ценил, можно судить по тому, что в первом сборнике рассказов Андреева («Знание», 1901) ему отведено второе место — сразу после на шумевшего «Большого шлема».

Здесь речь идет уже не о маленьком мальчике, как в святочном рассказе Достоевского, а о 13-летнем гимназисте Сашке. Сюжетная канва значительно сложнее — отчетливо обрисованы и другие лица: рано спившийся отец и бездушная, грубая мать Сашки. Но и тут та же самая основная коллизия. Оскорбленный жизнью мальчик, лишенный всех утех детства, внезапно сталкивается с иным миром, озаренным радостью. В центре этого мира рождественская елка с ее манящими дарами.

Нужда и пьянство родителей сделали безрадостным детство Сашки, рано озлобили его против окружающих. Получив от богатых «благодетелей» приглашение на рождественскую елку, он воспринимает красоту и яркие огни елки, столпившихся вокруг

¹⁶ Ходотов Н. Н. Далекое — близкое. М., 1962, с. 213—214.

чистеньких и благообразных детей как нечто чуждое и враждебное. Но вот Сашка замечает на елке воскового ангелочка с изящными ручками, прозрачными крылышками и, как ему кажется, с каким-то особенным выражением лица. «Сашка не создавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил... любил больше, чем отца, и больше, чем все остальное». Ему удается выпросить ангелочка у хозяйки, и он приносит его домой. Ангелочек с рождественской елки становится для Сашки воплощением всего того радостного и светлого, чего не было в его жизни. «Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетанием его прозрачные стрекозиные крылышки...».

Как видим, воплощение и развитие той же, что и в рассказе Достоевского, коллизии здесь совершенно иное. Однако глубокое внутреннее родство сравниваемых произведений было в свое время отмечено таким тонким ценителем, как А. Блок. В одной из записных книжек его (1905) есть запись: «Рождество. Золотой век... Мальчик на елке у Достоевского и у Л. Андреева».¹⁷ В статье Блока «Безвременье» (1906) прямо указывается, что «Ангелочек» Андреева «наглядно совпадает с „Мальчиком у Христа на елке“ Достоевского».¹⁸

И разрешение жизненной драмы обездоленного ребенка у Андреева иное, чем у Достоевского, более правдоподобное — трагическое. Неосторожно подвешенный к отдушине печки ангелочек под влиянием тепла постепенно тает, превращаясь за ночь в бесформенную массу воска. Суровая проза жизни ничего не оставляет от туманных детских мечтаний.

Созданный Андреевым образ воскового ангелочка вдохновил Блока написание одного из его шедевров — стихотворения «Сусальный ангел» (1909). Это стихотворение оказывается, таким образом, следующим этапом в развитии темы, навеянной рассказом Достоевского.

Уже у Андреева предметом детских вожделений становится не рождественская елка, но лишь ангелочек с елки, причем образ этот приобретает символический смысл. Он вбирает в себя всю тоску раненой детской души по лучшей жизни.

В стихотворении Блока значение символа углубляется — до человеческих мечтаний и надежд вообще, а раскрытие его обретает лирическую силу и выразительность. Здесь уже не изобра-

¹⁷ Блок А. Записные книжки 1901—1920 гг. М., 1965, с. 70.

¹⁸ Блок А. Собр. соч., т. 5, М.—Л., 1962, с. 68.

женные со стороны переживания ребенка, по горестная жалоба поэта на обманутые чаяния и стремления.

В начале стихотворения сохранилось еще упоминание о том, что ранее играло столь существенную роль, — о рождественской елке и собравшихся вокруг нее детях:

На разукрашенную елку
И на играющих детей
Сусальный ангел смотрит в щелку
Закрытых наглухо дверей.

Но в дальнейшем речь идет только об ангелочке. Он гибнет так же, как в рассказе Андреева:

А няня топит печку в детской,
Огонь трещит, горит светло...
Но ангел тает. Он — немецкий.
Ему не больно и тепло.

В заключительных двух строфах по сердцам ударяет проникновенный голос поэта, разъясняющий смысл случившегося: человеческие мечтания обречены на гибель:

Помайтесь, тайте и умрите,
Создания хрупкие мечты,
Под ярким пламенем событий,
Под гул житейской суеты!

Так! Погибайте! Что в вас толку?
Пускай лишь раз, былым дыша,
О вас поплачет втихомолку
Шалунья девочка — душа...

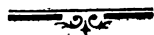
Сказанного, однако, недостаточно для определения места в литературном процессе, которое занимает святочный рассказ Достоевского. Сейчас наступила пора бросить взгляд назад — к литературным истокам «Мальчика у Христа на елке».

Упоминание в черновых записях Достоевского имени немецкого поэта дало возможность Г. М. Фридлиндеру установить, что сюжетная канва названного рассказа восходит к стихотворению Рюккерта «Елка сироты» (1816). Исследователь показал, сколь радикальному переосмыслению подверглось под пером Достоевского содержание баллады Рюккерта.¹⁹

В итоге представляется, следовательно, возможность проследить целых четыре звена историко-литературной преемственности в развитии интересующей нас темы, как бы шествующей через страны и века. Правда, начальное и конечное звенья этой цепи уже имеют мало общего между собой.

¹⁹ См.: Фридлиндер. Реализм Достоевского. М.—Л., 1964, с. 297—307.

От сентиментальной рождественской баллады Рюккерта, где вся обстановка и действующее лицо совершенно условны и схематичны, где нет и намека на социальные противоречия, — к глубоко реалистическому (несмотря на явление Христа замерзающему мальчику), к насыщенному психологизмом и социальным драматизмом рассказу Достоевского. От него — к замечательному рассказу Л. Андреева, где реализм ничем не нарушается, а центральная коллизия облечена в форму емкого образ-символа. В последнем звене цепи — гениальном создании Блока — от первоначальной сюжетной схемы почти ничего не остается, но небывалой силы достигает эмоциональное звучание и новой глубины тема — ею стала трагичность человеческого существования.



И. Б. РОДНЯНСКАЯ

ВЯЧ. И. ИВАНОВ. СВОБОДА И ТРАГИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. ИССЛЕДОВАНИЕ О ДОСТОЕВСКОМ

(IVANOV V. FREEDOM AND THE TRAGIC LIFE. N. Y., 1957. 166 p.)

(Реферат)

Монография видного русского поэта и мыслителя-символиста Вячеслава Иванова о Достоевском вышла в 1932 г. на немецком языке.¹ В 1957 г. она была издана в английском переводе. Оригинал написан по-русски, но на родном языке автором в окончательной редакции не публиковался. Книга Вяч. И. Иванова приобрела на Западе значительную известность и оказала влияние на ряд западноевропейских и американских работ, посвященных художественному методу, философии и антропологии Достоевского.

В основу монографии легли статьи, опубликованные в 1910-х годах.² Перерабатывая их для труда, адресованного западному читателю, автор сократил и модернизировал их. Однако в книге сохранилась та общая концепция творчества Достоевского, которая сложилась у Вяч. Иванова в эпоху, когда он выступал в качестве теоретика русского символизма. Вместе с тем в ней отразилось увлечение «глубинной психологией» К. Юнга и связь с католическими доктринами, что характерно для зарубежного периода Вяч. Иванова. Книга представляет интерес, так как дополняет наше представление о мифо-символическом

¹ Ivanov V. Dostojewskij. Tragödie—Mythos—Mystik. Tübingen, 1932.

² Иванов В. 1) Достоевский и роман-трагедия. — В кн.: Иванов В. Борозды и межи. М., 1916, с. 3—60; 2) Экскурсы: основной миф в романе «Бесы». — Там же, с. 61—72; 3) Лик и личины России. — В кн.: Иванов В. Родное и вселенское. М., 1918, с. 125—169; 4) Легион и соборность. — Там же, с. 37—46.

прочтении Достоевского поэтами и мыслителями, связанными с идеями русского символизма.

Три части книги раскрывают, по замыслу автора, три аспекта в рассмотрении художественного мира Достоевского: «трагедийный», «мифологический» и «теологический». В первой части развернута характеристика «романа-трагедии» — новой художественной формы, которую, по Вяч. Иванову, Достоевский создал для адекватного выражения своей философии жизни. Во второй части говорится о мифологических истоках и корнях художественного творчества вообще и, в частности, структуры трех романов Достоевского: «Бесы», «Преступление и наказание», «Идиот». Исходным для творчества Достоевского автор считает древнее мифологическое представление о «Матери-Земле»; переплетающееся с гностическим мифом о «душе мира», ее падении и спасении. В третьей части Достоевский изображен как религиозный мыслитель, охваченный пророческим пафосом; такой подход дает автору повод выступить с толкованием «демонологии» и «агиологии» Достоевского, а также с интерпретацией социальной философии писателя.

Заново написанные разделы книги даются в подробном изложении (цитаты приведены в обратном переводе). В приложении цитируются (или излагаются) наиболее примечательные изменения и дополнения, которые автор внес в текст остальных глав, публиковавшихся в дореволюционные годы.

Восстание против Матери-Земли

Вяч. Иванов задается целью выявить мифологическую основу «Преступления и наказания» в ее связи с этическим содержанием романа. Этой теме предпосланы размышления о месте «Преступления и наказания» среди других романов Достоевского.

Автор замечает, что тема Души (Психеи), поработенной силами зла и ожидающей своего освободителя, занимала Достоевского еще в 60-х годах (т. е. до работы над «Бесами», где та же тема решается в историософском плане) и связывалась в его сознании с судьбами России. Этот мотив звучит уже в «Идиоте», но вопрос о богоносном герое разрешился в финале романа отрицательно, и лишь в конце жизни Достоевский, по словам автора, нашел желанный ответ в образе и пути «русского инок» Алеши Карамазова.³

Но «Братья Карамазовы», утверждает далее автор, — творение, возникшее после долгого приурочивания, по концепции своей аллегорическое и дидактическое, а не мифологическое. Главными

³ В этой связи автор указывает на такую деталь: хромая невеста Алеши исцелена его благодатным присутствием и чудом, втайне сотворенным его наставником Зосимой, между тем как хромоножка в «Бесах» погибает. Психея находит, наконец, в лице Алеши своего избавителя.

темами фабулы становятся в нем «исторические аллегории»: непримиримый конфликт между отцом, которым представлен нравственно выродившийся правящий класс, и его старшими сыновьями; отцеубийство, совершенное социальным отщепенцем среди братьев, но вдохновенное и таинственно подготовленное образованным сыном, теоретическим инициатором мятежа; мнимая вина и действительное искупление, возложенные на старшего брата, в котором воплощен дух нации во всех его темных и светлых аспектах; и наконец, акт исцеления, начатый избранниками среди младшего поколения. Автор видит здесь существенное изменение художественного метода, отличающее последний творческий период Достоевского от периода «Идиота» и «Бесов»: «чистый белый свет» бьет прямо в глаза, не преломленный посредствующим планом мифа и воображения. Поэтому автор, рассматривая творчество Достоевского в мифологическом аспекте, обращается не к «Братьям Карамазовым», а к более ранним романам.

По словам его, миф «Идиота» родился из более ранних раздумий над героем «Преступления и наказания». В итоге этих раздумий Достоевский и задался целью показать подлинное величие одного из «чистых сердцем», человека «доброй воли» в евангельском смысле этих слов; он пожелал продемонстрировать современникам возможность подобного положительного характера и его воздействие на текущую действительность.

«Отступник человечества как единого Существа (<...> тот, кто отвергает человечество и, значит, Матерь-Землю, — тот, кто раскольничает и сам становится расколотым, мыслитель и преступник Раскольников, спасенный жертвенностью кроткой женской души; и, с другой стороны, мученик веры в человечество как духовное целое, святой «идиот» Мышкин, который любит Землю больше, чем свою изначальную память о запредельном отчем доме, и приходит, чтобы спасти женскую душу от уз и поругания, — оба они, для Достоевского, два полюса единой концепции. Люциферическому самоутверждению личности, что стремится в первую очередь сберечь себя и жадно приумножить свое достоинство, противопоставлена самоотверженность души, которая, следуя новозаветной заповеди, не боится себя потерять. Отчуждению от Земли противопоставлено единство с нею; отколу от людей — союз с ними; попыткам восстать из ничтожества и бессилия к могуществу и славе — самоотречение и обнищание (кеносис) — преизобилующей духовной силы, рожденной в свете благодати; медленному восхождению к свету — внезапное погружение падачей звезды во тьму» (с. 72—73).

Далее автор переходит к анализу «Преступления и наказания». Петербург, место действия романа, — самый подходящий фон для трагедии ослепленной самонадеянности и восстания Одного против Всех, индивидуальности против Неба и Земли. Этот величественный город, возникший из северных болот, восприни-

мался самим Достоевским как фантастическое измышление (так впоследствии будет сказано в «Подростке»). Он относится к сущности России (подхватывает ту же мысль Иванов), как мираж к действительности, как обманчивая личина к подлинному лицу. «Санктпетербургский период» в русской истории — эпоха величайшего расхождения между действительностью и видимостью, эпоха, которая иссушила чувство органического союза человека с Матерью-Землей и сознание живой реальности Бога и мира. Таков был по крайней мере приговор славянофилов, но они удовлетвовались вынесением этого приговора, тогда как Достоевский, по словам Иванова, проник и в антитезис русской души, в его диалектическую неизбежность. Достоевский разделял пушкинскую любовь к двусмысленному творению «строителя чудотворного», Петра Великого, ибо «мог ли бы без Империи русский дух развиться в мировую духовную силу?» (с. 74).

Литературно-исторические изыскания уже показали, в какой степени «Преступление и наказание» связано с «Пиковой дамой». В понимании самого Достоевского, характер героя этой повести олицетворяет дух целого «петербургского периода» русской истории. Причину неоспоримого сходства обоих произведений Иванов усматривает в том, что оба они являются вариациями одного исходного мифа. «Пушкинский молодой офицер Германн, безродный неудачник (то есть плебей и выскочка, с точки зрения его блестящих и богатых друзей), и голодный гений студент Раскольников — существенно похожи, хотя первый из них — насквозь эгоистический и безлюбивый характер, а второй нежно привязан к матери и сестре и мучится их участью больше, чем своею собственной. Обоим присущи социальная зависть и личное честолюбие, интровертивный и замкнутый душевный склад, стремление втиснуть душевный опыт в отвлеченные схемы; железный контроль воли, сосредоточенной на единственной цели, над страстным темпераментом, почти патологическое сочетание необузданной мечтательности и холодного расчета, моральный скептицизм и, наконец, бессознательное побуждение магически покорить реальность собственным требованиям, — все, что ощущается людьми, входящими в соприкосновение с каждым из этих персонажей, как нечто сомнительное и демоническое в их натурах» (с. 75). Обращает на себя внимание наполеонизм обоих героев: Германн паразитально похож на Наполеона, по мнению друзей, на его совести «по крайней мере три преступления»; мысли Раскольникова тоже обращаются к Наполеону, как к магниту, он восхищается дерзостью Наполеона и его талантом к преступлению.

По мысли автора, судьба обоих героев — у Пушкина и у Достоевского — определяется введением одного и того же мифологического элемента, мифологического лица. «Оба встречают <...> ужасную старуху, у которой они хотят отнять охраняемое ею сокровище, оба навлекают на себя вину за убийство Парки и должны пострадать от ее посмертной мести. Ибо похожая на мумию

старая графиня пушкинской повести, унесшая в могилу волшебный способ обогащения <...> конечно, то же самое бессмертное существо, которое появляется на страницах романа в образе отвратительной процентщицы. Какая роковая сила стоит за этими личинами? Не мстительница ли это, восстающая из тьмы, одна из тех сил Земли, что могут приносить и счастье и горе, знают тайны судеб и хранят ключи от подземных богатств? Не посланница ли она Матери-Земли, гневно противящейся предерзким и самонадеянным притязаниям призрачной гордости, буйным попыткам отменить решения вечной Фемиды?» (с. 75—76). В системе мифа — это хтоническое существо, ибо все творения Достоевского явственно посвящены восстанию человека против Матери-Земли, ее возмущению и ее умиротворению через востребованное ею и приносимое ей искупление.

По словам Иванова, Достоевский бессознательно следовал народной традиции, почти способной служить фэбулой («ипотесой») для Эсхила и скорее объяснимой в технических терминах древней трагедии, чем в понятиях современной этики: мятежное восстание человеческого высокомерия и дерзости («гибрис») против изначально-священных заветов Матери-Земли; предопределенное безумие злоумышленника; гнев Земли из-за пролитой крови; ритуальное очищение убийцы, преследуемого эриниями духовного смятения, но не кающегося в христианском смысле, — целование земли в присутствии народа, который собрался, чтобы испытать преступника; и открытие, через страдание, правого пути. Этот поцелуй послушания, в трактовке Иванова, — символическая кульминация всего действия, он символизирует примирение между Землей и ее гордым сыном, отъединившимся от органического, вселенского и первореального. Герой «Преступления и наказания» виновен в глазах Земли и получает очищение через принесенную ей искупительную жертву. Когда он совершает это, она, терпеливая и тихая, в своем всепринятии берущая вину на себя, в финале открывается выздоравливающему бесконечным простором степей и пастбищ, где все еще «веет воздухом патриархов», умиротворяет и укрепляет его.

Далее автор переключает «мифологический» смысл романа в нравственно-философский план. «„Преступление и наказание“ <...> было откровением о <...> вине, которую навлекает на себя личность, замкнувшаяся в одиночестве и потому выпавшая из человеческого единства, а значит, и из сферы нравственного закона. Для отрицательного самоопределения индивидуальности найдено было имя — „обособление“. Замкнутость Раскольникова как верховное решение его свободной воли, отрезанной от мирового целого, в конечном итоге выражается в преступлении. Не изоляция следует из преступления, а наоборот, преступление как внешнее событие выражает попытку одинокой личности самочинно утвердиться. Достоевскому кажется, что никаким символическим действием невозможно выразить в достаточной мере

суть странного и неизъяснимого духовного состояния того, кто, как Каин, отверг Бога и людей, избегая и убегая всего живущего. Когда Раскольников, принявший предложенное ему по ошибке подаяние, потом бросает серебряную монетку в Неву, он знает, что этим жестом оборвал последнюю связь между собой и человечеством. На протяжении всего повествования мятежник не кается в совершенном убийстве, а попросту отказывается вынести изоляцию, которую он в безумном обольщении принял за меру духовного величия и добровольно себе навязал» (с. 78—79).

Как показано у Иванова, Достоевский сознательно подчеркивает двойственный характер действий Раскольникова, переплетение в них своеволия и роковой неизбежности. «С одной стороны, все обстоятельства, даже самые тривиальные, складываются так, что каждое в отдельности и все вместе побуждают, заставляют и заклиняют его совершить поступок, по видимости столь противоречащий его натуре, — поступок, исходящий от какой-то странной подсказки извне и, таким образом, немедленно истолкованный Раскольниковым как неумолимая судьба. Все его колебания, попытки сопротивления разбиваются о случайности и неизбежно способствуют роковому шагу, как если бы вся его жизнь была потоком, стремительно текущим к обрыву, скрытому впереди. С другой стороны, все окружение Раскольникова кажется в некотором роде плодом его воображения, и тот, кто случайно заронил в его ум мысль об убийстве старухи, только придал выражение чему-то тайно дремавшему в нем. Раскольников сам создает мир вокруг себя. Он волшебник самоуединенности и заклятьями воли выкликает колдовской мир безумия. В то же время он — узник своего собственного фантома. Его спасает Соня, которая просит своего любимого лишь об одном: чтобы он признал реальность человека и человечества вне себя и торжественно возвестил обращение в эту новую и чуждую для него веру актом исповеди перед всем народом» (с. 78—80). Так в «Орестей» Эсхила внутреннее очищение героя утверждается приговором священного народного ареопага.

В развязке романа Иванов видит выражение «самого важного урока», который Достоевский извлек из внутреннего опыта каторги и ссылки. Достоевский, по собственному его признанию, узнал в Сибири русский народ, разделив с ним унижения и объединившись с ним в страдании; и в то же время на каторге он обратился к Евангелию, восприняв его как выражение народного идеала.

«...Для Достоевского народ как таковой стал вселенским человеческим началом, включающим Бога и противостоящим изолированной личности <...> Отныне Достоевский, говоря о народе, всегда имеет в виду его сверхэмпирическую сущность, в которую погружены корни личности, осознавшей себя членом вселенского тела. И представление Достоевского об этом христианском народе, духовно объединенном в церковь, как о единой душе в оп-

ределенном смысле сливается с представлением о Земле как о мистическом существе, — так что отступник и мятежник грешит не только против церкви, но и *contra naturam* (против естества)» (с. 80—81).

Далее Иванов переходит к размышлениям о метафизике вины и ответственности в романе Достоевского, об идее спасения через искупительное страдание. «В страдании человек воистину соединен со всем человечеством (. . .) Сакральный смысл, а значит, и оправдание страдания в том, что жертва, сама того не ведая, страдает не только за себя, но и за других, спасается страданием не только сама, но и спасает других» (с. 81). Даже «вошь»-процентщица, по этой логике, искупает своим страданием какую-то долю общего греха человечества. Но Раскольников, назвавший старуху «вошью», — не просто грешник, а безумец: он вообразил себя орудием правосудия, которое не в силах постичь; он не облегчает людские горести, а только увеличивает их. Убийство старухи становится, непредвиденно для Раскольникова, и убийством простодушной, невинной Лизаветы. Наставница Раскольникова в покаянии, кроткая сердцем Соня, торгующая собой, чтобы спасти семью, — тоже жертва чужих грехов. Однако, продолжает автор, Соня в отличие от Лизаветы в то же время сама великая грешница, ибо, даже спасая других, она самочинно берет на себя не только страдание, но и проклятие чужих поступков, делая их своими собственными. В грешнике, который искупает свой грех страданием, заключена, по мысли автора, антиномия проклятия и спасения — пока не угасла в нем любовь, пока не стал он, как Свидригайлов, неспособным к любви. Ибо невозможность любви и есть ад (напоминает автор слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»), и неспособный любить полностью исключается из человеческого сотрудничества и в грехе, и в спасении.

Идею искупительного страдания Иванов связывает с идеей ответственности всех за всех и, в итоге, — с представлением о высшем единстве Человечества. Он напоминает, что Достоевский осуждал модные в его время теории безответственности преступника, отнимающие у него достоинство метафизического самоопределения свободной воли и низводящие его на уровень животного; поэтому и смертная казнь, насильственно обрывающая дело искупления и очищения, по Достоевскому, противна Богу и людям. Но вместе с тем преступление — грех не только преступника, а всего общества и общества. Никто не может сказать, что он непричастен к вине виновного. Это мнение Достоевского коренится, по Иванову, в глубочайшем и древнейшем слое русской народной души. Как исповедь Раскольникова перед народом вызывает у автора параллель с «Орестейей» Эсхила, так и отношение Достоевского к проблеме ответственности напоминает ему оценку вины Эдипа в трагедии Софокла. Эдип «стоит перед дилеммой: считать себя автоматом, слепым орудием судьбы, следо-

вательно — несвободным и безответственным, но также и невинным, — или, невзирая на кажущуюся абсурдность и на последствия, утвердить свою свободу и ответственность через свершение суда над собой. Несравненное нравственное величие заключено в том, что Эдип, разгадавший загадку Сфинкса и разрушивший его чары словом „человек“, теперь осуждает себя, бессознательного и невольного преступника, во имя человека. Это иррациональное решение проблемы, поставленной иррациональными существами, управляющими человеческой судьбой, превращает слепого нищего, который во имя человечества дал, посредством искупления, положительный ответ на вопрос о божественности человеческого рода, — в божественное существо и поистине в друга Эвменид).

«По Достоевскому, преступник, конечно, не Эдип, однако он, в сущности, остается ветхозаветным козлом отпущения, тем, кто несет на себе грехи народа <...> В случае Раскольникова воля многих, направленная на уничтожение гадкой старушонки, находит точку опоры в свободном согласии большого человека, который потому-то и болен, что противится Небу и Земле. В «Братьях Карамазовых» Достоевский с мэфистофельской пронцицательностью подмечает, что городские обыватели, столь возмущенные убийством старика Карамазова, втайне надеются, что убийцей и впрямь окажется сын. Это наблюдение помогает понять темный смысл ужасного сна Раскольникова и его роль в строении романа. Раскольникову снится старая кляча, которую до смерти замучила озверевшая глумливая и пьяная толпа. На ком лежит вина за этот отвратительный акт жестокости? Очевидно, не только на ожесточившемся владельце несчастного животного, который куражится, потешая собравшихся, но и на каждом, кто в бессмысленной лихости увеличивает непосильную для животного ношу. Кто в романе похож на эту безответную жертву? Одна только Соня? Нет, и отец ее, и мачеха, и Лизавета. И не только они, а даже убитая старуха-процентщица и, наконец, сам убийца, который осужден или осудил себя на исполнение того, чего требует от него коллективная воля».

«Уже в „Преступлении и наказании“ Достоевский, к своему ужасу, открыл истину, которой он впоследствии придал вес догмы: истину о вине всех людей за всех и за все. Это ужасное открытие разверзло перед ним еще одну бездну, устрашающую и озаряющую одновременно: он начал постигать, что все человечество — это один человек» (с. 83—95).

Чужестранец

Анализируя замысел романа «Идиот», его мифологические, фольклорные и литературные истоки, Иванов вновь подчеркивает идейную преемственность между «Преступлением и наказанием» и этим романом. Указав на главные меты пути зла (внут-

ренная изоляция, помраченное своеволие и «богоубийство»), Достоевский, по словам автора, считал необходимым хотя бы очертить положительный тип человека, который идет по другому пути — пути добра — и вопреки закону жизни, разъединяющему и обособляющему людей, осуществляет на деле принцип всеобъемлющего общения и единства.

Мышкин — не Дон Кихот и не Рыцарь Бедный. Создавая «положительно прекрасного» и в то же время смешного в человеческих глазах героя, Достоевский, согласно тезису Иванова, хотя и был связан с этими литературными образами, родную почву обрел в темной памяти древнего мифа.

«Этот чудак, непохожий на других, как бы сошедший к людям с неведомых высей, едва памятных ему самому; простодушно возвещающий собственный внутренний закон, который несопоставим с человеческими мерками; кротко и радостно несущий знак своего царского помазания; не признанный людьми, но говорящий с ними просто и доверчиво, как если бы они тоже были помазаны; бесконечно близкий к чему-то страстно желанному, но позабытому душами людей, и остающийся чуждым людям, несмотря на благотворную и чудесную силу, исходящую от него, — этот чудак, чужак, чужестранец известен фольклору уже не как светлый бог, сходящий на землю, а как его заместитель-герой, то есть богоподобный человек, который должен пострадать и умереть. Князь Мышкин, никогда не знавший женщин, — уже не Парсифаль первоначального кельтского предания, а „святой дурень“ позднейшей, средневековой легенды. Вместе с тем он — Иван-Царевич старинной русской сказки, простой и чистый сердцем, чуткий ведун, прорицатель и чудодей, друг зверей, читающий в душе природы, как в раскрытой книге, живущий как сомнамбула и, действительно, выказывающий признаки сомнамбулизма в дневной жизни (ср. свидание Мышкина с Аглаей, когда она обнаруживает, что ее возлюбленный заснул на садовой скамейке), ведомый судьбой к предуготованному трону и в сиянии сверхчеловеческой славы внезапно пораженный и унесенный смертью» (с. 89).

Поэт связывает этот сказочно-фольклорный прообраз героя и с мотивами философской мифологии гностицизма: «Князь Мышкин — тип нисходящей духовности, которая ищет Земли; скорее дух, воспринявший плоть, нежели человек, который восходит к духовному» (с. 90). «Мышкин влюблен в Землю и видит в ней нечто, что он созерцал в небесных сферах <...> Отсюда его опыт рая, его непосредственное восприятие природы в той первоначальной чистоте, которая всегда сохраняется в ее вечной сущности и в ее святых глубинах» (с. 90). Мышкин видит, что на светлое лицо Природы легли тени печали, но любит ее за это еще больше, подобно тому как красота Настасьи Филипповны для него еще совершеннее оттого, что на ее лице видны следы страдания.

Мышкин никоим образом не идеалист в духе Раскольникова: «Он переполнен воспоминаниями обо всем увиденном, он обладает солнечно-ясным, божественно-просветленным оком для всего зримого. Другие люди, конечно, не могут помнить того, что хранится в памяти Мышкина, и не видят того, что видит он; им ничего не остается, как считать его дураком. Но почему-то никому не приходит в голову прозвать его выдумщиком. Действительно, он не проповедует никакой идеологии, и хотя мерит человеческие отношения собственной мерою, выказывает непосредственное чувство реальности в понимании людей, их страстей, побуждений и расчетов. Он так безошибочно распознает мотивы человеческих действий, так зрело оценивает положение вещей, что люди постепенно начинают относиться к «идиоту» как к мудрецу. Примечательно, что Мышкин в беседе, в которой от него ожидают признания духовных ценностей, добродушно смеется и называет себя материалистом» (с. 91).

Что касается трагических противоречий, присущих герою романа, то, по Иванову, тайное страдание его души проистекает от «неполноты воплощения». Потому-то Мышкин так любил созерцать водопад в горах Швейцарии — символ того самого неудержимого стремления, что понудило его сойти с родных высот на землю, окутанную пеленой печали. «Почему ему не позволено вполне стать сыном Земли? Почему должен он навеки остаться духом, заблудившимся на Земле, чужестранцем, пришельцем из неведомых сфер? Этот человек, которому красота приносит и счастье и муку, который знает, что красота — неразрешимая для него загадка, но не меньше уверен в том, что она „спасет мир“, который ясновидчески созерцает великолепие Природы без покрывала, — этот человек жалуется: что это за пир, за вечный и бесконечный праздник, пленивший его с раннего детства, но какого ему никогда полностью не разделить? Он все с большей горечью чувствует, что ему нет места на этом празднике, и оттого все больше любит жизнь» (с. 92).

Эту любовь к жизни русской поэт-символист называет голосом «мировой души» в человеке. «Любовь к жизни — к жизни ради жизни, а не к радостям и удовольствиям существования, — любовь, которая выдерживает даже огненное испытание страданием, — в глазах Достоевского великая и положительная духовная ценность. Именно эта любовь к жизни, и только она одна, поддерживает и живит духовно полумертвого Ивана Карамазова <...> Первой любовью Мышкина, когда он пробудился в Швейцарии от темного бесчувствия и впервые взглянул на окрестный мир, — был, как он сам говорит, осел. Между этим ослом и им самим фактически существует двойная связь: не только репутация глупости, какую человеческая несправедливость приво-дила им обоим, но и бескорыстный, упорный героизм той терпеливой выносливости, что рождается из любви к жизни — из любви к жизни, отличающей мученика. Возможно, именно поэтому

в древних оргиастических обрядах осел пользовался совершенно особым почитанием».

Мышкин наделен предчувствием всеобщего примирения (которое, согласно «сентиментально-гуманистической» точке зрения Ивана Карамазова, вообще невозможно); именно поэтому он не похож на других людей и вместе с тем привлекает их к себе. «Время от времени его утешает благодатный свет, озаряющий юдоль слез, где он совершает свой путь. Восприятие Рая на Земле, ежесекундное чувство бессмертия, Мая земной жизни, счастья существования — все это тесно сближает Мышкина с детьми и придает ему духовное сходство с ними».

В связи с этим автор замечает, что метафизика детства у Достоевского заслуживает специального исследования. Дитя — средоточие его учения о мире и человеке. Трагическая судьба России символически изображена в пророческом сне Дмитрия Карамазова на пороге его мученичества: спаленная деревня, умирающие от голода матери с младенцами на руках и как ответ на вопрос о причине всех этих бед — «дитё плачет». «Непростительный грех мира — это грех против детей», — так истолковывает этот сон автор исследования (с. 95—96).

«Мышкин, как и Алеша, — ребенок, когда он среди детей. И в глубине своего существа, хотя его мысль проникла в природу зла, он всегда остается ребенком. Так, по слову Евангелия, он несет в себе свет царствия небесного. Его встреча с детьми происходит в начале его сознательной жизни, и единственное его практическое достижение на земле — это спасение деревенской девочки Мари и беседа с ее маленькими гонителями».

«Но это практическое достижение — лишь первый шаг к исполнению великой и таинственной задачи, которая представлена в мифе как миссия Сопедшего на землю. Небесный посланец, каково бы ни было его имя, должен освободить мировую душу из темницы злых чар. Он должен разбить цепи Андромеды, исхитить Эвридику или Алцесту из Аида, разбудить Спящую Красавицу. Такого освободителя ждет „хозяйка“, околдованная Муриным, хромоножка в „Бесах“, Лиза в „Братьях Карамазовых“ (ибо одна, своею силою, она никогда не начнет ходить), и его же ждет Красота, ниспешшая на землю, чтобы спасти мир („красота спасет мир“), но, как Аштарот гностиков, попавшая в плен матери и поруганная, — сама Вечная Женственность, каковая в „Идиоте“ представлена символической фигурой „Настасьи Филипповны“. Видимо, ее облик у Достоевского восходит к дрезденской Сикстинской Мадонне, которую он особенно любил. Недаром Аглая, пародируя „Рыцаря бедного“, замещает мистические знаки Богоматери инициалами своей соперницы».

«Первый же взгляд на портрет Настасьи Филипповны поражает Мышкина, как удар молнии, и внезапно пробуждает память, как если б он видел глаза Настасьи Филипповны во сне <...> Она тоже припоминает, что они когда-то уже встреча-

лись. Красота ее представляется Мышкину совершенной <...> Тем не менее чувство, какое она возбуждает в Мышкине, — не любовь, а лишь безграничное восхищение и безграничная жалость. К несчастью для Настасьи Филипповны и для Мышкина, оба они существа, которые сошли свыше, ибо любовь Мышкина направлена на Землю и жаждет фигуры, рожденной Землею и восстающей от Земли ему навстречу, а не сходящей к Земле. У Настасьи Филипповны есть соперница — физически цветущая и яркая Аглая <...> Мышкин не может удержаться от влечения к ее земной красоте, как и от влечения к „празднику жизни на земле“, именно по той причине, что его воплощение неполно и он жаждет более глубокого воплощения. Этим удостоверяется трагическая вина небесного посланца, его метафизическое падение, роковая мания, а также коренная причина болезни, что опять наступает на него. Ибо Земля не может с той своей стороны, которую он любит в Аглае, всецело ответить на зов Слова в нем; и Аглая любит его так, что скорее желает соблазнить его и окутать первобытной тьмой, чем достигнуть свободы с его помощью... В Мышкине повторилась история Дон Кихота: его свет упал на непокорную, косную, противящуюся материю, но оказался бессильным преобразовать ее, так что герой стал всего лишь персонажем комедии» (с. 96—98).

Итак, «безграничная божественная жалость» заключает в сердце Мышкина компромисс с другим, неопределенным и, однако, могущественным чувством. Это чувство — тоже не любовь, а дурман первобытных чар Земли,⁴ и оно не находит ни выхода, ни выражения, ибо Мышкину «нет места на празднике жизни». Настасья Филипповна знает, что в лице князя перед нею стоит ее избавитель, ее спаситель, но рука, которую он ей протянул, оказалась слабой рукой человека, остановившегося на полдороге. В результате этого бедственного конфликта в душе Мышкина, предательства им небес, Настасья Филипповна погибает.

По словам Иванова, сопротивление Настасьи Филипповны упорным зовам Мышкина нельзя понимать просто как отказ гордой женщины принять жалость взамен любви. «Порывы ее души несравненно сложнее и благороднее, отношение к призывающему ее освободителю — глубже и шире. Под маской надменности, которую она держит пред миром, как щит, она глубоко смиренна и никоим образом не может быть причислена к „гордым женщинам“ <...> Достоевского <...> женщинам, любящим в своем возлюбленном не человека, а слепок собственных желаний, и эгоистичным даже в минуты крайнего самоотречения. Уничтожение, которое чувствует Настасья Филипповна, — это скорбь по поруганной святине ее женского достоинства, более того — по

⁴ Как замечает автор, при встрече двух соперниц Аглая сидит на садовой скамейке с левой стороны — согласно народному поверью, со стороны духа искушения.

оскверненной и убитой душе. Ее напускное высокомерие, ее подчеркнуто вызывающее поведение, ее самоистязание притворным бесстыдством — все это лишь маска, под которой она скрывает свое отчаяние в избавлении и спасении. Ближе к поверхности ее души судорожно мнутся противоборствующие чувства: смирение и бунт, беззастенчивость и стыд, презрение к людям, отвержение жалости, даже ревность... Однако ее глубочайшие и подлиннейшие чувства, вырастающие из интуитивного проникновения в тайну встречи с Мышкиным, — это плоды религиозного смирения, искреннее покаяние в грехе и нежное, материнское сострадание. В присутствии того, кого она считает небесным гостем, она испытывает благоговейный страх, равно как и горестное сознание своей нечистоты, своего падения... Но в то же время она видит его детскую беспомощность, которая возбуждает в ней материнскую любовь; она чувствует мучительную жалость к нему, болеет его болью и предчувствует его гибель. В духе — она поддерживает его руками и льет над ним слезы, как Богородица на картинах „Пьета“. У нее не должно быть никакого земного соприкосновения с ним. Ее страдный путь приводит ее к проклятому дому Рогожина, как путь Кассандры ведет ее в проклятые покои Атридов, — на нож, на казнь, которую она заслужила и которая должна ее освободить» (с. 99—101).

Переплетение разных мифологических тем, по Иванову, затруднило для Достоевского путь к окончательной художественной ясности. «В „Идиоте“ мы видим, как миф — живая душа романа — порой выходит за границы своей материальной обители и сотрясает ее, не находя полного выражения в физическом плане жизни и романной изобразительности, — так что читатель, который следит за этой стороной повествования, с трудом распутывает его мифологическую основу» (с. 102).

Все в романе загадочно, допускает множество толкований, в том числе и таинственная фигура беспутного дикаря Рогожина. «Бессильный спаситель и убийца, совершающий спасительный акт, связаны магнетическими взаимоотношениями: где один, там неизменно и неизбежно другой. Каждый чувствует — бессознательно, но с абсолютной внутренней уверенностью — приближение другого. Каждый, того не желая, привлекает к себе другого. Как если бы каждый из них облекся на земле в плоть и кровь лишь по зову другого, своего антипода и близнеца. В качестве соперников они дублируют друг друга как „братья-враги“, хотя они представляются существами двух разных миров, не имеющих ничего общего между собой <...> Однако таинственным образом они нуждаются друг в друге и восполняют друг друга. Можно предположить, что эти два характера в их двойстве-единстве представлялись Достоевскому синтезом русской души. Князь из старинного русского рода, которого даже воспитание на Западе (намек на западную культуру русского высшего света) не лишило корней и пароды, — и другой, связанный с ним кровным братством пред-

ставитель темных масс, — оба имеют одну и ту же веру и тот же мистический взгляд на жизнь, точнее, одинаковое ясновидение. Поэтому оба в равной мере узнают метафизический лик Настасьи Филипповны (*ἀνάστασις* — воскресение). Удивительно ли после этого, что они могли стать побратимами, обменявшись крестами, и, несмотря на соперничество, полюбить друг друга, как сыновья одного отца? Оба влекутся к одной женщине, явившись для нее знамением судьбы <...> Один предъявляет на невесту права безграничной любви, которую он, сын Земли, испытывает к небесной Красоте, сошедшей спасти мир; другой предъявляет на нее права сына Небес, исполнившись божественного сострадания к мукам Красоты, которую мир извратил и предал поруганию. Тот, чья любовь — не сострадание, становится сострадательным, когда вызволяет Настасью Филипповну жертвенным ножом; и в эту роковую ночь <...> исполнитель жертвоприношения покоряет Настасью, которая как бы не принадлежит больше Земле, своему другому, лучшему „Я“, своему духовному брату. Этот другой, еще не зная о свершившемся кровавом деянии, по приглашению убийцы располагается близ непорочного брачного ложа, рядом со своей убитой невестой, которая прикрыта занавеской, между тем как Парфен ложится по другую сторону. Эта потрясающая сцена исполнена тихого ужаса, уносящего душу в вихре безумия» (с. 102—104).

В заключение автор, вслед за В. Л. Комаровичем, сопоставляет легендарную основу финальной сцены романа с балладой «Ночная поездка» из цикла Г. Гейне «Романсеро», завершая этим сравнением серию мифологических и литературных параллелей к «самому загадочному» роману Достоевского.

О религиозных взглядах Достоевского

Характеристика религиозных взглядов Достоевского в книге Вяч. Иванова открывается развернутым сопоставлением Достоевского и Данте. Он утверждает, что оба художника стремились обратить жизнь на земле из состояния несчастья и ничтожества к состоянию блаженства; оба искали путь к этой цели, «оба вглядывались в глубочайшие бездны зла, оба сопровождали грешную и ищущую спасения душу по трудным тропам ее восхождения, оба опытно знали блаженство божественной гармонии; каждый хотел показать своему народу его историческое задание в свете христианского идеала» (с. 110).

Тем явственнее контраст между ними. «Учение Данте эпически полно, как церковный догмат, непреклонно, как порядок в Аду, неизменно, как небесная Роза. Между тем апологетика Достоевского динамична и трагична по своему существу» (с. 110—111). Данте с самого начала — один из спасенных, ибо его ведет верный и надежный Вожатый; Достоевский же поначалу «к злодеям причтен», в его опыте «спасающая сила благодати» связана

с сознанием вины всех за всех. Он не отворачивается от изгоев и духовных слепцов, а обитает среди них. «Он знает путь, который ведет к жизни, равно как и путь, ведущий к гибели. Но его отношения с преисподней иные, чем у Данте: ад, который он побеждает, — это распавшаяся часть его собственной души, и пламя чистилища опаляет его бесконечными муками. К Богу он взывает всегда из глубины <...> Нет знамений от Беатриче, ожидающей его на небесах. Только „священная болезнь“ на мгновение поднимает перед ним завесу над вратами в рай».

«Как открывается религиозная правда этому странному апологету? Он исследует человеческую душу в ее болезни, в ее катаклизмах, в глубинах предельного самосознания и судорожного саморазоблачения. Или порою он изображает души, которые <...> невольно и поистине безотчетно отвергают рецепт житейской мудрости: *primum vivere, deinde philosophari* („сначала живи, потом философствуй“), души, все поведение которых — нет, все существование и пребывание в мире — определено тем, что обычно называют „поисками смысла жизни“, то есть решимостью отыскать ответ на коренной вопрос: „принять“ ли, по выражению Достоевского, предстоящий им мир как неизбежность или отказаться от приятия этого мира».

«Достоевский ставит искателей смысла жизни перед основной дилеммой человеческого существования. В моменты духовного кризиса они, как бы при вспышке молнии, видят перед собой лишь два пути, открытые человечеству <...> Анализ решающего самоопределения — которое может состоять лишь в безусловном утверждении или в столь же безусловном отрицании личностью своего метафизического бытия и своей онтологической ценности — дает указания на то, как возможен акт веры. Психолог и мистик опирается на могучую диалектику: исходя из утверждения или отрицания религиозной истины, эта диалектика ведет мысль, принужденную пророчить, подобно Сивилле, к следствиям, вытекающим из обеих посылок и касающимся как личной, так и общественной жизни».

«Достоевский не определяет предмета веры со всей полнотой. Он ограничивается описанием двух возможностей: человек, которого он считает свободным в метафизическом смысле, должен осуществить эту свою (единственно подлинную) свободу посредством окончательного выбора между ними. Здесь имеется в виду не интеллектуальное предпочтение одной из двух гипотез, а признание и решение сердца. „Эвклидовский“ рассудок сосредоточен только на форме, понимание сущности доступно лишь любви. Только любовь может сказать „Ты еси“ и тем подтвердить существование любимого. Только любовь создает реальную связь между познающим и предметом познания, а если любовь гаснет, дух бездействует, замкнутый в склепе с зеркальными стенами. Апория человеческого рассудка: с одной стороны, эмпирическая и божественная реальности кажутся взаимоисключенными, тогда как

с другой — мир без Бога теряет не только смысл, но и реальность, — эта апория разрешается лишь через признание ценности веры, признание, которое возможно для сердца в любой миг» (с. 111—113).

Первый плод такого признания, продолжает свои рассуждения автор, — это восприятие божественного начала в человеке; но лишь в одной человеческой личности божественный образ сияет так ослепительно, что исчезают все сомнения в его победе над силами смерти и тьмы, — в личности Иисуса Христа. «Особое свойство апологетики Достоевского состоит в стремлении не через веру в Бога обрести любовь Христа, а достичь через Христа уверенности в существовании Бога <...> Сокровенная трансцендентная реальность Бога удостоверяется непосредственно воспринимаемой земной реальностью Христа. <...> Но если человек в своем осуществлении подобен Христу, то значит и мир, во всех своих плачевных узах, — все-таки Божий мир, а не „дьяволов водевиль“. <...> Основания веры становятся, как в орфико-пифагорейской догматике Платона, предметом интуитивно-творческого истолкования, и интуиция, подкрепленная диалектикой, перерастает в почти ясновидческое созерцание запредельного. <...> Эти прозрения как бы произвольно соединяются в целостную доктрину» (с. 114—115). По утверждению автора, романы Достоевского — от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых» — предстают как звенья одной диалектической цепи с ее тезисами и антитезисами, лестница одного долгого восхождения к самовыявляющейся идее.

По этой причине, пишет далее Вяч. Иванов, «Достоевский как мыслитель может быть так легко извращен: диалектическая мощь духа, достигающего самосознания, ложно толкуется некоторыми критиками как выражение крайнего скептицизма и отчаяния. Они видят здесь невольную исповедь „другой души“, обитавшей в Кентавре, каковым представляется им Достоевский. Они относятся к нему как к чудовищной смеси мятежного уголовника и лицемерного фарисея; и они, перебирая противоречивые утверждения, вложенные им в уста богоискателей и богоборцев, неумолимо уличают его в неверии в то, что он торжественно провозгласил своим окончательным выводом» (с. 115). По убеждению автора, такой взгляд на Достоевского лишен и психологических, и биографических оснований; его несостоятельность обнаруживается, если подходить к произведениям Достоевского с точки зрения их органического единства. «...Его этика, психология, метафизика, антропология, социология и эсхатология так определяют и дополняют друг друга, что чем глубже мы проникаем в связь между ними, тем очевиднее становится, что для Достоевского литературное образотворчество — лишь средство многообразного развертывания синтетической идеи вселенной, идеи, которую он с самого начала носил в себе как всеобъемлющее видение и морфологический принцип своего духовного возрастания» (с. 115).

Современники признавали и хвалили Достоевского преимущественно как психолога. Они подчеркивали две черты его таланта, чем задолго предопределили отношение к нему литературных судей: во-первых, благородное, но болезненное внимание к страданиям униженных и, во-вторых, исключительную изощренность анализа духовной жизни. Его метафизическая защита личности оставалась («к счастью для его успеха», иронизирует автор) долгое время незамеченной. Достоевский сам жаловался на то, что его «наиболее реальные» открытия игнорируются. Он не был удовлетворен художественным и символическим выражением интуитивного богатства своей души. В «Дневнике писателя» он искал, как Данте в «Пире» и в трактате «Монархия», прямых дидактических форм. Между тем (возвращается к своему исходному тезису автор) его задачей, как и задачей любого художника, было, говоря словами Платона, создание мифов и символов, а не теоретических учений.

Приложения

В первую часть книги Вяч. Иванова («Трагедийный аспект») вошел материал его статьи «Достоевский и роман-трагедия».⁵

Во введении к первой части автор находит некоторые новые формулировки для описания «могучей проблематики» Достоевского: «Соглядатай судеб, Достоевский познал глубочайшие тайны человеческого единства и человеческой свободы: что жизнь в корне своем трагична, ибо человек — не то, что он есть; что рай цветет вокруг нас на земле, и нам не удается видеть его лишь потому, что мы этого не хотим; что вина индивидуальности тяготеет на всех нас, так же как и ее спасение спасает нас всех и ее страдание всех нас умиротворяет; что греховность злого деяния может быть смыта, потому что все должны взять ее на себя, — но не греховность злого сна о мире, ибо в своем одиночестве сновидец держит перед собою зеркало и вынужден поэтому длить свой сон; что вера и неверие не два различных объяснения мира, а два разноприродных духовных мира, существующих бок-о-бок, как Земля и Противоземля...» (с. 5).

Первая часть состоит из двух глав: «Роман-трагедия» и «Трагедийный принцип в философии жизни Достоевского». Первая глава написана на основе раздела «Принцип формы» указанной выше статьи.⁶ Среди важнейших изменений следует отметить, что Иванов во многом пересмотрел свое отношение к роману как к содержательной форме искусства нового времени. Прежде Иванов, в связи с утопической доктриной «теургического искусства», отказывался ставить роман на один уровень с формами искусства античного и средневекового, делая исключение лишь для «романа-

⁵ См.: Иванов В. Борозды и межи, с. 5—72.

⁶ Там же, с. 9—31.

трагедии» Достоевского: «Современный роман, даже у величайших представителей, не может быть признан делом искусства всенародного...».⁷ Теперь автор признает наличие у романа новых перспектив, открытых прежде всего Достоевским, но в будущем обещающих стать скорее правилом, чем исключением. Повторяя свои прежние суждения о Достоевском как о «зодчем подземного лабиринта», как о «тяжелом подземном художнике», в творчестве которого редко бывает видно «светлое лицо Земли, и только вечные звезды глянут порой через отверстия сводов»,⁸ Иванов далее пишет:

«Но подземелье слишком удалено от звезды, чтобы перекинуть между ними мост средствами чистого эпоса, который, подобно реке, растекается заводами по отлогой равнине. Только какая-то беспримерная дионисийская форма искусства могла бы поведать о том, как пропасти души перекликаются между собой („Бездна бездну призывает“, Пс. 41, 8). Сценическое произведение не подошло бы для этой цели, поскольку оно недостаточно интроспективно и к тому же не в состоянии показать все уровни человеческого самоопределения. Существовал, однако, такой род творческой композиции, который, не будучи специально приспособлен к дионисийскому состоянию души, являлся по крайней мере протейчески пластичным, то есть настолько текучим и изменчивым, что, казалось, не был связан ни с какой устоявшейся формой, с равной готовностью и гибкостью включая в себя повествование и комментарий, диалог и монолог, телескопическое и микроскопическое, дифирамбическое и аналитическое. Более того, он, этот литературный род, претендовал на то, чтобы стать самой представительной формой современного искусства, и даже дерзнул бросить вызов великим художественным формам прошлого. В конце концов почему бы новой колеснице Диониса не выехать на многолюдную столбовую дорогу романа? Таким образом, повествователь, рассказывающий о блужданиях по лабиринту, в котором экстатическое служение Матери-Земле являлось для него ариадниной нитью, раскрывается как художник-трагик, и под его пером роман становится трагедией в эпическом одеянии, подобно „Илиаде“» (с. 6).

В свой тезис о тройке — психологической, социологической и метафизической — мотивации человеческой судьбы в структуре романов Достоевского⁹ и о свободе человеческой воли автор вносит уточнения. Каждая индивидуальная судьба имеет свой «Пролог на Небе», пишет он; свободное воление делает человека «единственным божьим созданием, переживающим жизнь трагически.

⁷ Там же, с. 10.

⁸ Там же, с. 9.

⁹ Там же, с. 24—25. — Мысль Вяч. Иванова о трех уровнях художественного мира Достоевского многократно воспроизводилась в зарубежной литературе о писателе.

Как бы сильно он ни зависел в своем материальном и духовном существовании от внешнего мира, он несет в самой глубине сердца собственный автономный закон, которому каким-то образом подчиняется, словно пластический материал, все его окружение <...> Более того, поскольку слово „трагический“ при отсутствии свободного самоопределения вообще не может употребляться в своем прямом смысле, — истинная трагедия человеческой жизни ощутима во внешнем бытии в той мере, в какой она отражает сверхвременную и первородную трагедию „интеллигибельного характера“ (в кантовском понимании). Отсюда следует, что Достоевский подобрал подлинный метафизический ключ к трагической путанице; ибо только таким образом мы обретаем возможность предпослать этой путанице чистую активность свободной воли и вникнуть в нее сквозь призму искусства <...> То, что в трагедиях Софокла выглядит как непостижимое решение судьбы, возвышается Достоевским (как и Эсхилом, который не принимал Ананке и приписывал трагический исход действию наследственного рока) до сверхсознательного акта воли в человеческой душе» (с. 16, 18).

В переработанном тексте более настойчиво, чем прежде, проведено сравнение творческого мира Достоевского с миром античной трагедии. В этой связи значительно расширено рассуждение о трагической катастрофе и катарсисе в романах Достоевского.¹⁰ Вяч. Иванов пишет, что для искусства Достоевского трудно подыскать более точный эпитет, чем «очистительное», катартическое, как бы ни рассматривать концепцию катарсиса, в метафизическом аспекте (как она первоначально возникла в античных мистериях) или в психологическом и моральном (как была она обмирщена у Аристотеля). «Как древние трагики писали особые пьесы, — к примеру, „Прометей Раскованный“, „Эвмениды“, „Эдип в Колоне“, — целью которых было торжественно запечатлеть искупительный апофеоз героического страдания, так и Достоевский рисует нам в эпилоге „Преступления и наказания“ духовное возрождение человека, внутренне доброкачественного, но заблудшего; возрождение как произрастание молодого побега из здорового корня, когда старый ствол спален дотла гневным ударом молнии. Точно так же в последней части „Братьев Карамазовых“ содержится такое возвышенное прославление героического ребенка-мученика, что мы всецело умиротворены и благословляем его безвестное жертвоприношение как неиссякаемый источник примирения» (с. 13—14).

Вторая часть книги («Мифологический аспект») состоит из трех глав: 1. «Очарованная невеста»; 2. «Восстание против Матери-Земли»; 3. «Чужестранец». Введение ко второй части («О Достоевском как о творце мифа») и первая глава соответствуют

¹⁰ См.: там же, с. 21—23.

статье «Экскурс: основной миф в романе „Бесы“». ¹¹ Материал этой статьи организован вокруг мысли о глубинных мифологических корнях творчества великих художников. Вяч. Иванов пишет:

«Разумеется, чем сильнее у писателя чувство *realiora in realibus* (реальнейшего в реальном) — тот пафос, который выразился в строке Гете „Все преходящее — только подобие“, — тем естественнее соприкасается и согласуется он с изначальными образами и образцами ключевого потока мысли, который живет в темной памяти древнего мифа. И обратно, чем глубже поэтическая концепция укоренена в родной почве мифа, тем она в наших глазах значительнее, существеннее и подлиннее, словно мы до сих пор не утратили ощущения ее магнетической силы; так что слова Гете: „Правда была открыта давным-давно“ — полностью приложимы к поэтической правде» (с. 52).

Излагая «миф» романа «Бесы», Иванов дополняет прежнее символическое истолкование романа некоторыми новыми частностями. Зеркальце в руках «хромоножки» Марьи Тимофеевны является, по словам автора, намеком на то, что «душа мира» постоянно отражается в природе. Расширено сравнение «Бесов» с «Фаустом» Гете: хромоножка проклиная Ставрогина — «самозванца», «Гришку Отрепьева» — так же, как Гретхен в финале первой части «Фауста» отворачивается от своего возлюбленного, силою такого же ясновидения распознав природу и ауру его спутника — Мефистофеля. Ставрогина автор считает отрицательной версией русского Фауста: он не должник, а вассал Сатаны, предавшийся ему безвозмездно.

Третья часть книги («Геологический аспект») состоит из двух глав: «Демонология» и «Агиология» (предваренных изложенным выше «Введением»). В первую главу вошли основные мысли двух статей Иванова: «Лик и личины России» (раздел «Пролегомены о демонах») и «Легион и соборность». ¹² Она посвящена символической характеристике двух «демонов», сопровождающих человечество на трагических путях его истории: Люцифера (дух гордыни и «человекобожеского» обособления) и Аримана (дух разложения, гниения и хаоса). Эти соображения дополнены очерком «Записок из подполья», в которых автор видит первый набросок «демонологии» Достоевского, взятой в социально-этическом плане. «Современное положение личности, которая оказалась бессильной из-за ослабления своего высшего духовного самосознания и потеряла себя в жалких попытках утвердить свое безосновное достоинство и независимость внутри дурного — безлюбивного и безрелигиозного — общества, анализируется Достоевским в „Записках из подполья“. Трусливо и злобно замыкается такая личность в своем мирке, скрываясь ото всех людей, копит там свои обиды и мстит

¹¹ См.: там же, с. 61—72.

¹² См.: И в а н о в В. Родное и вселенское, с. 35—46, 125—136.

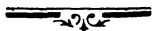
обществу, шипя, как раздавленная змея, из своей Аримановой норы и кусая первого встречного» (с. 134). Но Достоевский даже в этом персонаже признает человеческое достоинство, во имя которого становится на его сторону против общества. В уста «подпольного человека» он влагает элементарную религиозную истину об обществе: истину о том, что отношения между личностью и обществом должны основываться на взаимной любви и взаимной готовности к жертве. Из этой предпосылки Достоевский развертывает уничтожающую критику современных социальных отношений, в которых глубоко укоренилось зло и которые нельзя исправить никакими внешними средствами, заключает автор.

Вторая глава третьей части, посвященная социальной утопии Достоевского в «Братьях Карамазовых», написана на основе трех последних разделов статьи «Лик и личины России».¹³ «Твердая уверенность в осуществлении христианской соборности как священного достояния русского народа вдохновляла Достоевского во всех его произведениях. Торжественное провозглашение и полное развитие этой идеи содержится в последнем его романе» (с. 141).

Вяч. Иванов здесь заново формулирует «русскую идею» Достоевского в нескольких лаконичных положениях: несмотря на исследование русского народного богоборческого нигилизма (очерк «Влас» в «Дневнике писателя»), вера Достоевского в народную душу как сокровищницу глубочайшего и возвышенного гуманного христианского чувства осталась непоколебимой; преобразование всей жизни этим чувством и есть, по Достоевскому, «будущая самостоятельная русская идея».

¹³ См.: там же, с. 136—172.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПИСЬМА П. И. ВЕЙНБЕРГА К ДОСТОЕВСКОМУ

(Публикация Г. В. Степановой)

Настоящая публикация писем к Достоевскому продолжает серию публикаций, запланированную Редакцией академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского (см.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 250—270; Достоевский. Материалы и исследования. 1) Т. 1. Л., 1974, с. 285—304; 2) Т. 2. Л., 1976, с. 297—392; 3) Т. 3. Л., 1978, с. 258—285).

Корреспондент Достоевского — Петр Исаевич Вейнберг (1831—1908) — поэт, переводчик, педагог, общественный деятель. Родился в Николаеве, детство его прошло в Одессе. После окончания гимназии (при Ришельевском лицее) в 1850 г. поступил на историко-филологический факультет Харьковского университета, который закончил в 1854 г. Начал печататься Вейнберг в 1851 г., в 1854 г. выпустил в Одессе свой первый сборник «Стихотворения» (главным образом переводные). 1854—1858 гг. Вейнберг провел в Тамбове, в 1858 г. приехал в Петербург. В 1908 г. он вспоминал: «...по рекомендации поэта Бенедиктова, тотчас же познакомился с Дружининым, редактировавшим „Библиотеку для чтения“ <...> вместе с тем я попал в интимный кружок, состоявший из Некрасова, Тургенева, Гончарова, В. Боткина, Григоровича <...> В то же время начал я помещать кое-что в „Современнике“ и переводить Шекспира для задуманного тогда Некрасовым и Гербелем полного собрания сочинений этого поэта, — писать под псевдонимом „Гейне из Тамбова“ и другие юмористические стихотворения и статьи в „Весельчачке“, а затем в „Искре“ <...> и вообще посвятил все свое время литературной работе...» (Вейнберг П. И. Автобиография. — Минувшие годы, 1908, № 8, с. 173). В 1860—1862 гг. Вейнберг издавал еженедельный журнал «Век», в 1866 г. стал заведовать литературным отделом сатирического журнала «Будильник». В 1868—1874 гг. Вейнберг живет в Варшаве, определившись преподавателем на кафедре русской литературы и рус-

ского языка Варшавской главной школы, преобразованной вскоре в университет.

С 1874 г. до конца жизни Вейнберг живет в Петербурге. Деятельно сотрудничает в «Отечественных записках» Салтыкова-Щедрина и Некрасова; в 1883—1885 гг. издает журнал «Изящная литература». Вейнберг переводит Шекспира, Гете, Барбье, Мицкевича, Гюго, Гейне, Ибсена и многих других поэтов Запада, неутомимо пропагандируя их творчество в своих статьях. Любопытно, что А. Н. Плещеев — поэт, петрашевец, близкий к Достоевскому, — писал Вейнбергу в 1893 году: «...сомневаюсь я также, чтоб Вам дали пенсию, потому что с аверкиевской деятельностью Ваша идти в сравнение не может: его деятельность вполне „благонадежная“, а за Вами есть и грешки кое-какие — хоть бы, например издание переводов Берне, Лассала и пр.» (ИРЛИ, ф. 64, оп. 1, № 27, л. 20).

По-прежнему большое место в жизни Вейнберга занимает педагогическая деятельность. «В продолжение пятнадцати лет, — писал он, — читал я всеобщую и русскую историю литературы на женских педагогических курсах, пять лет был инспектором Коломенской женской гимназии <...> а с 1887 и по это время (1894 г., — Г. С.) состою приват-доцентом С.-Петербургского университета по кафедре всеобщей истории литературы» (Минувшие годы, 1908, № 8, с. 174).

Вейнберг активно участвовал в работе Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературный фонд), в 1900 г. был избран его председателем. В 1905 г. Вейнберга избрали почетным академиком.

О Вейнберге см.: Вейнберг П. И. 1) Автобиография. — Минувшие годы, 1908, № 8, с. 171—174; 2) Безобразный поступок «Века». — Исторический вестник, 1900, № 5, с. 472—489; Фомин А. Г. Библиографический указатель литературных трудов П. И. Вейнберга (I. 1. Отдельные издания. 2. Статьи в книгах, журналах и газетах. II. Переводы). — Минувшие годы, 1908, № 8, с. 175—180; Б. Г. [Глинский Б. Б.]. Памяти П. И. Вейнберга. — Исторический вестник, 1908, № 8, с. 567—576; Луговой Ал. [Тихонов А. А.]. Из моих воспоминаний о П. И. Вейнберге. — Русская школа, 1908, № 10, с. 132—140; Левин Ю. Д. Вейнберг-переводчик. — В кн.: Россия и Запад. Из истории литературных отношений. Л., 1973, с. 220—257. См. также: Поэты «Искры», т. II. Л., 1955, с. 617—620.

Достоевский познакомился с Вейнбергом вскоре после своего возвращения в Петербург (середина декабря 1859 г.). В марте 1860 г. Вейнберг направляет ему приглашение к участию в спектакле 14 апреля того же года (см. ниже письмо № 1). Ранее знакомы они не могли быть, так как Вейнберг приехал в Петербург в 1858 г., когда Достоевский еще находился в ссылке, в Семипалатинске. Встречи и контакты их продолжались до конца жизни Достоевского. Помимо участия в устраиваемых

Вейнбергом литературных чтений и вечерах Достоевский общался с ним и в связи с участием их обоих в деятельности Литературного фонда. Встречались они и на его заседаниях после того, как 2 февраля 1863 г. Достоевский был избран членом Комитета и секретарем Литературного фонда.

В 1861 г. фельетон Вейнберга «Русские диковинки» (Век, 1861, 22 февраля, № 8) послужил поводом для полемики по вопросам женской эмансипации, в которой приняли участие М. Л. Михайлов, Н. В. Шелгунов, Н. Н. Страхов, М. Н. Катков. Достоевский также поместил в журнале «Время» (1861, № 3 и 5) две статьи — «Образцы чистосердечия» и «Ответ „Русскому вестнику“», которые содержали резко критическую оценку фельетона Вейнберга. См.: 19, 91—104, 119—139 и примеч. А. И. Батюто; см. также: Вейнберг П. И. Безобразный поступок «Века». — Исторический вестник, 1900, № 5, с. 472—489; Коган Г. Ф. Разыскания о Достоевском. — Лит. наследство, т. 86. М., 1973, с. 583, 584, 590.

Вейнберг опубликовал воспоминания о некоторых эпизодах своего общения с Достоевским. Участие Достоевского в гоголевском «Ревизоре» 14 апреля 1860 г. посвящена большая часть интересных мемуаров Вейнберга «Литературные спектакли» (Ежегодник императорских театров. Сезон 1893—1894 гг. Прилож., кн. 3, с. 96—108. См. ниже письмо № 1 и примеч. к нему). Позднее был опубликован рассказ Вейнберга о встрече с Достоевским у А. Н. Майкова 4 апреля 1866 года, в день покушения Д. В. Каракозова на Александра II. См.: Вейнберг П. 4-е апреля 1866 г. (Из моих воспоминаний). — Былое, 1906, № 4, с. 299—300.

Ниже публикуются все двенадцать известных в настоящее время писем Вейнберга к Достоевскому. Самое раннее из них написано в конце марта 1860 г. Оно относится к спектаклю 14 апреля 1860 г. в зале Руадзе. В этот день «Ревизор» Гоголя был здесь исполнен известными русскими писателями, в том числе Достоевским. Начало 1862 г. и 7 октября 1873 г. — таковы даты писем № 2 и 3. Остальные девять писем Вейнберга относятся к 1880 г. (конец января—14 декабря). Их объединяет одна сквозная тема — участие Достоевского в литературных чтениях и вечерах.

В письмах к Достоевскому Вейнберга запечатлелась та общественная активность, которая отличала последнего. Так, Ал. Луговой вспоминал, что литературные вечера «были <...> как бы одной из функций общественной деятельности П<етра> И<саевича> <...> П. И. в шутку называл себя „антрепренером“, подсмеивался над невзгодами своего антрепренерского положения, но всегда с любовью нес эту утомительную обязанность» (Русская школа, 1908, № 10, с. 134 и 138). Б. Б. Глинский свидетельствовал, что вообще «ни одно литературное начинание в его широкой общественной подготовке не обходилось без бли-

жайшего участия в них Петра Исаевича...» (Исторический вестник, 1908, № 8, с. 567). К тому же «Вейнберг явил собою тип выдающегося педагога, сумевшего <...> поднять среди учащихся интерес к изучению всеобщей и русской литературы. В этих целях он устраивал в гимназии литературные вечера с участием в них выдающихся русских писателей...» (там же, с. 574).

В примечаниях нами приводятся неопубликованные письма к Достоевскому А. А. Толстой, И. Ф. Рапевского, В. П. Тарновской и Л. А. Пыхачевой.

Известны три письма Достоевского к Вейнбергу — от 29 января, 17 февраля и 2 ноября 1880 г. (см.: П., IV, с. 130, 131, 208—209).

Письма Вейнберга к Достоевскому (№ 1—12) печатаются по подлинникам: ГБЛ, ф. 93, П. 2. 23.

1

П. И. Вейнберг—Достоевскому

Конец марта 1860 г. Петербург

Милостивый государь Федор Михайлович! Писемский уведомил меня о готовности Вашей принять участие в спектакле, устраиваемом в пользу Литературного фонда.¹ В настоящее время у нас остались в «Ревизоре» следующие роли: Почтмейстера, Добчинского и Смотрителя училищ. Если Вам будет угодно приять на себя какую-нибудь из этих ролей, то потрудитесь уведомить меня с подателем этой записки — какую именно, и я тотчас же пришлю ее Вам.² Первая репетиция «Ревизора» назначена в четверг, через два дня, о часе и месте я дам знать завтра.³

С истинным почтением имею честь быть всегда готовым к услугам

Петр Вейнберг.

Если мой посланный не застанет Вас дома, то потрудитесь написать мне по городской почте, если можно, не позже завтрашнего дня. Мой адрес: Петру Исаевичу Вейнбергу, на углу Владимирской и Графского переулка, в доме Бурдина.

На письме помета А. Г. Достоевской (ошибочная): «1863». Письмо датируется концом марта 1860 г. по содержанию (см. ниже, примеч. 1 и 3).

¹ Речь идет о спектакле 14 апреля 1860 г. (зал Руадзе в Петербурге), на котором писатели — Ф. М. Достоевский, А. Ф. Писемский, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, А. Н. Майков, А. В. Дружбин, П. И. Вейнберг исполнили «Ревизора» Н. В. Гоголя. Инициаторами этого спектакля в пользу «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литературный фонд) были А. Ф. Писемский и

П. И. Вейнберг. См. об этом: Вейнберг П. И. Литературные спектакли. (Из моих воспоминаний). — Ежегодник императорских театров. Сезон 1893—1894 гг. Прилож., кн. 3, с. 96—108; Никитенко А. В. Дневник, т. 2. М., 1955, с. 118; Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 229—231. В том же году на обложке 17-го номера «Искры» была помещена гравюра П. З. Куренкова с рисунка Н. А. Степанова, запечатлевшего из этого спектакля сцену городничего с купцами (воспроизведена также в тексте воспоминаний Вейнберга на с. 109).

Вейнберг вспоминал, что Достоевский с горячей готовностью согласился участвовать в этом спектакле: «„Дело хорошее, очень хорошее, дело даже — прямо скажу — очень важное“, — говорил он с какою-то суетливою радостью, и раза два-три, пока шли приготовления, забегая ко мне узнавать, ладится ли все, как следует» (Вейнберг П. И. Литературные спектакли, с. 97).

² Достоевский «остановился на роли почтмейстера Шпекина. „Это, — сказал он, — одна из самых высококомических ролей не только в гоголевском, но и во всем русском репертуаре, и притом исполненная глубокого общественного значения... Не знаю, как мне удастся с нею справиться, но играть ее буду с большим старанием и большой любовью...“» (Вейнберг П. И. Литературные спектакли, с. 98). «Приведенная Вейнбергом оценка Достоевским общественного значения роли Шпекина, — отметил А. С. Долинин — <...> перекликается с оценкой „Шпекиных“ в письме Белинского к Гоголю» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. I. М., 1964, с. 330). Великий критик писал Гоголю о том, что, живя в России, он не смог бы писать «одну правду <...> ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради дозосов» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X. М., 1956, с. 210).

Необычные исполнители гоголевского «Ревизора» имели большой успех. «Достоевский, — которого петербургская публика узнала уже много позже, тоже как отличного чтеца, — обнаружил и хорошее сценическое дарование, — писал Вейнберг. — Я думаю, что никто из знавших Федора Михайловича в последние годы его жизни не может себе представить его — комиком, притом комиком тонким, умеющим вызывать чисто гоголевский смех; а между тем это было действительно так, и Достоевский-Шпекин был — за немногими неважными исключениями — безукоризненен...» (Вейнберг П. И. Литературные спектакли, с. 100).

³ Репетиция «Ревизора» состоялась не в четверг, а в понедельник — 4 апреля 1860 г. Об этом свидетельствует обнаруженная Г. Ф. Коган в рукописном отделе ГБЛ повестка, приглашающая Достоевского «пожаловать на репетицию комедии „Ревизор“ в понедельник 4 апреля в двенадцать часов утра в залу дома Руадзе...» (см.: Лит. наследство, т. 86. М., 1973, с. 11 и 14).

2

П. И. Вейнберг—Достоевскому

Начало 1862 г. Петербург

Милостивый государь Федор Михайлович! Сделайте одолжение, если можете, одолжите мне на несколько дней первую часть «Записок из Мертвого дома», т. е. то, что было напечатано до января этого года. У Вас, вероятно, есть отдельный оттиск, мне он необходим.

С искренним уважением имею честь быть Ваш покорный слуга

Петр Вейнберг.

На письме помета А. Г. Достоевской: «1863». Датируется началом 1862 г. по содержанию. Первая часть «Записок из Мертвого дома» («Введение», гл. I—XI) была полностью напечатана Достоевским в журнале «Время» за 1861 год (№ 4, 9—11). Как приложение к январской книжке «Времени» за 1862 г. рассылалось отдельное издание первой части «Записок» (цензурное разрешение 30 января 1862 г.).

3

П. И. Вейнберг—Достоевскому

7 октября 1873 г. Варшава

Варшава.

Многоуважаемый Федор Михайлович! Хороший мой знакомый, А. О. Цедербаум, который вручит Вам эту записку, имеет очень хорошо устроенную типографию и ищет для нее работы. Позвольте мне рекомендовать Вам это заведение и покорнейше просить, если возможно, иметь его в виду в случае — Вы желаете перенести печатание «Гражданина» в другую типографию. Могу Вас уверить, что Вы остались бы совершенно довольны в отношении как техническом, так и денежном.¹

Сожалею, что так давно не виделись с Вами, прошу Вас принять уверение в моем искреннейшем почтении и всегдашней преданности.

Всегда готовый к услугам

Петр Вейнберг.

7* октября 1873 г.

На обороте: Его высокоблагородию Федору Михайловичу Достоевскому от П. Вейнберга.

¹ «Гражданин», редактировавшийся Достоевским в 1873—1874 гг., печатался в типографии А. Траншеля в Петербурге. В типографию Цедербаума печатание газеты перенесено не было.

4

П. И. Вейнберг—Достоевскому

Январь (не позднее 28) 1880. Петербург

Милостивый государь Федор Михайлович. Бестужев-Рюмин только что уведомил меня, что собрание Славянского общества не 2-го, а 3-го числа.¹ Поэтому, согласно Вашему любезному обещанию, Коломенская гимназия ждет Вас с величайшим нетерпением и уже заранее — с глубочайшей благодарностью в субботу, 2-го февраля, в 1¹/₂ ч. дня.² Книги все будут для Вас

* Было 4

приготовлены. Само собой разумеется, что если супруга Ваша пожелает приехать с Вами, то мы встретим ее с самым искренним радушием.³

Помещение *Коломенской женской гимназии — на Торговой улице, пройдя Большую Мастерскую, в доме Человеколюбивого общества* (есть вывеска).

Глубоко уважающий Вас и всегда преданный

Петр Вейнберг.

На письме помета А. Г. Достоевской: «29 янв. 1880 г.». Письмо датируется январем 1880 г. (не позднее 28 января). Сохранилось ответное письмо Достоевского Вейнбергу от 29 января 1880 г., в котором он, в частности, писал: «Простите, что не удалось известить вчера» (П., IV, 130). Следовательно, данное письмо Вейнберга уже было получено Достоевским 28 января.

¹ Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897) — историк, профессор Петербургского университета, один из организаторов Высших женских («Бестужевских») курсов. На заседании 3 февраля 1880 г. был избран председателем Славянского благотворительного общества. Тогда же Достоевский был избран товарищем председателя (см.: Первые 15 лет существования Славянского благотворительного общества. СПб., 1883, с. 616). Об участии Достоевского в деятельности этого общества (был принят в его члены 21 января 1873 г., избран членом Совета Общества 2 декабря 1878 г.) и о заседании памяти писателя см.: там же, с. 618—619, 647—665, 821—822, 843 и 862. См. также: Участие и поминки Ф. М. Достоевского в Славянском благотворительном обществе. — В кн.: Биография, письмо и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, Приложение, с. 47—84 (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. I).

² Достоевский ответил Вейнбергу 29 января 1880 г.: «2 февраля, к 2-м часам пополудни буду в Вашей гимназии и прочту все, что Вам будет угодно назначить» (П., IV, 130). А. Г. Достоевская вспоминала: «В 1880 году, несмотря на то, что Федор Михайлович усиленно работал над „Братьями Карамазовыми“, ему пришлось много участвовать в литературных чтениях в пользу различных обществ. Мастерское чтение Федора Михайловича всегда привлекало публику, и, если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 350).

Выступление Достоевского в Коломенской женской гимназии состоялось 2 февраля 1880 г. (в книге Л. П. Гроссмана «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского» (М.—Л., 1935, с. 292 и 294) ошибочно указана дата: 20 февраля 1880 г. Эта ошибка воцарилась и в примечаниях к роману «Братья Карамазовы»: 15, 518). Достоевский прочел отрывок из романа «Братья Карамазовы» — беседу Зосимы с бабами (книга вторая, гл. III «Верующие бабы»).

³ А. Г. Достоевская, как явствует из ее «Воспоминаний» (см. примеч. 2), присутствовала на этом чтении.

5

П. И. Вейнберг—Достоевскому

1 февраля 1880 г. Петербург

Будьте так добры, глубокоуважаемый Федор Михайлович, сообщите через подателя этой записки, в каком номере «Русского вестника» находится тот отрывок из «Карамазовых», ко-

торый Вы избрали для завтрашнего чтения, — чтобы я его мог заблаговременно достать.¹ А если эта книжка есть у Вас и Вы можете ее прислать или привезти с собою, то, конечно, еще лучше будет. Остальные книги у нас готовы.

Какое нетерпеливое волнение происходит между нашими ученицами в ожидании завтрашнего дня — Вы и представить себе не можете! — Ждем Вас в 1½ ч.; если возможно, не позже.

Неизменно уважающий Вас и преданный

Петр Вейнберг.

На письме помета А. Г. Достоевской: «2 февраля 1880». Письмо написано между 28 января 1880 г. (см. письмо № 4) и выступлением Достоевского в Коломенской женской гимназии 2 февраля того же года. Пятница, указанная в письме Вейнберга, приходилась на 1 февраля.

¹ Глава III «Верующие бабы» из второй книги «Братьев Карамазовых», с чтением которой выступил Достоевский (см. примеч. 2 к письму № 4), была напечатана в № 1 «Русского вестника» за 1879 г.

6

П. И. Вейнберг — Достоевскому

Февраль 1880 г. (не позднее 19 февраля). Петербург

Милостивый государь Федор Михайлович! В Петербурге существует Дом милосердия, устав которого при сем препровождается, ознакомит вас с подробностями, касающимися этого учреждения. В настоящее время при нем утверждается особое «предупредительное отделение», задача которого заключается в призрении тех детей, которые вследствие отсутствия нравственного и материального ухода за ними впоследствии должны попасть уже, так сказать, в штат Дома милосердия, или просто пропасть, — таких детей, одним словом, один из образчиков которых мы видим в Вашем «Мальчике на елке».¹ Во главе этого нового учреждения стоят лица, вполне заслуживающие уважения и доверия. Так как средства его покамест еще очень невелики, то для усиления их решено устроить литературно-музыкальный вечер, и устройство этого возложено на меня.

Вы не сочтете, конечно, за лесть, если я скажу, что по отношению к литературной части вечера Ваше имя — единственное, могущее привлечь публику. Не говорю уже о том, что на вечере, устраиваемом для усиления средств *такого* заведения, чтение такой вещи, как «Мальчик на елке» (если Вы не захотите прочесть что-либо кроме этого), имело бы очень большое значение. Вот почему от имени учреждения и от своего собственного обращаюсь к Вам с усерднейшею просьбой — не отказать нам Вашим участием. Вечер будет на *второй неделе поста*,² но мне необходимо иметь Ваш ответ уже теперь. Если можете дать его прямо, потрудитесь написать мне по нижеприведенному адресу. Если же Вы найдете нужным повидаться

со мною лично, то уведомьте — я немедленно приеду к Вам.³

В надежде на любезное согласие Ваше остаюсь глубоко уважающий Вас и преданный

Петр Вейнберг.

Адрес: У Каменного мост<а>, д<ом> Брунста, кв. № 6.

На письме помета А. Г. Достоевской: «Март 1880 г.». Письмо датируется по сопоставлению с ответным письмом Достоевского от 17 февраля 1880 г. (II, IV, 131).

¹ Речь идет о рассказе Достоевского «Мальчик у Христа на елке» из «Дневника писателя» 1876 г. (январь, глава вторая).

² Вторая неделя Великого поста начиналась с 9 марта 1880 г. Первоначально предполагалось провести вечер в пользу Дома милосердия 13 марта 1880 г. Состоялся вечер 20 марта 1880 г. См. об этом письма 7 и 8 и примеч. к ним.

³ Достоевский ответил Вейнбергу 17 февраля 1880 г.: «Читать на вечере я согласен, если только в пользу детей. А что именно читать можно впоследствии уговориться <...> Позвольте пожать Вам руку за то, что стараетесь о детях» (II, IV, 131). См. письмо № 7, примеч. 2 к нему и письмо № 8.

7

П. И. Вейнберг—Достоевскому

6 марта 1880 г. Петербург

Милостивый государь Федор Михайлович! Распорядители вечера в пользу Дома милосердия пришли в совершенное отчаяние, узнав от меня о Вашем вчерашнем решении.¹ Оказывается, что у них роздано много билетов, что отменить поэтому вечер в высшей степени затруднительно, тем более что для откладывания нужно новое разрешение. Мне, как посреднику в этом деле, поручено *умолять* Вас найти возможность пожертвовать каким-нибудь часом именно *в будущий четверг, то есть 13 марта*, и если Вы согласитесь, то прислать теперь же то, что Вы будете читать.² Мне казалось бы, для избежания затруднений, удобным выбрать что-нибудь из вещей, уже разрешенных для чтения, так как публика будет здесь совсем новая. А впрочем — как знаете.

Простите за мое приставание, но, повторяю, я здесь только посредник, могущий, однако, засвидетельствовать, что Ваше решение отложить это чтение действительно очень переполошило распорядителей.³ Считаю нужным прибавить, что если я прошу сказать теперь же, что именно будете читать, то это потому, что времени осталось немного и надо печатать афишу. Вечер будет в зале Городской думы, а в котором часу — уведомлю.

Глубоко уважающий Вас и неизменно преданный

Петр Вейнберг.

Четверг.

На письме помета А. Г. Достоевской: «Март 1880 г.». Датируется по помете Вейнберга: оно написано в четверг, за неделю до 13 марта, т. е. 6 марта 1880 г.

¹ О своем решении отложить чтение, намеченное на 13 марта 1880 г., Достоевский сообщил в неизвестном нам письме к Вейнбергу (см. письмо № 8).

² По нашему предположению, ответом Достоевского на это письмо Вейнберга была педаггированная записка: «Буду читать или отрывок из жизнеописания старца Зосимы (Братья Карамазовы), Русский вестник 79 года, или из романа „Подросток“ рассказ о купце, часть 3-я, стр. 54—67» (П., IV, 133. Здесь А. С. Долининым предположительно указан как адресат В. П. Гаевский. В пользу того, что записка адресована не ему, а Вейнбергу, свидетельствует следующее: 1) Записка Достоевского — прямой ответ на вопрос Вейнберга в письме от 6 марта 1880 г. (письмо № 7). На вечере 20 марта Достоевский и выступил с чтением указанного в записке отрывка из «Братьев Карамазовых» (см. примеч. 2). В письме Достоевского к В. П. Гаевскому от 21 марта 1880 г. (речь шла о предполагавшемся участии писателя в чтениях 30 марта 1880 г.), на которое ссылается Долинин, комментируя приведенную выше записку Достоевского, последний писал о выборе отрывка для чтения: «... решите о сем уже сами» (П., IV, 133, см. также: 406, 407). На следующий день, т. е. 22 марта 1880 г. Гаевский пишет Достоевскому о невозможности выступления писателя 30 марта: «... так как я не позже завтрашнего дня должен сообщить градоначальнику о составе чтения <...> и потому остается только просить Вашего участия на второе чтение, предполагаемое на 21 апреля» (ГБЛ, ф. 93. П. 2. 60). Таким образом, Гаевский и не ждал от Достоевского известия о том, что он будет читать 30 марта 1880 г. 2) Письма Достоевского к Гаевскому хранятся в ГПБ (фонд В. П. Гаевского, № 109). Данная записка Достоевского, как и два других его письма к Вейнбергу — от 29 января и 2 ноября 1880 г. — хранятся в ЦГАЛИ).

³ Аспирянттели Дома милосердия приняли решение о переносе даты вечера и известили об этом Достоевского следующим письмом:

«Милостивый государь Федор Михайлович,

Дом милосердия приносит Вам искреннюю свою благодарность за Ваше доброе намерение принять участие в лит<ературном> вечере и тем способствовать скорейшему открытию при Доме предупредительного отделения. Лит<ературный> вечер по независящим от Дома обстоятельствам будет устроен 20 марта. Извещая Вас об этом, я от лица Управления Домом милосердия убедительнейше прошу Вас не отказать нам в Вашем дорогом для нас содействии 20 марта. По словам П. Ис. Вейнберга, эта перемена во времени вечера очень удобна для Вас, так как не отвлечет Вас от Ваших срочных работ. Программа лит<ературного> вечера будет доставлена Вам своевременно.

Примите уверение в моем глубоком к Вам уважении. Ив. Рашевский. 1880 г. Марта 10 дня» (ГБЛ, ф. 93, П. 8. 19. На письме помета А. Г. Достоевской: «Рашевский, Иван Федорович. Инспектор педагогических курсов».

Вечер в пользу отделения несовершеннолетних С.-Петербургского Дома милосердия состоялся 20 марта 1880 г. в зале Городской думы. «Публика восторгалась исполнителей радушно, — отмечалось в прессе, — особенно долго раздавались рукоплескания, когда на эстраду взошел наш талантливый романист г-н Достоевский <...> Достоевский прочел отрывок из романа „Братья Карамазовы“ — именно беседу монашьярского старца Зосимы с бабами <гл. III «Верующие бабы» из второй книги романа» (Берег, 1880, 21 марта, № 7).

Достоевскому было направлено 26 марта того же года письмо на бланке Дома милосердия:

«Милостивый государь Федор Михайлович.

Высокая покровительница С.-Петербургского Дома милосердия ее императорское высочество Евгения Максимилиановна принцесса Ольденбургская поручила мне выразить Вам искреннюю ее признательность за участие в Литературно-музыкальном вечере (20 марта) в пользу отделения несовершеннолетних Дома.

С полным удовольствием исполняя волю ее императорского высочества, прошу Вас, милостивый государь, принять выражение моего к Вам уважения и преданности.

Графиня А. Толстая»

(ГБЛ, ф. 93, II. 9. 49. — Гр. Александра Андреевна Толстая (1817—1904) — фрейлина императрицы, родственница Л. Н. Толстого, с которой он состоял в переписке около пятидесяти лет. См.: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857—1903. Пб., 1911).

8

П. И. Вейнберг—Достоевскому

Между 6 и 10 марта 1880 г. Петербург

Мне до последней степени досадна и неудобна, глубокоуважаемый Федор Михайлович, вся каша, заваренная распорядителями чтения в пользу Дома милосердия, тем более что мне тут в чужом пиру похмелье, так как я не что иное, как *посредник* между этими распорядителями и лицами, согласившимися принять участие в этом вечере. Я им препроводил Ваше письмо — пусть теперь делают как знают.¹ А на меня, пожалуйста, не сердитесь; повторяю — я тут, собственно, ни при чем, и если бы знал, что будет столько возни, то не стал бы и пугаться.

Искреннейше уважающий Вас и преданный

Петр Вейнберг.

На письме помета А. Г. Достоевской: «Март 1880 г.». Письмо датируется по содержанию и по сопоставлению с письмом № 7.

¹ См. письмо № 7 и примеч. к нему.

9

П. И. Вейнберг—Достоевскому

1 или 2 ноября 1880 г. Петербург

Глубокоуважаемый Федор Михайлович! Комитет Высших женских курсов, материальные дела которого далеко не блестящи, просил меня устроить в их пользу литературный вечер. Само собой разумеется, что я прежде всего должен обратиться к Вам с убедительнейшею просьбою — участвовать: без Вашего участия о хорошем сборе и думать нечего.¹ В прошлом году это участие² уже доставило не малую сумму денег. Не откажите

помочь и теперь в положении, крайне, крайне затруднительном. Без фразы говоря, на Вас одна надежда. При личном свидании подробно объясню обстоятельства. Вечер предполагается устроить *16-го ноября в воскресенье, т. е. ровно через две недели.*

В ожидании ответа о согласии искренне уважающий и всегда преданный

Петр Вейнберг.

Казанская улица, № 12, кв. 8.

Письмо датируется по содержанию и по сопоставлению с ответным письмом Достоевского (см. примеч. 1).

¹ Достоевский в письме от 2 ноября 1880 г. уведомил Вейнберга об отказе от участия в чтении в пользу Бестужевских курсов в ноябре месяце, указав на уже назначенные выступления и множество полученных приглашений. Он писал: «Я буквально поставлен в невозможность согласиться <...> Прибавлю еще, что я, в настоящую минуту, не завален, а задушен работой» (П., IV, 209).

² Это выступление Достоевского в 1879 г. подробно освещалось в корреспондентской газете «Новое время»: «В четверг, 5-го апреля (курсив мой, — Г. С.), в залах Александровской женской гимназии состоялся художественный вечер в пользу недостаточных слушательниц Высших женских курсов <...> Вечере приняли участие <...> литераторы: Ф. М. Достоевский, Д. В. Григорович, А. Н. Плещеев, Д. Л. Мордовцев и А. А. Потехин <...> Обычное радушие и задушевность, с которыми относилась вообще женская молодежь к литераторам и артистам, превратилась в восторженную овацию, когда на эстраду взшел Ф. М. Достоевский. Для настоящего вечера он выбрал отрывок из своего романа: „Братья Карамазовы“, отрывок, где главным действующим лицом является девятилетний ребенок, глубоко страдающий за своего отца, отставного штабс-капитана, которого тяжело оскорбил один из Карамазовых. Глубоко драматический сюжет, тонкий анализ психических движений, высоко художественная правда в общем — все это в мастерском чтении Федора Михайловича выразилось с необычайной рельефностью. Публика точно замерла, слушая любимого писателя, напряженное внимание, боязнь проронить малейшее словечко — вот что можно было прочесть на любом из множества молодых лиц, а когда кончилось чтение, стены залы просто задрожали от оглушительных проявлений восторга. По крайней мере пять или шесть раз Федор Михайлович сходил с эстрады и всякий раз ему приходилось возвращаться, чтобы благодарить своих восторженных почитателей и почитательниц. Большой венок, украшенный живыми цветами, который поднесла Федору Михайловичу женская учащаяся молодежь, казался лишь отдаленною, мерцающею тенью того живого венка, образовавшегося вокруг талантливого писателя из женской молодежи, венка, сплетенного искренними симпатиями и неподдельными восторгами» (Новое время, 1879, 7 апреля, № 1114).

Отметим, что 5 апреля 1879 г. действительно приходилось на четверг, а также то, что самое раннее сообщение в газете о поздно закончившемся вечере 5 апреля могло появиться в газете 7 апреля. В книге Л. П. Гроссмана «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского» (М.—Л., 1935, с. 281) указана дата этого чтения: 6 апреля 1879 г., с отсылкой на № 112 (?) газеты «Новое время» и на «Воспоминания» А. Г. Достоевской. В последних и указана ошибочная дата 6 апреля. Неверно и утверждение воспоминательницы, что Достоевский в этот вечер «выбрал сцену из „Преступления и наказания“» (см.: Достоевская А. Г. Воспоминания, с. 333). А. Г. Достоевская также отметила большой успех выступления Достоевского: «Курсы не только горячо аплодировали Федору Михайловичу, но в антрактах окружили его, просили высказаться о разных интересовавших их вопросах...» (там же).

П. И. Вейнберг—Достоевскому

Декабрь (до 14) 1880 г. Петербург

Я к Вам опять с надоедаьем;
 Что ж делать нам, коли без Вас
 Как ни вертись — полнейший пас!
 Притом, уж Вашим обещаьем
 Однажды заручившись, я
 Иду смелее. Речь моя
 Опять о том же все предмете;
 (Мне самому уж просьбы эти
 Ужасно надоели; но —
 Их бегать, думаю, грешно).
 Опять *Бестужевские курсы*
 С поклоном к Вам. В нужде они
 Весьма большой. Добыть ресурсы
 Совсем необходимо; дни,
 Часы им дороги. Об этом
 Я Вам писал уже, горя
 Надеждой вас привлечь.¹ Ответом
 Мне было: раньше декабря
 Никак нельзя. И вот я снова
 Мольбы к Вам обращаю слово!..

Не удивляйтесь, что начал стихами, такая у меня привычка иногда. Вечер, в котором Вас буквально умоляют принять участие, так как без Вас он положительно немислим в смысле сбора, должен состояться 14 декабря.² Бога ради, не отказывайте нам; тут дело очень важно не только в материальном, но и в нравственном отношении.

Выберите для чтения, что хотите, — только, так как необходимо посылать попечителю, укажите теперь, что именно прочтете.³ Не найдете ли возможным, сверх какого-нибудь Вашего собственного произведения прочесть с Григоровичем сцену из «Женитьбы» Гоголя.⁴ Это было бы уже совсем верх одолжения.

На днях сообщу Вам план тех литературных чтений, которые Вы задумали и который надо непременно осуществить.⁵

В ожидании ответа, глубоко уважающий Вас и неизменно преданный

Петр Вейнберг.

Казанская № 12.

¹ Вейнберг имеет в виду свое письмо к Достоевскому от 1 или 2 ноября 1880 г. и ответ Достоевского на него от 2 ноября 1880 г. (см.: письмо № 7 и примеч. к нему; П., IV, 208--209).

² Литературный вечер в пользу Бестужевских курсов состоялся 14 декабря 1880 г. В Музее-квартире Ф. М. Достоевского (Москва) хранится программа этого вечера (№ АГ 4033. Сводения об этой программе любезно

сообщены нам Г. Ф. Коган, за что выражаем ей свою признательность). В обоих отделениях обозначены выступления и Достоевского, и Григоровича. В первом отделении — чтение Достоевским «Пророка» А. С. Пушкина, а Григоровичем — рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Во втором отделении — исполнение ими «Женитьбы» Н. В. Гоголя (Достоевский — Подколесин, Григорович — Кочкарев).

В ГБЛ хранится следующая визитная карточка:

«Варвара Павловна Тарновская <далее автограф>»

приезжала благодарить высокоуважаемого Федора Михайловича за любезное участие в вечере 14 декабря» (Ф. 93. П. 9. 43). На карточке помета А. Г. Достоевской: «Варвара Павловна Тарновская. Общественная деятельница. От 15 декабря 1878 года (визитная карточка)». Год указан ошибочно. Эта записка относится к 15 декабря 1880 года, так как 14 декабря 1880 г., а не 1878 г., Достоевский выступил перед бестужевками.

В. П. Тарновская (1844—1913) участвовала в основании Высших женских курсов, в течение 35 лет была одним из их руководителей. См. о ней: Б-на А. (курсистка). — С.-Петербургские ведомости, 1914, 7 января; С.-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы. Л., 1973, с. 175.

В. П. Тарновская в дальнейшем поддерживала контакты с А. Г. Достоевской, сохранилось четыре ее письма 1890-х гг. к вдове писателя (ИРЛИ, 30290. ССХІІб. 7).

Достоевский весьма положительно относился к организации Бестужевских курсов, был членом «Общества для доставления средств Высшим женским курсам» (см.: Общество для доставления средств Высшим женским курсам. Отчет за 1878—79 гг. СПб., 1896, с. 50). 7 марта 1877 г. Достоевский писал А. Ф. Герасимовой, которая просила его совета — куда пойти учиться: «Здесь в Петербурге, на Васильевском острове, при одной гимназии <...> начались уже для женщин *университетские курсы* <...> Поверьте, что Вы здесь, по крайней мере, раздвинете и возвысите Ваше образование...» (П., III, 259).

Для характеристики отношения бестужевки к Достоевскому показательно письмо к нему Людмилы Аполлоновны Пыхачевой (ум. 1915 г.):

«22/III 1880 г.

Уважаемый Федор Михайлович, Вы сказали вчера: вероятно, слушательницы Бестужевских курсов сердятся, что я отказался читать на их вечере. Нет, милый Федор Михайлович, не сердимся мы и не смеем сердиться. Мы не можем желать того, что хотя сколько-нибудь может нарушить Ваше спокойствие, повредить Вашему здоровью. Мы любим Вас глубоко и умеем беречь Вас в наших сердцах; мы знаем, что Федор Михайлович — один и другого такого не будет никогда. Мы даже не завидуем педагогичкам. Делать Вас — как-то и в голову не приходит. Ведь Вы и так принадлежите всем. Мы можем только внимать с благоговением Вашему светлому слову, где бы оно ни было произнесено, и благодарить Вас за внушенную Вами нам любовь.

Живите, живите долее. Лучше никогда не появляйтесь среди нас, только храните Ваши силы, Ваше здоровье.

Прощайте, целую крепко, крепко Ваши руки. Простите, не сердитесь, что так написала, но никакими иными словами не умею закончить этой записки.

Одна из слушательниц Бестужевских курсов

Л. Пыхачева»

(ИРЛИ, ф. 100, № 29829. Там же хранятся два письма 1892 г. Пыхачевой к А. Г. Достоевской — 30224. ССХІІб. 4).

³ Имеется в виду попечитель С.-Петербургского учебного округа.

⁴ См. примеч. 2.

⁵ Достоевский писал Вейнбергу 2 ноября 1880 г.: «А что же наша мысль о ряде чтений из всей русской литературы? Оставлять ее не надо <...> Я стою за мысль о ряде чтений...» (П., IV, 209).

П. И. Вейнберг—Достоевскому

Декабрь (до 14) 1880 г. Петербург

Многоуважаемый Федор Михайлович! Чтение в пользу Бестужевских курсов — в воскресенье, в 8 часов, в зале Кредитного общества (программа пришлетя Вам особо).¹ Григорович завтра хотел зайти к Вам, чтобы условиться насчет чтения «Женитьбы», поставленной в программе.

Глубоко уважающий и преданный

Петр Вейнберг.

Письмо датируется по сопоставлению с письмом № 12.

¹ См. письмо № 10 и примеч. 2 к нему.

П. И. Вейнберг—Достоевскому

14 декабря 1880 г. Петербург

Милостивый государь Федор Михайлович! Сегодняшний литературный вечер начнется не в 8, а в 9 часов.¹ Уведомляя об этом, посылаю пропускную записку, которую Вы предъявите швейцару при входе и в которой на всякий случай упомянуто о двух дамах.

Всегда готовый к услугам

П. Вейнберг.

Письмо датируется по сопоставлению с письмом № 10, где названа дата чтения — 14 декабря 1880 г.

¹ См. письмо № 10 и примеч. 2 к нему.

Л. П. ДЕСЯТКИНА, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

БИБЛИОТЕКА ДОСТОЕВСКОГО

(Новые материалы)

Памяти Л. П. Гроссмана

В 1917 г. во время работы над рукописями Достоевского в Государственном историческом музее в Москве Л. П. Гроссман обнаружил составленную А. Г. Достоевской рукописную тетрадь «Книга для записывания книг и газет по моей библиотеке» (ныне — в Музее-квартире Ф. М. Достоевского в Москве), содержащую записанный ее рукою перечень книг, входивших в состав библиотеки Достоевского в последний период его

жизни. Перечень этот был сделан вдовой писателя с практической целью — против пазвания каждой книги были проставлены цены, назначенные за них на случай будущей их продажи; поэтому он включал лишь имя автора и название каждой книги и не ставил своей целью дать полное их библиографическое описание для нужд будущих исследователей жизни и творчества великого русского писателя. Путем тщательной и долгой исследовательской работы молодой Л. П. Гроссман на основе указанного перечня сделал в 1917—1919 гг. попытку реконструировать утраченную для нас в полном виде библиотеку романиста. Прделанный им труд заслуживает тем более высокой оценки, что дошедшие до нас отдельные книги, принадлежавшие Достоевскому, равно как и книги с автографами писателя, подаренные им в разное время родным и знакомым, не были тогда обследованы и выявлены; они были обнаружены и зарегистрированы, как правило, значительно позднее, в 1920-х—1960-х гг. Не были прочитаны и расшифрованы в то время и записные тетради писателя, содержащие многочисленные, составленные в разное время его рукою перечни газет и книг, выдававших его пристальный интерес, либо предназначенных для будущей их выписки или покупки, как не были известны и счета книгопродавцев за купленные или высланные Достоевскому книги и т. д., — весь этот материал стал доступен исследователям лишь в последующие годы благодаря разысканиям того же Л. П. Гроссмана, редакции «Литературного наследства» и Полного академического собрания сочинений Ф. М. Достоевского, а также труду других советских ученых.

Составленный Гроссманом каталог библиотеки романиста был впервые опубликован в книге: Гроссман Л. П. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919, с. 125—167, а позднее перепечатан в книге: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.—Пг., 1923, с. 20—53. Он полностью сохранил свое научное значение до наших дней и стал необходимой настольной книгой для каждого исследователя творчества великого писателя в Советском Союзе и за рубежом.

В 1958 г. мною в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР была впервые изучена оставшаяся неизвестной Л. П. Гроссману в 1917—1923 гг. составленная А. Г. Достоевской вторая тетрадь, которая содержит другой, также записанный ее рукою перечень книг, принадлежавших ее покойному мужу, наряду со списком книг, подаренных различными лицами ей самой при его жизни или в позднейшие годы. Кроме книг, находившихся к моменту составления списка в распоряжении А. Г. Достоевской и ее дочери, в перечень вошли книги, взятые из семейной библиотеки после смерти отца сыном писателя — Ф. Ф. Достоевским. Как показало изучение обнаруженной в ИРЛИ второй тетради, содержание ее лишь частично совпадает с содержанием первой,

поэтому она служит неоценимым дополнением к каталогу библиотеки Достоевского, составленному в 1919 г. Л. П. Гроссманом.

О своей находке я тогда же поставил в известность Гроссмана, а вслед за тем, по его просьбе, выслал ему вскоре экземпляр снятой мною копии с тетради Пушкинского Дома, так как находка эта вызвала у него желание переиздать составленный им в молодости каталог библиотеки Достоевского в дополненном и уточненном виде, с учетом обнаруженных мною новых данных. Однако болезнь, а затем и смерть Л. П. Гроссмана не дали ему возможности приступить к работе над новым изданием его книги.

Поскольку новое полное научное описание книг библиотеки Достоевского потребовало бы не только сплошной перепроверки всех данных каталога Гроссмана, но также сведения воедино и библиографической разработки всех многочисленных разрозненных упоминаний и перечней книг, встречающихся в его письмах, записных тетрадях, черновых рукописях и других источниках, составители решили ограничиться при подготовке настоящей публикации лишь охарактеризованной выше тетрадью А. Г. Достоевской, хранящейся в Рукописном отделе Пушкинского Дома (30725.CCLXVI. б. 15).

Как уже указано нами, перечень книг, занесенный в эту тетрадь, состоит из трех самостоятельных частей; открывает ее список русских книг из библиотеки Ф. М. Достоевского, сохранившихся к моменту заполнения тетради в руках А. Г. Достоевской; этот основной список расположен на л. 2—8 об. и предваряется выделенным в особую рубрику небольшим перечнем «Книги богословского содержания» (л. 1—1 об.). Далее в особую рубрику вынесены книги, принадлежавшие вдове писателя (л. 10, 13); перечень их озаглавлен «Книги, поднесенные мне разными лицами с надписями и без оных». На следующих листах (л. 14—15 об.) продолжается список книг библиотеки Ф. М. Достоевского, но на иностранных языках. Заканчивается тетрадь особым списком, озаглавленным: «Книги, взятые Федором Федоровичем Достоевским» (л. 19—23). Они нами отмечены знаком *. В эту последнюю рубрику входят названия книг как на русском языке, так и на иностранных. Остальные листы тетради не заполнены или вырваны.

При подготовке данной публикации к печати вновь найденный список книг из библиотеки Достоевского сверен с каталогом, изданным Л. П. Гроссманом, и все названия книг, вошедших в его каталог, из вновь подготовленного описания исключены. В данной же публикации учтены названия тех книг, перечисленных в тетради Пушкинского Дома, которые отсутствуют в каталоге Гроссмана, дополняя его (опущено лишь несколько записей, не поддающихся идентификации ввиду их неясности). Книги, имеющиеся в ленинградских библиотеках, просмотрены *de visu*, и для них сохранены те же принципы биб-

лиографического описания, которые положены в основу каталога Гроссмана.

В каталоге Л. П. Гроссмана книги классифицированы составителем по предметно-тематическим признакам; соответственно описание их распадается на ряд отделов («Художественная литература», «Критика, история литературы, филология», «История, право, социология» и т. д.). В настоящем каталоге составители сочли целесообразным отказаться от таких дробных рубрик. Он открывается списком русских книг, расположенных в едином алфавитном порядке авторов и названий. Далее дается построенный аналогичным образом список книг на иностранных языках. В особое приложение выделены книги, принадлежавшие вдове писателя. В это приложение перенесены также книги из остальных списков, которые вышли после января 1881 г. и, следовательно, попали в состав семейной библиотеки Достоевских лишь после смерти писателя.

Описание построено по алфавиту, книги или статьи, автор которых не обозначен, введены в этот алфавит.

Нелегкий и кропотливый библиографический труд по составлению настоящего дополнения к каталогу книг библиотеки Достоевского был осуществлен по моему замыслу и под моим руководством Л. П. Десяткиной, которой я приношу свою благодарность.

Г. Фридендер.

I. Книги на русском языке

1. Аверкиев Д. В. Франческа Риминийская. Трагедия в 4-х действиях. — Русский вестник, 1877, № 1.

2. — Царевич Алексей. Трагедия. — Русский вестник, 1878, № 1.

3. — Непогрешимые. Комедия в 4-х действиях. — Русский вестник, 1879, № 1.

4. Аксаков А. И. О народном пьянстве. Причины его, их историческое развитие и меры к их устранению. — Русский вестник, 1872, № 11.

5. — Содержание питейных заведений сельскими обществами, как простейшая мера против пьянства и нарушения правил устава о питейном сборе. С прилож. проекта договора сельск. т-ва на вере для произв. питейной торговли. СПб., «Общественная польза», 1874.

6. — Медиумизм и философия. Воспоминание о профессоре Московского университета Юркевиче. — Русский вестник, 1876, № 1.

7.* Ангелов Ю. К. Русское правописание в вопросах и ответах. Сост. Ю. К. А. СПб., Б. Г. Янпольский, 1878.

8. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Вып. 2. СПб., 1856.

Предположительно. В списке А. Г. Достоевской: «Сказки II».

9. Афоня-богатырь. Рассказ из двенадцатого года. М., Об-во распротр. полезных книг, 1873.

10. Белов Е. А. О смерти царевича Димитрия (посвящается памяти покойного казанского профессора Н. А. Иванова). — Журнал Министерства народного просвещения, 1873, ч. CLXVIII, отд. 2.

11. [Берви В. В.] Философия бессознательного. Дарвинизм и реальная истина. СПб., В. А. Полетика, 1878.

12. Берсье Е. Беседа о богатом и Лазаре. Пер. А. Забелин. СПб., Л. В. Фомин, 1880.

13. — Евангельский образец отношения Иисуса Христа к политико-общественным делам. Пер. А. Забелин. СПб., Л. В. Фомин, 1880.

— То же. — Странник, 1878, № 5.

14. Бернштейн А. Первое и необходимое для каждого знакомство с химией. Пер. с нем. и издание А. И. П-ва. СПб., 1880.

15. Беседа на 6-й псалом св. Анастасия Синаита. М., Унив. тип., 1870.

— То же. Козельская Введенская Оптина пустынь. 1873.

16. Библия. Господа нашего Иисуса Христа. Новый завет. Вена, 1877.

— То же. Лондон, В. М. Уатс, 1864.

17. Библия. Священные книги Ветхого завета, т. 1—2. Вена, А. Рейхард и К^о, 1877.

— То же. Вена, О-во распротр. Библии в Великобритании и в др. странах, 1877.

18. Богатинов Н. Д. О божественно-человеческом значении церкви. Киев, Унив. тип., 1862.

19. — Южнорусская школа, южнорусская поэзия, южнорусский язык. (По поводу статьи «Педагогическое значение малорусского языка» «СПб. ведомостей», № 93). Киев, 1866.

20. — Старые обычаи и новые взгляды. — Руководства для сельских пастырей, 1870, № 47, 49, 50, 51.

21. Болтин Апп. Догматы Христовой церкви, изложенные согласно спиритическому учению. [Б. м.], 1864.

22. Брянчанинов А. А. Бездольная. Драма из нар. быта в 3-х действиях и 4-х картинах. М., М. Е. Филиппченко, 1877.

23. Бураковский А. З. (Многогрешный). Житейские отголоски в стихах. Вып. 1—3. Симферополь, Спиро, 1877—1879.

24. Буренин В. П. (граф Жасминов А.). Былое. Стихотворения. СПб., А. С. Суворин, 1880.

25. Бэн А. Душа и тело. Киев, Ф. А. Иогансон, 1880.

— То же. Пер. с 6-го англ. изд. СПб., И. Габерман, 1881.

26. Вагнер Н. П. Сказки Кота Мурлыки. СПб., Н. В. Стасова и М. В. Трубникова, 1872.

— То же. Изд. 2-е, пересм. и доп. СПб., Кн. магазин «Новое время», 1881.

27. — По поводу спиритизма. Письмо к редактору. — Вестник Европы, 1875, т. 2, кн. 4.

28. [Васильев А. В.]. Славянство. Сборник [стихотворений]. Изд. 2-е, заключ. в себе два выпуска книжки «Славяне», с большим доп. СПб., В. С. Балашев, 1877.

29. Вейнберг А. Наши жидки на войне. Изд. 4-е, доп. Киев, Унив. тип., 1879.

30. Великий день первого двадцатипятилетия царствования государя императора Александра Второго. СПб., «Общественная польза», 1880.

31. Виппер Ю. Ф. Где пачинается прежде всего воскресенье на земном шаре. М., Моск. детск. и педагогич. б-ка, 1874.

32. — Золотое деление как основной морфологический закон в природе и искусстве. (Открытие проф. Цейзинга). М., Т. Рис, 1876.

33. — Семейство математиков Бернулли. Речь, произнесенная в день годовщины основания Московской классической гимназии Фр. Креймана. М., Унив. тип., 1875.

34. — Сорок пять доказательств пифагоровой теоремы. Сприлож. кратких биогр. сведений о Пифагоре. М., А. И. Мамонтов и К^о, 1876.

35. Водка как дух сатаны, или Действие ее на тело человека, последствия и способы излечения от пьянства во всех его видах. М., Абрамовы, 1876.

— То же, 1878.

36.* Вольтер Фр.-М.-А. Романы и повести. Перевел Н. Н. Дмитриев. СПб., И. Неклюдов, 1870.

37. Восторгнутые класы в пищу души, то есть несколько переводов из святых отцев старца Паисия Величковского. М., Козельская Введенская Оптина пустынь, 1849.

38. Г. . а Л. Холера 1830 года. М., О-во распротр. полезных книг, 1875.

39. Где помещать раненых и больных? М., Комис. сан. исследования г. Москвы, 1877.

40.* Гебра Ф. Руководство к изучению болезней кожи. Пер. со 2-го нем. изд. под ред. А. Полотебнова. Т. 1—2. СПб., О. И. Бакст, 1876—1883.

Предположительно. Под этим названием вышли также два издания книги И. Неймана в переводе Н. П. Черепнина и Д. Н. Шульговского (СПб., 1871 и 1874).

41. Гербель Н. В., сост. Русские поэты в биографиях и образцах. Изд. 2-е, доп. и испр. СПб., М. М. Стасюлевич, 1880.

42. Герцеговина и Босния. (С сербск.). Босния в начале августа 1878 года (корреспондента «СПб. ведомостей»). СПб., В. С. Балашев, 1878.

43. Гладстон В. Е. Болгарские ужасы и восточный вопрос. СПб., СПб. отд. Славянск. ком., 1876.

— То же. С прилож. речей и письма В. Е. Гладстона. СПб., В. Тушнов, 1876.

44. — Черногория. СПб., К. П. Победоносцев, 1877.

45. Годовой отчет о действиях Правления Филантропического общества попечительства о гувернантках в России с 1 ноября 1869 г. по 1 ноября 1870 г. СПб., 1870.

46. Голохвастова О. Две невесты. Историческая драма в 5-ти действиях. М., Унив. тип., 1877.

47. Горемыкин. Душа поэта. Биография Н. А. Некрасова. СПб., Д. И. Шеметкин, 1878.

48. Грот Нат. Наши земские дела. (Хроника N*N* губернии). СПб., В. Ф. Пуцыкович, 1875.

49. Гусев А. Натуралист Уоллэс, его русские переводчики и критики. (К вопросу о происхождении человека). По поводу переводов книги Уоллэса «Естественный подбор». М., 1879.

50. — Светлый праздник гражданского обновления России (19 февраля 1880 года). М., 1880.

51.* Давилль Л. Долг денежный и долг чести. (La maîtress légitimes). Комедия в 4-х действиях. Пер. с франц. СПб., Курочкин, 1875.

52.* Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Владимира Даля. Т. 1—4. СПб., 1863—1866.

53. Дауденс Э. Шекспир. СПб., Акад. наук, 1878.

— То же. Шекспир, критическое исследование его мысли и его творчества. Пер. Л. Д. Черновой. СПб., «Славянская печатня», 1880.

54. Де Воллан Г. А. Мадыры и национальная борьба в Венгрии. С прилож. этнограф. карты Венгрии. СПб., А. Траншель, 1877.

55.* Делакура И., изд. Швейцария, или Галерея классических мест сего живописного и романтического края, изображенных 72 гравюрами на стали. С описанием в историческом, статистическом и этнографическом отношениях. Ч. I. Рига, Мюллер, 1837.

56. Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. СПб., 1877.

57. — Дневник писателя за 1877 год. СПб., 1878.

58. — Братья Карамазовы. Роман в 2-х томах и 4-х частях. СПб., 1881.

59. Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків. Київ, 1876.

60. Дьяков А. А. (Незлобин, Житель). Кружковщина. «Наши лучшие люди — гордость нации». Вып. 1—3. Одесса, П. Цитович, 1879.

— То же. Изд. 2-е, доп. Со статьей автора «Нигилизм и литературное развитие». Одесса, Е. П. Распопов, 1880.

61. Зарубин П. А. Современные социалисты-революционеры, их идеи, деятельность и цель, которой они стремятся достигнуть. СПб., П. И. Шмидт, 1879.

62. Иванов Д. Л. Геройская смерть Данилова и Кокандский бунт в 1875 году. СПб., 1876.

63. Иванцов-Платонов А. М. О римском католицизме и его отношениях к православию. Ч. 1—2. М., О-во распротр. полезных книг, 1869—1870.

64. — Первые лекции по истории христианской церкви в Московском университете. М., «Правосл. обозрение», 1872.

65. — Речи, произнесенные при выпусках воспитанников первого десятилетия Александровского военного училища. М., А. В. Кудрявцева, 1873.

66. — Ереси и расколы первых трех веков христианства. Ч. 1. М., Унив. тип., 1877.

67. — Слово в сороковой день памяти С. М. Соловьева, произнесенное в Новодевичьем монастыре 12-го ноября 1879 года. — Православное обозрение, 1879, т. III, ноябрь.

68.* Игнатий, епископ (Брянчанинов Д. А.). Слово о смерти. СПб., В. Аскоченский, 1862.

— То же. СПб., 1863.

— То же. Изд. 4-е. СПб., И. Л. Тузов, 1881.

69.* Иннокентий, архиепископ (Борисов И. А.). Последние дни земной жизни господина нашего Иисуса Христа, изображенные по сказанию всех четырех евангелистов. Ч. 1—5. Одесса, П. Францов, 1857.

— То же. Одесса, П. Францов, 1860.

— То же. Изд. 3-е. СПб.—М., М. О. Вольф, 1872.

70.* Ишимова А. Бабушкины уроки, или Русская история в разговорах для маленьких детей. Вып. 1—3. СПб., Штаб Отдельного корпуса внутренней стражи, 1852—1856.

— То же. Изд. 2-е. Ч. 1—2. СПб., Я. Trey, 1859.

71. К истории русского нигилизма. Отцы и дети. Кишинев, Ф. Грузинцев и К^о, 1880.

72. Капустин С. Я. Формы землевладения у русского народа в зависимости от природы, климата и этнографических особенностей. СПб., «Общественная польза», 1877.

73. Каталог Всероссийской выставки произведений сельского хозяйства и промышленности. М., 1864.

74. Каталог Пушкинской выставки, устроенной Комитетом Общества для пособия пуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1880.

75. Кафедра Исаакиевского собора. Вып. 14. См.: Янышев И.

76. Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области на Международный конгресс ориенталистов. Акмолинск, 1876.

77. Коялович М. Три подъема русского народного духа для спасения нашей государственности во время самозванческих смут. Речь, произнесенная в торжественном годичном собрании СПб. духовной академии 17-го февраля 1880 г. СПб., 1880.

78. Крестный календарь. Ред. и изд. А. Гатцук. М.

В библиотеке Ф. М. Достоевского: календари на 1876—1880 годы.

79. «Кругосветный пакетбот», его хозяин, штурман, экипаж; благополучное его странствование по морю глупости. Правдивая история из текущей жизни, записанная боцманом Фадеевым. Одесса, Р. Бейленсон, 1876.

80. Лебедев Н. А. О деньгах, обращавшихся в России с 862 по 1663 год. СПб., Н. И. Греч, 1851.

— То же. Изд. 2-е, доп. Новгород, 1855.

— То же. СПб., В. С. Балашов, 1876.

81. Лермонтов М. Ю. [Стихотворения]. Перевод 18 стихотворений, сообщенных на немецком языке Фр. Боденштедтом. Дерпт, Г. Лаакман, 1880.

82. Лермонтов М. Ю. Сочинения, с портретом, двумя снимками с почерка и статьей о Лермонтове А. Н. Пышина. Изд. 3-е, вновь сверенное с рукописями, исправл. и доп., под ред. П. А. Ефремова, в 2-х томах. СПб., А. И. Глазунов, 1873.

83. Лернер О. М. Вольным о неволе. Кое-что об одном из образцовых мест заключения. Тюремные наброски. Вып. 1—. Одесса, Р. Бейленсон, 1876—.

84. Лесков Н. С. Владычный суд. Быль. (Из недавних воспоминаний). Pendant к рассказу «На краю света». СПб., «Странник», 1877.

— То же. Изд. 2-е. СПб., кн. В. В. Оболенский, 1878.

85. — Три праведника и один Шерамур. СПб., А. С. Суворин, 1880.

86. Летопись С.-Петербургского педагогического общества (?). Прилож. к журн. «Народная школа». СПб., 1869.

Предположительно. В списке А. Г. Достоевской: «Санкт-Петербургское педагогическое общество».

87. Линниченко А. И. Александр Иванович Селин. Некролог и речи, произнесенные над его гробом. Киев, Унив. тип., 1877.

88. Майков Апп. Из рассказов о русской истории. Взятие турецким султаном Магометом III Константинополя. Москва — 3-й Рим. Покорение при царе всея Руси Иване Васильевиче Грозном мусульманских царств: Казанского, Астраханского и Сибирского. — Заря, 1869, № 8.

89. Макарий (Миролюбов Н. К.). Церковно-историческое описание города Старой Руссы, содержащее в себе сведения о старорусских церквях, Спасском монастыре и духовном училище. Новгород, Э. Классон, 1866.

90. Манифест о вступлении русских войск в пределы Турции от 12 апреля 1877 г. Кишинев.

91. Марк Подвижник. Слово о покаянии. Козельск. Введенская Оптина пустынь, 1867.

92. — Советы ума своей душе. Козельск. Введенская Оптина пустынь, 1866.

93. *Мартынов А. А. Название московских улиц и переулков с историческими объяснениями. М., Т. Рис, 1878.

94. Менчиц В. А. Киевская сказка про деда Неурожайка и бабуся Недоимку. Киев. Вл. А. Менчиц, 1876.

95. *Митрофан (Алексеев В. И.). Как живут наши умершие и как будем жить и мы по смерти. По учению православной церкви, по предчувствию общечеловеческого духа и выводам науки. Ч. 1—4. СПб., Р. Голике, 1880.

96. Наставин А. Два слова о царе-отце на путь дочери. СПб., Синод. тип., 1875.

— То же. Изд. 2-е. СПб., Губ. тип., 1880.

Нейман И. См. Гебра Ф.

97. Нелединский-Мелецкий Ю. А. Стихотворения. СПб., тип. 2-го Отделения собств. е. и. в. канцелярии, 1876.

98. Обращение и смерть Л. Ф. Ришара, казненного в Женеве 11-го июня 1850 года. Пер. с франц. СПб., А. Якобсон, 1877.

99. «Общее дело». Газета политическая и литературная. La cause générale. Выходит раз в месяц в Женеве.

В библиотеке Достоевского: № 22, 23 и 24 за 1879 год.

100. Общество для доставления средств Высшим женским курсам. СПб., 1878—1896.

Отчеты Комитета Общества за 1878—1880 гг.

101. Орликов К. Акафист Антонию Римлянину (августа 3), 1877 г.

102. Особое прибавление к № 155 «Московских ведомостей» за 1863 г. М., 1863.

103. Отчет Воронежской публичной библиотеки. Воронеж, 1878.

104. Отчет о деятельности Казанского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов... Казань, 1873.

105. Отчет по приюту св. Ксении кружка для покровительства трудящимся девицам за 1878 г. СПб., Министерство путей сообщения, 1879.

106. Отчет Самарской губернской земской управы о движении сумм и капиталов... Самара, 1869—.

107. Отчет о деятельности Комитета Общества доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям С.-Петербурга. СПб., 1867.

108. Очерк деятельности Комитета по устройству добровольного флота со времени открытия одного по 20-е сентября 1878 года. СПб., Министерство внутренних дел, 1879.

— То же, тип. 2-го Отделения собственной е. и. в. канцелярии, 1879.

109. Пантюхов И., сост. Опыт санитарной топографии и статистики Киева. Киев, Киевский губ. стат. ком., 1877.

В библиотеке Достоевского: глава 13 («Причины болезни киевлян»).

110. Первый шаг. Провинциальный литературный сборник. Казань, 1876.

111. Петербургское общество для пособия слушательницам Педагогического и женского медицинского институтов. СПб., 1876.

112. *Победоносцев К. П. Курс гражданского права, ч. 3-я [Договоры и обязательства]. СПб., А. А. Краевский, 1880.

113. Полонский Я. П. Свежее преданье. — Сочинения Я. П. Полонского в 3-х томах, т. 2. СПб.—М., М. О. Вольф, 1869.

114. Приказы попечительств С.-Петербургского учебного округа. СПб., 1875—1883 (?).

В списке А. Г. Достоевской: «Петербургский учебный округ. Попечитель».

115. Протоколы Петербургского отдела Славянского благотворительного комитета. . . СПб., 1873.

116. Путеводитель по Московской Оружейной палате. М., 1872.

— То же. Изд. 3-е, 1877; изд. 4-е, 1879; изд. 5-е, 1880.

117. Ру-ский И. Кагальный страшный суд евреев над евреем, «Шкловское убийство». Из офиц. источников Могилевской уголовной палаты. Киев, Е. Я. Федоров, 1877.

118. Романов Н. К. Аму и Узбой. Самара, Самарск. губ. тип., 1879.

119. Роменский В. А. Дифтерит (гнилая жаба). Средства предохранительные и лечение. СПб., 1879.

120. Рот К. Положение дел в Одессе. Девять дней моей жизни между умалишенными. Одесса, Р. Бейленсон, 1876.

121. «Русский архив», 1874, № 1.

122. «Русский гражданин». Журнал политический и литературный. Выходит 2 раза в месяц в Берлине. Berlin, Kommissionsverlang V. Behr's Buchhandlung (E. Voch.).

123. Салов Н. Н. Изобретения. Как мы смотрим на изобретения и как должны бы на них смотреть. СПб., Славянская печатня, 1877.

124. Салтыков-Щедрин М. Е. Благонамеренные речи, т. 1—2. СПб., А. А. Орловский, 1876.

— То же. СПб., М. М. Стасюлевич, 1880.

125. *— В среде умеренности и аккуратности. СПб., В. И. Лихачев и А. С. Суворин, 1878.

— То же. Изд. 2-е, доп. СПб., А. А. Краевский. 1881.

126. Сборник Протоколов Общества любителей духовного просвещения. (СПб. отдел). Т. 1—5. СПб., 1873—1877.

127. Сборник стихотворений. М., маг. «Детское воспитание», 1878 (Библиотека-крошка).

— То же. Изд. 2-е, 1880.

128. Сборник узаконений [Запись А. Г. Достоевской].

Предположительно:

Сборник узаконений и распоряжений, изд. с 20 ноября 1864 г. по 1 января 1867 г. в дополнение и разъяснение судебных уставов. СПб., Министерство юстиции, 1868.

Сборник узаконений и распоряжений правительства по делам печати. СПб., Ретгер и Шнейдер, 1878.

(Были и другие аналогичные издания).

129. Селин А. И. «Бригадир» Фонвизина и «Свои люди — сочтемся» Островского. Киев, 1868.

130. — Крылов как высший представитель русской басни. Речь, произнесенная на торжественном акте. Киев, Univ. тип., 1868.

131. Семенов Н. П. Об адвокатуре в гражданском процессе. СПб., 1859.

132. — Еще о крестьянском деле (ответ на статью г. Ржевского: «Да или нет?»). — Русский вестник, 1863, № 4.

133. — Деятельность Якова Ивановича Ростовцева в редакционных комиссиях по крестьянскому делу. (Материалы для истории освобождения крестьян в России). — Русский вестник, 1864, № 10—12.

134. — Бодезнь и кончина генерала Ростовцева. По воспоминаниям и документам. — Русский вестник, 1866, № 2.

135. — Вызов и прием депутатов первого приглашения по крестьянскому делу в Санкт-Петербурге в 1859 г. (по изданным и неизданным документам). — Русский вестник, 1868, № 11.

136. — Разбор сочинения Александра Скребицкого: «Крестьянское дело в царствование императора Александра II», 4 тома в 5 книгах, в 8 д. л., СLIX и 5223 с. Бонн на Рейне. 1862—1868 года. СПб., Акад. наук, 1872.

137. Сидоров М. О китоловстве и влиянии его на рыбную ловлю у берегов Архангельской губернии. СПб., Д. И. Шеметкин, 1879.

Сказки П. См.: Афанасьев А. Н.

138. Смета земск<их> повинн<остей> на 1876 г.

Подобные сметы издавались по разным губерниям. Скорее всего имеется в виду смета по Петербургской губернии.

139. Смета ден<ежных> земск<их> повинн<остей> на 1877 г. — Ср. № 138.

140. Соловьев В. Мифологический процесс в древнем язычестве. — Православное обозрение, 1873, № 11.

141. «Странник», духовный учено-литературный журнал, 1880, № 11, 12 и 1881, № 1.

142. Страхов Н. Женский вопрос. Разбор сочинения Джона Стюарта Милля «О подчинении женщины». СПб., Майков, 1871.

143. Тихон, епископ (Соколов Т. С.). Покаяние. СПб., Иверсен, 1840.

— То же. 20 изданий: СПб., 1848—1878.

144. Толстой А. К. Драматическая трилогия. I. Смерть Иоанна Грозного. II. Царь Федор Иоаннович. III. Царь Борис. СПб., М. М. Стасюлевич, 1876.

145. Трефолев Л. Н. Отголоски славян. Сборник стихотворений. СПб., А. М. Котомин. 1876.

146. Тургенев И. С. Новь. Роман в 2-х частях. Лейпциг, М., Гергард, 1877.

— То же. М., Ф. И. Салаев. 1878.

147. Указатель выставки художественных произведений в имп. Академии художеств в 1873 году. СПб., В. Безобразов и К°, 1873.

— То же. СПб., В. Грацианский, 1873.

Указатель использован писателем при работе над статьей «По поводу выставки» («Дневник писателя» за 1873 г.).

148. Устав Гольдингенского православного Покровского братства. Митава, 1869.

— То же. Изд. 2-е. СПб., 1870.

149. *Фаррар Ф. В. Жизнь Иисуса Христа. Пер. с англ. Ф. Матвеева, в 2-х ч. М., «Современные известия», 1876.

— То же. П. А. Лебедев, 1877.

150. *Фет А. Стихотворения. М., Н. Степанов, 1850.

151. Филиппов Т. И. Письмо к Ивану Федоровичу Нильскому. М., А. И. Мамонов и К°.

Разбор произведения: Семейная жизнь в русском расколе. Историч. очерк расколы. учения о браке. Вып. 1 и 2. Экстраординарного проф. СПб. духовной академии Н. Нильского. СПб., 1869.

152. — Вселенский патриарх Григорий VI и греко-болгарская распря. СПб., В. Головин, 1870.

153. Хвольсон Д. А. Последняя пасхальная вечеря Иисуса Христа и день его смерти. Ответ на статью о. архим. Виталия Гречулевича. СПб., Ф. Г. Елеонский и К°, 1878.

— То же. СПб., А. И. Поповицкий и Ф. Г. Елеонский, 1875.

154. — Употребляют ли евреи христианскую кровь? СПб., М. А. Хан, 1879.

— То же. Изд. 2-е, испр. и доп. с 3-мя прилож. СПб., Цедербаум и Гольденблум, 1879.

155. *Хемницер И. И. Сочинения и письма по подлинным рукописям. С биографической статьей и примечаниями А. Грота, с прилож. портрета и снимка с почерка Хемницера. СПб., 1873.

156. Хомяков А. С. Стихотворения. М., Бахметев, 1861.

— То же. 2-е изд. М., А. И. Мамонтов, 1868.

— То же. 3-е изд. М., А. Гатцук, 1881.

157. *Хроника недавней старины. Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., тип. 2-го Отделения собств. е. и. в. канцелярии, 1876.

158. Чаев Н. А. Описание дворца царя Алексея Михайловича в селе Коломенском. С прилож. вида Коломенского дворца, снятого с натуры в царствование имп. Екатерины II Гильфердингом. М., Унив. тип., 1869.

159. Чугаевич П. Решение еврейского вопроса во Франции и послужившие ему основанием декреты Великого Синедриона. Декреты Великого Синедриона, собиравшегося в Париже первого Адаря месяца 5567 года от сотворения мира (в феврале 1807) под покровительством Наполеона Великого. Киев, С. Т. Еремеев, 1874.

160. Чудновский С. Л. Мысли незаписного публициста. Одесса, Р. Бейленсон, 1876.

161. Чудновский Ю. Предохранительные меры от чумы. СПб., «Общественная польза», 1879.

— То же. Изд. 2-е, испр. и доп., 1879.

162. Шахова Е. Иудифь, поэма по библ. тексту, в драм. форме, в стихах, в 5 действиях. М., А. Мамонтов и К^о, 1877.

163. Шепфер К. Земля неподвижна. Попул. лекция, доказывающая, что земной шар не вращается ни около оси, ни около солнца, чит. в Берлине. Пер. с нем. СПб., Р. Голике, 1876.

— То же. Изд. 2-е, испр. Пер. с нем. П. Соловьева, 1876.

164. Шкляревский А. А. Собрание сочинений. СПб., П. Д. Подшивалов, 1881.

165. Шмулевич Я. М. О тифе нынешнего года. Причины его происхождения, способы его распространения, распознавание его, лечение больного и средства предохранить себя от этой болезни. Чтение для народа. СПб., Я. Trey, 1878.

166. *Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Дальнейшие доказательства основных положений пессимистической доктрины. Пер. 1-го т. «Die Welt als Wille und Vorstellung» А. Фета. СПб., М. М. Стасюлевич, 1881.

167. [Энгельгардт С. В.] Ольга Н. Черный сургуч. — Газета Гатцука, 1877, № 32—35.

168. Эрмитаж. Петербург. Древние бронзы и терракоты. (Зала XIV). СПб., 1866.

— То же. СПб., 1872.

169. Эрмитаж. Петербург. Росписные вазы. Каталог. СПб., 1864.

— То же. СПб., 1873.

170. Юзефович М. В. На прощанье. Стихотворения 1867—1877 гг. Киев, К. Н. Милевский, 1878.

171. — Памяти Пушкина. Статья. М., Унив. тип., 1880.

172. Янышев И. Слово на 19-е февраля 1880 года — день торжества двадцатипятилетнего царствования имп. Александра Николаевича. 1880. — В кн.: Кафедра Исаакиевского собора. Вып. 14. СПб., изд. соборного старосты, 1880.

II. КНИГИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

1. Apocalypse du bienheureux Jean.
2. Bulletin de l'association littéraire et artistique internationale. Paris, 1878.
— Ibidem, 1879.
3. Carlyle Th. Histoire de la révolution française. Traduit de l'Anglais. T. 1—3. Paris (Londres, New York), 1865.
4. Charras J.-B. (Ad.). Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. Par le l-t-colonel Charras. 4-e éd., rev. et augm. de notes en reponse aux assertions de m. Thiers dans son récit de cette campagne... Avec un atlas nouveau. Bruxelles, Lacroix, Verbockhoven et c-ie, 1863.
— Ibidem. T. 1—2. Bruxelles, Méline, Cans et c-ie, 1858 (Histoire de la campagne de 1815). Atlas spécial composé de 5 plans et cartes. Leipzig, A. Dürr, 1856.
— Ibidem. Waterloo. Atlas spécial composé de 5 plans et cartes dessinés expressément pour cet ouvrage par Vandermaelen (2-e éd.). Londres, Jeffs, 1858.
5. Corneille P. Oeuvres complètes... Paris, 1846.
6. D'Arzac J. La guerre civile et la Commune de Paris en 1871. Suite au Memorial du siège de Paris. Paris, F. Curot, 1871.
7. Desbarolles Ad. Le Caractère allemand expliqué par la physiologie. Paris, Lacroix, 1866.
8. Du Camp Maxime. Les convulsions de Paris... 4 vol. Paris, 1878—1880.
1 vol. Les Prisons pendant la Commune.
2 vol. Episodes de la Commune.
3 vol. Les Sauvetages pendant la Commune.
4 vol. La Commune à l'Hôtel de ville.
9. Entretien d'un scéptique et d'un croyant.
10. Evangile de notre seigneur Jesus Christ selon Saint Luc. Version d'Ostervald. Paris, 1904.
— Ibidem, selon S. Luc, S. Jean. Paris, 1718.
11. Figuiier L.-G. Les merveilles de la science ou Description populaire des inventions modernes. Paris, Furne, Jouvet et c-ie, 1870.
12. Guide du voyageur en Italie par Richard, 1851.
13. Hugo V. Le dernier jour d'un condamné. Claude Gueux. Paris, J. Hetzel éd., s. a.
— Ibidem. Bruxelles, Louis Hauman et c-ie, 1834.

— Ibidem. Notes et préfaces. Illustré par Gavarni. Paris, Hetzel éd., 1853.

14. H u g o V. Histoire d'un crime. Déposition d'un témoin. Paris, s. a.

— Ibidem. Paris, Calman Lévy éd., 1877.

— Ibidem. Édition illustré par M. M. J.-P. Laurens, G. Brion, E. Bayard, Chiffart. Paris, 1879.

15. H u g o V. Les misérables, 10 vol. Bruxelles, Lacroix, Verbockhoven et c^{ie} éd., 1862.

— Ibidem, 10 vol. Leipzig, Bruxelles, Lacroix, Verbockhoven et c^{ie} éd., 1862.

— Ibidem, 10 vol. Paris, Pagnevre éd., 1862.

16. H u g o V. Quatrevingt-treize, 3 vol. Paris, Mich-Lévy frères éd., 1874.

17. H u g o V. Le Rhin, vol. 1 et 2 (compl.). Paris, H. Z. Delloyé éd., 1842.

— Ibidem. Lettres à un ami. Nouvelle édition ornée de vignettes, 3 vol. Paris, V^{ve} Alex. Houssiaux éd., 1869.

18. L'internationale. Karl Marx. Mazzini et Bakounine.

19. K i r e i e f f Olga. Is Russia wrong? A serie of letters, by a russian lady, with a preface by J. A. Froude. London, 1877.

20. M o l i è r e J.-B. Oeuvres. Avec de notes de divers commentateurs. Paris, 1833.

— Ibidem. Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par m. Sainte-Beuve. Paris, J. J. Dubouchet et c^{ie}, 1844.

21. Nouvelles heures catholiques. Londres, 1800.

22. Orthodoxie et papisme. Examen de l'ouvrage du père Gagarin sur la réunion des églises catholique grecque et catholique romaine. Par, un grec. membre de l'église d'orient. Paris, A. Franck, 1859.

23. P o u c h k i n e. Oeuvres. Traduites du russe par M^{me} Sophie Engelgardt née de Novosiltsoff. Boris Godounoff. — Le chevalier avare. — Mozart et Salieri. — Les nuites d'Égypte. Paris, 1875.

24. R a c i n e J. Oeuvres. Vol. 1—2. Berlin, 1786 (collection d'auteurs classiques française).

— Ibidem. Vol. 1—2. Londres, 1782.

25. S a n d G. Oeuvres complètes. Nouv. éd. (vol. 1—). Paris, Calman Lévy, 1851.

26. S c o t t W. Le pirate. Paris, 1822.

27. S c o t t W. Redgauntlet, histoire de dix-huitième siècle. Paris, 1824, 4 vol.

— Ibidem. Paris, 1826, 2 vol.

28. S u e E. Martin, l'enfant trouvé, ou Les mémoires d'un valet de chambre. Bruxelles, 1846—1847, 6 vol.

— Ibidem. Bruxelles, Livourne, Leipzig, 1846, 1847, 8 vol.

29. T a i n e H. Les origines de la France contemporaine. Ed. I—V. Paris, 1876—1894.

— Ibidem. Paris. I. L'ancien régime. 3-e éd. 1876. II. La révolution. L'anarchie, vol. I—III. 2-me éd. 1878—1885. III. La régime moderne, vol. I—II. 11-me éd., 5-me éd. 1898.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Книги, принадлежавшие А. Г. Достоевской

1. Акафист Симеону Богоприимцу (февраля 3). 1887.
Библия. Новый завет. См. № 16, список I.
2. Буренин В. П. Из современной жизни. Фельетонные рассказы Маситого беллетриста. СПб., А. С. Суворин, 1878.
3. В память Николая Васильевича Рукавишника. [Некролог, речи и др. материалы]. М., А. И. Мамонтов и К^о, 1875.
— В память Николая Васильевича Рукавишника. [Сборник речей]. М., Унив. тип., 1875.
— В память Николая Васильевича Рукавишника. Слово при отпевании тела директора Московского исправит. приюта малолетних Н. В. Рукавишника, говоренное в Московской Николаевской, что в Гнездицах, церкви августа 11 дня 1875 года, прот. Н. А. Сергиевским. М., Унив. тип., 1875.
4. *Веймарн П. П., сост. Очерк истории оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». СПб., Степанов и К^о, 1886.
5. *Гаршин Е. М. Критические опыты. Историческая жизнь. [Биография и письма Ф. М. Достоевского]. — Наши духовные отцы. — Поэзия Я. П. Полонского. — Драмы Островского, как основа народного репертуара. — Русская драма на новом пути. — Русская литература за 1886 год. СПб., И. Н. Скороходов, 1888.
6. Герцен А. И. Кто виноват? СПб., 1847.
По указанию А. Г. Достоевской, у нее сохранилось лишь несколько страниц из этого романа Герцена.
Герье В. И. См. ниже № 12.
7. Гете В. Рейнеке-лис. Поэма. Пер. и предисл. М. Достоевского. СПб., Л. Демис, 1861.
8. Девятнадцатое февраля 1886 г. — Русская старина, 1886, т. 49, № 3.
9. Иванцов-Платонов А. М. Что такое жизнь? На память воспитанникам 4-го выпуска Александровского военного училища от законоучителя свящ. А. М. Иванцова-Платонова. М., Унив. тип., 1867.
— То же. М., 1884, 1894 и 1899.
10. — Слово в память открытия Братства св. Николая, произнесенное 12 октября 1867 года в Московской Николо-Явленской на Арбате церкви. М., Унив. тип., 1867.

11. — Слово в день первого годовичного празднования Православного миссионерского общества в Москве. Произнесено в Успенском соборе 11-го мая 1870 г., М., Унив. тип., 1870.

12. — Речь при открытии Высших женских курсов, учрежденных профессорами Московского ун-та. Сказана экстраординарным проф. ун-та 1 ноября 1872 года. — Православное обозрение, 1872, № 11.

— То же. Положение о Высших женских курсах в Москве и речи, произнесенные при открытии курсов 1 ноября 1872 года профессорами Моск. ун-та свящ. А. М. Иванцовым-Платоновым, С. М. Соловьевым и В. И. Герье. М., Унив. тип., 1872.

13. — Слово при обновлении храма на подворьи Сербской митрополии в Москве 5-го ноября 1878 г., М., Унив. тип., 1878.

14. — Напутственное слово законоучителя к воспитанникам XVI выпуска Александровского военного училища. Свящ. А. Иванцова-Платонова. М., Унив. тип., 1879.

15. — Напутственное слово законоучителя к воспитанникам XVII выпуска Александровского военного училища. М., Унив. тип., 1880.

16. Иннокентий (Борисов И. А.). Последние дни земной жизни господина нашего И. Христа. См. № 69, список I.

17. Миллер О. Славянство и Европа. Ст. и речи. 1865—1877 гг. СПб., Г. Е. Благовестов, 1877.

18. Митрофан (Алексеев В. И.). Как живут наши умершие... См. № 95, список I.

19. Монастырский С., сост. Иллюстрированный спутник по Волге. В 3-х ч. С карт. Волги. Историко-стат. очерк и справочный указатель. Казань, 1884.

20. Нотнагель Г., Россбах Т. Г. Руководство к фармакологии. Пер. с 7-го изд., под ред. д-ра мед. Н. П. Иванова. Вып. 1—2. СПб., Главн. воен.-мед. упр., 1885.

— То же. Изд. 2-е. Ч. 1—2. СПб., К. А. Риккер, 1898.

21. Опыт домашней молитвы по учению господню и руководству святой церкви христовой. СПб., А. М. Котомин и К^о, 1884.

— То же. Изд. 2-е, доп. СПб., С. Л. Васильев, 1885.

22. Покровский С. П. Три слова в храме святителя и чудотворца Николая, что при московском городском рукавишниковском исправительном для малолетних приюте. М., Л. О. Снегирев, 1880.

23. Н. В. Рукавишников. (Биограф. очерк). Посвящ. родителям покойного. М., Унив. тип., 1876.

24. Савельев А. Исторический очерк Инженерного управления в России. Ч. 1—4. СПб., Р. Голике, 1879—1899.

25. Салтыков-Щедрин М. Е. Недоконченные беседы (между делами). СПб., 1886.

— То же. СПб., Н. Я. Карбасников, 1885.

26. Самарин Ю. Ф. Сочинения, т. 5. М., Д. Самарин, 1880.

27. Священное коронование [Запись А. Г. Достоевской.]
Предположительно: Священное коронование российских царей, императриц и императоров. Краткий исторический очерк. Сост. преп. Московского Александро-Мариинского ин-та В. А. З. М., А. Малюков и К^о, 1882.
 Были и другие аналогичные издания.
28. Соловьев С. М. см. выше № 12.
29. Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Ист. и критич. очерки. В 2-х книгах. СПб., 1882—1883.
 — То же. Кн. 1—3. СПб., С. Добродеев, 1882—1896.
 — То же. В 3-х книгах. СПб., 1887—1896.
30. — Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб., бр. Пантелеевы, 1886.
31. Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. СПб., «Семейная Б-ка», 1891.
32. Утешение в смерти кровных и милых сердцу. Разговор между братом и сестрою. Пер. с англ. СПб., И. Воробьев, 1897.
33. Шестакова Л. И. Последние годы жизни и кончина М. И. Глинки. — Русская старина, 1870, т. 2.
Предположительно. В списке А. Г. Достоевской: Памяти М. И. Глинки (Шестакова).
34. Die evangelische Bewegung.
 Брошюры нет в ленингр. библиотеках.
35. Dostoiewsky A. Ein Beitrag.
 Оттиск неизвестной статьи брата писателя.
36. Dostoiewsky A. Über den Bau der Vorderlappen des Hirnanhanges. — Archiv für mikroskopische Anatomie. Hrsg. von M. Schultze. Bd 26. Bonn, M. Cohen & Sohn, 1886.
 Или: Über den Bau des Corpus ciliare und der Iris von Säugethieren. — Ibidem, Bd 28, 1886.

Н. Н. МОСТОВСКАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ В ДНЕВНИКАХ С. И. СМIRНОВОЙ (САЗОНОВОЙ)

Автор публикуемых дневниковых записей — Софья Ивановна Смирнова (1852—1921), писательница, жена актера Александринского театра Н. Ф. Сазонова. В 70-е годы она активно сотрудничала в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, где печатались ее романы «Огонек» (1871), «Соль земли» (1872), «Попечитель учебного округа» (1873), «Сила характера» (1876), «У пристани» (1879), имевшие признание у демократического читателя. После закрытия «Отечественных записок» Салтыков-Щедрин рекомендовал Смирнову редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу в ряду других писателей — В. Е. Гаршина, И. А. Салова, Н. Д. Зай-

ончковской, И. Ясинского — как «беллетристические силы, на которые можно рассчитывать».¹ В 80-е годы она писала мало. С 90-х годов стала постоянной участницей газеты А. С. Суворина «Новое время». Здесь печатались ее многочисленные статьи и фельетоны, собранные позднее в отдельные сборники.² Выступала она и в качестве драматурга.

Круг знакомств Смирновой был обширен. Среди них были многие писатели, артисты, художники, общественные деятели. В сохранившихся ее дневниках (69 тетрадей; с 1877 по 1919 гг.)³ содержатся многочисленные, разнохарактерные записи о Достоевском, Тургеневе, Некрасове, Гончарове, Островском, Полонском, Лескове, Чехове, А. А. и Н. А. Потехиных, Суворине, В. П. Буренине, А. Ф. Кони, С. Н. Кривенко, актерах Ф. А. Бурдине, М. Г. Савиной, В. Ф. Комиссаржевской и многих других. Особый интерес представляют ее суждения о театральной среде Петербурга, о важнейших событиях литературной и общественной жизни России 70—900-х годов. При известной субъективности, присущей мемуарному жанру, дневниковые записи Смирновой отличаются достоверностью (все они тщательно датированы), обилием фактического материала, интересными наблюдениями не только личного характера, но историко-литературного значения.

Смирнова познакомилась с Достоевским в начале 70-х годов и оставалась в дружеских отношениях с ним до конца жизни писателя. А. Г. Достоевская вспоминает: «Федор Михайлович был дружен с Софьей Ивановной и очень ценил ее литературный талант».⁴ Достоевский был внимательным читателем первых литературных опытов Смирновой, в частности ее романа «Сила характера», который печатался в «Отечественных записках» (1876, № 2—4).

В 1874 г. Смирнова преподнесла Достоевскому отдельное издание романа «Попечитель учебного округа» с дарственной надписью «Глубокоуважаемому Федору Михайловичу Достоевскому. От автора на память».⁵ Два года спустя писатель послал ей фотографию с автографом: «Софье Ивановне Сазоновой от Ф. М. Достоевского на память».⁶

Смирнова нередко встречалась с Достоевским на литератур-

¹ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., т. 20. М., 1977, с. 119—120.

² См., например: Смирнова С. И. Борцы за свободу. Сборник фельетонов. СПб., 1907.

³ По словам А. С. Суворина, «С. И. Смирнова (Сазонова) чуть ли не с детства ведет дневник. Прославится!» (Дневник А. С. Суворина. М.—Пг., 1923, с. 334).

⁴ Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 290.

⁵ Титульный лист с автографом хранится в архиве С. И. Смирновой-Сазоновой. — ИРЛИ, Р. I, оп. 6, № 83.

⁶ См.: Лит. наследство, т. 83. М., 1971, с. 368.

ных вечерах и в доме А. С. Суворина. Писатель был частым гостем актера Н. Ф. Сазонова, через которого поддерживал связи с театральным миром.⁷

К Смирновой как человеку, близкому Достоевскому и высоко ценившему его творчество, А. Г. Достоевская обратилась в 1906 г. с просьбой написать вступительную статью для 1-го тома юбилейного Полного собрания сочинений (1904—1906 гг.) вместо неудовлетворившей ее статьи Д. С. Мережковского «Пророк русской революции», о которой вдова Достоевского отзывалась как о работе, «противоположной всем тем идеям, которые высказывал покойный писатель». В связи с этим А. Г. Достоевская писала Смирновой в неопубликованном письме от 26 мая 1906 г.: «...убеждения, приписанные Д. С. Мережковским моему мужу, совершенно не соответствовали истинным его убеждениям <...> Вы лично знавали покойного моего мужа, читали его произведения, и я убеждена, что при Вашем таланте Вам не трудно будет написать о нем биографический очерк. Форма очерка зависит вполне от Вас: захотите ли Вы ограничиться строго биографической стороной или же пожелаете написать что-либо о произведениях Федора Михайловича и его деятельности, вроде тех статей, которые помещены при прежних изданиях Полного собрания сочинений <...> Мне представляется, <...> что Вам самой, может быть, было бы не совсем неприятно написать очерк о Федоре Михайловиче: ведь Вы знаете, как он Вас уважал и любил; знаете, как высоко ставил Вашу литературную деятельность и как много ожидал от Вашего прекрасного таланта. Читая Ваши статьи в „Новом времени“, я часто думаю, как был бы доволен покойный мой муж, если б жил теперь, видя, какие умные и оригинальные мысли Вы высказываете. Сколько раз мне приходило в голову, что в наше смутное время, только Вы одне, может быть, могли бы выяснить нашей читающей публике сущность и истинное значение произведений Федора Михайловича, так много предугадавшего в современной действительности».⁸

Статью о Достоевском Смирнова не написала: очевидно, это почетное предложение показалось ей слишком ответственным и для нее непосильным. В дневнике от 26 мая 1906 г. она заметила, кратко и точно изложив содержание письма Анны Григорьевны: «Достоевская задала мне задачу. Просит, чтобы я написала биографию Достоевского для Полного собрания его сочинений. Она была заказана Мережковскому, но тот написал так», что привел в ужас почитателей Федора Михайловича». На следующий день — 27 мая 1906 г. — в ее дневнике содержится следующая запись: «Сочиняла письмо Достоевской. Именно

⁷ См. об этом письмо А. Г. Достоевской к С. И. Смирновой от 6 февраля 1879 г. — ИРЛИ, ф. 285, № 126.

⁸ ИРЛИ, ф. 285, № 126.

сочиняла, отвечать отказом на такое предложение нелегко».⁹ Ответное письмо Смирновой Анне Григорьевне неизвестно.

Публикуемые дневниковые записи С. И. Смирновой за 1878—1880 гг. печатаются в извлечениях по автографу, хранящемся в Рукописном отделе Пушкинского Дома.¹⁰

1878

2 марта. Н. <Ф. Сазонов> вечером у Суворина, где справляют двухлетие газеты.¹ Много народу: Черняев,² Достоевский, Данилевский,³ Кюи,⁴ Мясоедов⁵ и пр.

1879

20 октября. Пришел Достоевский, не застал меня и ждал. Говорил, что хотел мне летом написать, да не знал моего адреса. Хвалил моего «Попечителя».⁶ Виктор⁷ очень жалеет, что не застал его. Он подержал пари, что в «Братьях Карамазовых» сын [непременно] убьет отца.⁸

1880

5 февраля. Только что села заниматься с англичанкой, приходит Достоевский. Жалуется на то, что никак не может всем угодить. Праздные и ничтожные люди отнимают у него время, да еще про него же распускают слухи, будто бы он при виде гостя идет к нему навстречу и спрашивает:

— Вы зачем, собственно, пришли?

Такую сплетню в лицо ему повторил Полонский,⁹ который с приездом Тургенева¹⁰ перестал его звать к себе.¹¹

На каком-то великосветском вечере Случевский собирался читать стихи,¹² но хозяйка наивно объясняла ему: «Мы вас не смеем просить, потому что здесь Федор Михайлович, а он

⁹ Там же, № 48, л. 500, 501. Юбилейное Полное собрание сочинений Достоевского вышло в свет с биографическим очерком о Достоевском С. Н. Булгакова. Здесь же было опубликовано открытое письмо Мережковского к А. Г. Достоевской от 15 (28) сентября 1906 г., где говорилось: «Мне понятны мысли и чувства, заставившие Вас признать неудобно для напечатания статью мою „Пророк русской революции“ <...> Высказанные в этой статье взгляды на некоторые самые заветные верования Ф. М. Достоевского — самодержавие, православие, народность — так не совпадают с установившимся в русском общественном мнении пониманием произведений этого писателя, что я тогда же согласился с Вами, что, может быть, подобной статье не место в классическом юбилейном издании» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1906, с. 1).

¹⁰ ИРЛИ, ф. 285, № 2, л. 3, 183, 195—196, 216—217, 238, 244, 246—251. — Отрывки из дневников, посвященные А. П. Чехову, опубликованы Н. И. Гитович. — Лит. наследство, т. 87. М., 1977, с. 304—318.

стихов не любит». Достоевский протестует. Случевский говорит: «Я слышал, что вы „наших“ стихов не любите». Однако стал читать и читал 1½ часа. Но перед всякой новой главой обращался к Достоевскому с вопросом, не надоел ли ему. — «И все это в обществе», — говорит Достоевский, — где сидят около 20 дам, совершенно мне незнакомых». Говорим о заграничной поездке. Достоевский советует мне быть непременно в Генуе, Неаполе и Венеции.

Только что вышла книжка «Русского вестника» с «Братями Карамзовыми».¹³ Достоевский еще не успел просмотреть ее, а уж как-то знакомая присылает к нему просить ее. Он говорит с досадой: «Ну как это можно». Только что посланная ушла, жена¹⁴ приходит укорять его, зачем громко сказал, в передней могли слышать. Достоевский со злостью вскакивает, хватая книгу и отвозит ее сам к этой знакомой.

15 февраля. Была у Достоевского. Он сидит больной, недавно был припадок. Рассказывает мне план своего романа.¹⁵ Говорит о верховной комиссии, о том, как Лорис-Меликов будет ловить революционеров, о том, что его воззвание «К обществу» плохо редактировано: «Попытки к покушению...».¹⁶

Достоевский ругает Петра,¹⁷ говорит, что это помещик, который на всю Россию смотрел как на свое поместье. Кораблики строил, это его забавляло, и денег на это ухлопал гибель, а какие результаты? Наш Петр Великий (броненосец), которого не могут двинуть с места. — Жесток и развратник, но развратничает-то по-своему: в такие-то часы и по столько-то. Сколько водки выпито, и то определено.

27 февраля. Вечером был опять Суворин. Предлагает издать мой роман.¹⁸ [Из его дальнейшего разговора я поняла, что обязана этим Достоевскому].

29 февраля. Целый день гости! Мамаша, Виктор, Николай Васильевич, Любовь Михайловна, Алекс. Фед. Свищов, Достоевский, Суворин <...>

Только что стала заниматься с англичанкой, пришел Достоевский. Говорит, что на казни Млодецкого¹⁹ народ глумился и кричал <...> Большой эффект произвело то, что Млодецкий поцеловал крест. Со всех сторон стали говорить: «Поцеловал! Крест поцеловал» <...>

Сказала Достоевскому, что ни за что не пойду вечером к Суворину, а пришел Суворин, позвал, и пошла. Суворин очень был рад, целовал мне руки.

В заграничных газетах пишут, что выстрел Млодецкого стоил России 12 миллионов. Пишут также, что вопрос о падении нашей династии — вопрос только времени. Нетерпеливые ожидания революции в России; фантастические иллюстрации с представлениями взрывов и поимки нигилистов <...>

Около 11 поехала к Суворину. Заехала к Н. <Ф. Сазонову> в театр. Там еще конец не скоро <...>

У Суворина спектакль, играют «Доходное место»²⁰ Жадов — Карабчевский,²¹ Полина — Анна Ивановна,²² Вышневецкий — Буренин, Кукушкина — жена Крамского,²³ Юленька — Коломна.²⁴ Сцена с кулак и зрители тут же на носу у актеров <...>

Шубинский²⁵ гов<орит>, что Суворин с 20-го числа вечером все тоскует и он в эти дни с ним об делах не гов<орит>. Знакомит меня с Лесковым.²⁶

Достоевский удивлен моему приезду. За ужином гов<орил> Суворину про себя, что он русский социалист и что напрасно это просмотрели в 1-й части «Братьев Карамазовых», где он это высказывал, объясняя, в чем состоит русский социализм — в делении государства на церковь.²⁷ <...> За ужином я сижу между Дост<оевским> и Суворинным. <...>

1 марта. Вернулись вчера в пятом часу: нынче оба встали с головной болью.

Достоевский называет Бисмарка глупцом.²⁸

¹ С 29 февраля 1876 г. А. С. Суворин при содействии В. И. Лихачева становится издателем газеты «Новое время» (см.: Краткий очерк издательской деятельности А. С. Суворина и развития принадлежащей ему типографии «Нового времени». СПб., 1900).

² Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898) — генерал, в 1875—1876 гг. издатель газеты «Русский мир», главнокомандующий сербской армией во время сербо-турецкой войны (1876).

³ Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель, в 1862 г. участвовал в журнале М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», с 1869 по 1890 г. был редактором «Правительственного вестника».

⁴ Кюи Цезарь Антонович (1835—1918) — композитор, музыкальный критик, участник русско-турецкой войны (1877—1878).

⁵ Мясоедов Григорий Григорьевич (1835—1911) — русский художник, один из организаторов Товарищества передвижных художественных выставок.

⁶ Роман С. И. Смирновой «Попечитель учебного округа». СПб., 1874.

⁷ Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — поэт, публицист, критик, автор сатирических фельетонов, пародий. В 60-е гг. сотрудничал в «Искре», «Отечественных записках». В 70-е гг. стал публицистом «Нового времени», входил в редакцию реакционной газеты А. С. Суворина.

⁸ В № 10 «Русского вестника» за 1879 г. была опубликована книга восьмая («Митя») третьей части романа «Братья Карамазовы».

⁹ Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт, друг Достоевского, сотрудник журналов «Время» и «Эпоха».

¹⁰ Тургенев приехал из Парижа в Петербург 28 января (9 февраля) 1880 г. и пробыл здесь до 17 (29) апреля 1880 г. (см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XII, кн. 2. Л., 1967, с. 210, 235).

¹¹ В Дневнике Е. А. Штакеншнейдер от 10 октября 1880 г. приведены слова Достоевского: «Полонский боится пускать нас в одну комнату с Тургеневым» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. II. М., 1964, с. 302). Об отношении Достоевского к Тургеневу см.: Никольский Ю. Тургенев и Достоевский. (История одной вражды). София, 1921. 108 с.; Долинин А. С. Тургенев в «Бесах». — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. II. Л.—М., 1924, с. 119—136.

¹² Возможно, речь идет об одном из вечеров Е. А. Штакеншнейдер, которую Достоевский часто посещал зимой 1879—1880 гг. На ее вечерах бывал и поэт К. К. Случевский (см.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. II, с. 302—303; Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.—Л., 1935, с. 290).

¹³ В № 1 «Русского вестника» за 1880 г. опубликована книга девятая третьей части романа «Братья Карамазовы», озаглавленная «Предварительное следствие».

¹⁴ Достоевская Анна Григорьевна.

¹⁵ Речь идет о романе «Братья Карамазовы», продолжение которого публиковалось в № 4, 7—11 «Русского вестника» за 1880 г. Возможно, Достоевский рассказывал Смирновой о «Проекте 4-й части» (15, 315).

¹⁶ С 12 февраля 1880 г. М. Т. Лорис-Меликов был назначен главным начальником «Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия» (см.: Указ правительствующему Сенату, подписанный Александром II 12 февраля 1880 г. — *Голос*, 1880, 15 (27) февраля, № 46). 14 февраля 1880 г. он выступил с воззванием «К жителям столицы», в котором изложил программу действий «Верховной комиссии» «в борьбе с преступными проявлениями, разрушающими основы начала гражданского порядка, без которого немислимо развитие никакого благоустроенного государства». Достоевский обратил внимание на следующую формулировку: «Ряд неслыханных злодейских попыток к потрясению общественного строя государства и к покушению на священную особу государя-императора...» (*Правительственный вестник*, 1880, 15 февраля; *Голос*, 1880, 16 (28) февраля, № 47).

¹⁷ Личность Петра I и значение его деятельности занимали Достоевского на протяжении всего его творчества (см., например: XVI, 37, 167, 416, 429, 430; XIX, 18).

¹⁸ Очевидно, роман С. И. Смирновой «У пристани» (*Отечественные записки*, 1879, № 10—12).

¹⁹ 20 февраля 1880 г. народоволец И. О. Млодецкий совершил покушение на М. Т. Лорис-Меликова. 22 февраля 1880 г. Млодецкий был казнен. Известно, что Достоевский присутствовал на этой казни (см.: Садовников в Д. Н. Встречи с И. С. Тургеневым («Пятницы» у поэта Я. П. Полонского в 1880 году). — *Русское прошлое*, 1923, № 3, с. 103. См. также запись в дневнике К. К. Романова от 26 февраля 1880 г. — *Лит. наследство*, т. 86. М., 1973, с. 137). В день покушения Млодецкого А. С. Суворин был у Достоевского (см.: *Дневник А. С. Суворина*. М.—Пг., 1923, с. 15).

²⁰ Эпизоду о домашнем спектакле у А. С. Суворина — постановке «Доходного места» А. Н. Островского — посвящены воспоминания А. И. Сувориной, не вошедшие в их частичную публикацию (Достоевский и его время. Л., 1971, с. 295—305). Суворина пишет: «На одном из наших домашних спектаклей присутствовал и Фед. Мих. Достоевский. Играли Островского „Доходное место“. Тогда эта пьеса имела громадный успех <...> Ставил пьесу у нас большой наш приятель Ник. Фед. Сазонов, Жадова играл Н. Пл. Карабчевский — красавец и знаменитый адвокат, очень талантливый актер и покоритель дамских сердец <...> Жену его глупенькую <...> Полину играла я, мою мать, т. е. тещу (типаж) Жадова, играла жена Ив. Ник. Крамского С. Н. Крамская, сестру мою, Юленьку играла дочь моего мужа belle fille А. Ал. Коломнина и Викт. Пет. Буренин играл генерала Вышнепского» (ИРЛИ, Р. 1, оп. 6, № 85, л. 33—34). Среди присутствовавших на спектакле А. И. Суворина называет также Я. П. Полонского, Д. В. Григоровича, Н. С. Лескова, Н. П. Вагнера.

²¹ Карабчевский Николай Платонович (1851—1925) — петербургский адвокат, ученый, член Лондонской Академии (см. о нем: Никитин Н. Преступный мир и его защитники. СПб., 1910, с. 224—225; *Петербургская газета*, 1903. 24 декабря, № 353).

²² Суворина Анна Ивановна, жена А. С. Суворина (см. о ней: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 295—296).

²³ Крамская Софья Николаевна (1840—1919), жена художника И. Н. Крамского.

²⁴ Коломнина А. Ал. — дочь А. С. Суворина, жена юриста, сотрудника «Нового времени» Алексея Петровича Коломнина (1848—1900).

²⁵ Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), историк, в 80-е гг. редактировал «Исторический вестник», издаваемый А. С. Сувориним.

²⁶ Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель, в 60-е гг. сотрудничал во «Времени» и «Эпохе». Об отношениях Лескова с редакцией этих журналов см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975, с. 124—126.

²⁷ Имеется в виду спор в келье старца Зосимы (в первой части «Братьев Карамазовых», глава «Буди, буди!» (14, 58); см. также комментарий Е. И. Кийко к «Братьям Карамазовым» (15, 417—418).

²⁸ Близкая оценка Бисмарка содержится в «Подростке»: «Быстрое понимание — лишь признак пошлости понимаемого. Идея Бисмарка стала вмиг гениальной, а сам Бисмарк — гением; но именно подозрительна эта быстрота: я жду Бисмарка через десять лет, и увидим тогда, что останется от его идеи, а может быть, и от самого господина канцлера» (13, 77). См. также письмо Достоевского к В. Ф. Пупыковичу от 23 августа (4 сентября) 1879 г. — Вопросы литературы, 1967, № 5, с. 167.

ИЗ НЕИЗДАННЫХ ПИСЕМ А. Н. МАЙКОВА О ДОСТОЕВСКОМ

(Публикация И. Г. Ямпольского)

В публикуемых ниже извлечениях из писем близкого друга Достоевского, поэта А. Н. Майкова 1860—1890-х годов содержатся некоторые биографические данные, оценки отдельных произведений Достоевского и его творчества в целом. Письма написаны в разное время и по разным поводам.

Все они хранятся в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Даты писем унифицированы.

Письма Достоевского к А. Н. Майкову см.: П., I—IV. Письма Майкова к Достоевскому частично опубликованы в кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Т. 2. Л.—М., 1924, с. 338—365. См. также письмо Майкова к П. А. Висковатову 1885 г. и рассказ Майкова о Достоевском и петрашевцах в записи А. А. Голенищева-Кутузова: 18, 191—195.

А. Н. Майков—А. И. Майковой

27 января 1864 г.

... Марья Дмитриевна ужасно как еще сделалась с виду-то хуже: желтая, кости да кожа, просто смерть на лице. Очень, очень мне обрадовалась, о тебе расспрашивала, но кашель обуздывает ее болтливость. Федор Мих(айлович) все ее тешит разными вздориками, порт-монетчиками, шкатулочками и т. п., и она, по-видимому, им очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадки падучей.

Автограф: ИРЛИ, ф. 168, № 16996, л. 258.

Письмо из Москвы. Первая жена Достоевского, урожд. Констант, в первом браке Исаева, умерла 15 апреля 1864 г. По свидетельству лечившего ее врача, в последние месяцы жизни она была не вполне нормальна (Гросман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.—Пг., 1922, с. 57).

А. Н. Майков—К. Д. Кавелину

24 сентября 1867 г.

Милостивый государь Константин Дмитриевич! Обращаюсь к Вам как к члену Комитета для пособия нуждающимся литераторам с просьбою о деле, которое, я уверен, вполне заслужит сочувствие как Ваше, так прочих гг. членов.

В настоящее время один из первоклассных наших писателей находится чуть не «на» краю гибели. Это Ф. М. Достоевский. Дело вот в чем.

Он, как Вам, может быть, известно, по смерти брата своего,¹ понадеясь на свои силы и, главное, дорожа его честью, тотчас по его кончине подписал векселей чуть не «на» 20 000. Из них он уплатил уже до 13 000, так что все, что доставил ему роман его «Преступление и наказание», который прочитала вся грамотная и читающая Россия (около 10 000 р.), пошло на эту уплату. Редакция «Русского вестника» за будущий роман² еще здесь в Петербурге выдала ему вперед 2000 р.; около 1500 он должен был выдать кредиторам, рублей 200 оставил на прожиток жене брата и ее семейству, а сам не более как с 300 р. выехал за границу с женою. Поехал он за границу не из прихоти, а потому, что одержим страшной падучей болезнью, припадками которой случались с ним реже и легче за границей, вдали от кредиторов. Рассчитывая на это более благоприятное влияние климата (и спокойствия), он думал там писать свой новый роман. Разумеется, денег (из 300, когда он сел в вагон, у него оставалось не более половины), взятых им, скоро оказалось

мало. М. Н. Катков два раза высылал ему за границу еще по просьбе Федора Михайловича. Эта благородная любезность решительно обезоруживает Федора Михайловича еще раз к нему обратиться, пока он, т. е. Федор Михайлович, не вышлет в «Русский вестник» половины романа. Но чтобы написать — нужны деньги — нужно жить, а между тем припадки продолжаются чаще и чаще, и с такою силой, что дней по пяти он потом не может прийти в себя.

Теперь он совсем без денег. Друзья выслали ему что могли, но это не много. Я и вздумал обратиться к Комитету с просьбой — обдумать, нет ли средств помочь писателю, о таланте и заслугах которого говорить в Обществе литераторов нечего!

Если Комитет найдет возможным что-нибудь для него сделать, прошу меня уведомить по адресу: в Большой Садовой, против Юсупова сада, в доме Шеффера.

С истинным почтением и с уверенностью, что глас мой не будет глаголом вопиющего в пустыне,

имею честь быть Вашим покорнейшим слугою

А. Майков.

Сентября 24 1867

Автограф: ф. 168, № 16644.

16 (28) августа 1867 г. Достоевский написал А. Н. Майкову из Женевы большое письмо, в котором рассказал о своем бедственном положении (П., II, 24—35). Он просил Майкова одолжить ему 150 рублей. Из следующего письма Достоевского — от 15 сентября 1867 г. (П., II, 36) — мы знаем, что Майков выполнил его просьбу. Вместе с тем Майков решил обратиться за помощью в Литературный фонд, секретарем Комитета которого был в это время К. Д. Кавелин. Но письмо к нему не было, по-видимому, отправлено, а в делах Литературного фонда нет никаких следов обращения Майкова. 3 ноября 1867 г. Майков писал Достоевскому: «Был здесь <С. Д.> Яновский и удержал меня от намерения достать для Вас из Литературного фонда хоть 100 рублей, говоря, что он постарается достать в Москве; он уведомил меня, что выслал Вам эту сумму» (Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы, сб. 2. Л.—М., 1924, с. 342).

¹ Речь идет о Михаиле Михайловиче Достоевском (1820—1864), писателе и редакторе-издателе журналов «Время» и «Эпоха».

² «Идиот».

3

А. Н. Майков—сыновьям Владимиру и Аполлону

26 ноября 1892 г.

... Неужели вы только теперь дошли до «Карамазовых»? Жалею, что у меня уж потускло впечатление отдельных сцен, осталось только общее — например, первая встреча и разговор Катерины Ивановны с Карамазовым, Зосима, Великий инквизитор, разгул в последней части. Одно там меня бесило — это

дети, маленькие Федоры Михайловичи. Во всяком случае произведение грандиозное. Ваши заметки тем более для меня интересны, что вы — потомство. А читали ли «Прес<тушение> и наказание»? «Бесы»? Если нет, то еще интересного найдете много. Все-таки Достоевский — писатель с высоким идеалом, отсутствие которого делает нынешнюю литературу — пустыню, хотя у Чеховых, Успенских и пр. язык действующих лиц натуральнее, живописнее. Но что все сии дары — без идеала? Материал — без художника. Увы! во всем оскудение духа! ...

Автограф: ф. 168, № 17892д, л. 240 об.

4

А. Н. Майков—сыну Аполлону

10 июля 1893 г.

... Читаю Золя — «Docteur Pascal» — немного осталось кончить.¹ Сильный талант, сильная рука, глубоко режущий стилет. Оторваться трудно, но изнемогаешь. Пускает много солнца, пурпурных зорь — но света душевного нет. Солнце — физическое. Саморазвитие материи. Взгляд на жизнь и мир с точки зрения самой материи. Идеала добра, красоты — никакого. Мыслящие пресмыкающиеся. Любовь — не облагораживающая, не духовный подвиг, чисто скотская, упоение «телом». Могучий талант, противный человек. Достоевский тоже ужасен иногда в изображении язв — но чувствуешь в душе автора высокий идеал, и содрогаясь от сцен, чувствуешь великую, христианскую высоту точки зрения автора. В мерзавцах и злодеях его чувствуешь уклонение от идеала — что чувствуют и эти его мерзавцы. Он мучит, но примиряет — и учит. Золя — талант, выросший на почве грубейшего, одностороннего, не сомневающегося материализма. Достоевского корни — в христианском учении ...

Автограф: ф. 168, № 17000, л. 9.

¹ «Доктор Паскаль» — последний роман из серии «Ругон-Маккары» — вышел в 1893 г. и в том же году появился на русском языке.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аверкиев Д. В. 195—198, 256
 Авсеенко В. Г. 5, 190
 Адлер В. 107
 Аксаков А. И. 256
 Аксаков И. С. 43, 48, 51, 52, 170
 Аксаков К. С. 43, 48, 51, 52, 170
 Александр II 241, 277
 Александров А. 124
 Александров М. А. 5, 6
 Алексеев В. А. 36
 Алексеев В. И. см. Митрофан (Алексеев В. И.)
 Алексеев М. П. 7, 159
 Ангелов Ю. К. 256,
 Андерсон Ш. 156
 Андреев И. И. 168, 170
 Андреев Л. Н. 213—217
 Анненков П. В. 127, 181
 Аннин П. А. 193, 195, 198—200
 Арденс Н. Н. 63
 Аристотель 236
 Астраков С. И. 182
 Астракова Т. А. 182
 Афанасьев А. Н. 256
 Ашукин Н. С. 185
 Ашукина М. Г. 185
- Б. Г. см. Глинский Б. Б.
 Бакунин М. А. 81, 82, 87, 268
 Бальзак О. де 7, 12, 77, 96, 165
 Барбье А.-О. 240
 Батюто А. И. 242
 Бахтин М. М. 7, 12, 54, 86, 132, 138, 163, 167
 Бебель А. 79
 Белинский В. Г. 5, 8, 57, 71, 77, 124, 127, 141, 199, 243
 Белобровцева И. З. 102
 Белов Е. А. 5, 257
 Бенедиктов В. Г. 259
 Бенгам Д. 160
 Берви В. В. 257
- Берне Л. 240
 Бернулли, семейство математиков 258
 Бернштейн А. 257
 Берсье Е. 257
 Берглю М. 121
 Бестужев-Рюмин К. Н. 244, 245
 Бехтерев В. М. 10
 Билинский Я. С. 102
 Бисмарк О. 276, 278
 Блок А. А. 215—217
 Блюм А. В. 192
 Боборыкин П. Д. 189, 190
 Богатинов Н. Д. 257
 Болтин А. 257
 Борисов И. А. см. Иннокентий, архиепископ
 Борисова М. 20, 21
 Боткин В. П. 65, 239
 Брюстер Д. 144
 Брянчанинов А. А. 257
 Брянчанинов Д. А. см. Игнатий, епископ
 Буданова Н. Ф. 188
 Булгаков С. Н. 274
 Бураковский А. З. 257
 Буренин В. П. 184, 257, 269, 272, 276, 277
 Бурдин Ф. А. 272
 Бурсов Б. И. 8
 Бэн А. 257
 Бялый Г. А. 140, 143, 209
- Вагнер Н. П. 257, 277
 Васильев А. В. 258
 Васильева Г. А. 141, 209
 Веймарн П. П. 269
 Вейнберг А. 258
 Вейнберг П. И. 18, 239—253
 Вельтман А. Ф. 14
 Величковский П. 258
 Ветловская В. Е. 8

- Вильмен 183, 184
 Виноградов В. В. 4, 7, 102, 143
 Вишпер Ю. Ф. 258
 Висковатов П. А. 278
 Войнич Э.-Л. 160
 Волконский М. С. 204
 Вольтер Фр.-М.-А. 258
 Вольф М. О. 184
 Вулф Т. 144—150, 156
 Вьёсе Дж. П. 175

 Г... Л. 259
 Гаварни П. 180
 Гаевский В. П. 204, 248
 Галактионов А. 48
 Гаршин Е. М. 269, 271
 Гатцук А. 261
 Гашкене-Червинскене Е. см. Червинскене Е. П.
 Гебра Ф. 258
 Гегель И.-Ф. 90
 Гедройц А. Н. 175
 Гей Н. К. 62
 Гейне Г. 231, 240
 Гейне из Тамбова см. Вейнберг П. И.
 Гейсмар М. 144
 Георгиевский А. И. 193, 197
 Герасимова А. Ф. 252
 Гербель Н. В. 239, 258
 Герден А. И. 8, 15, 42, 53, 54, 60, 81, 82, 113, 141, 169, 181—183, 269
 Герье В. И. 269, 270
 Гессен И. В. 186
 Гете И.-В. 13—15, 93, 237, 240, 269
 Гиллебрандт К. 184
 Гитович Н. И. 274
 Гладстон В.-В. 259
 Глинка М. И. 269, 271
 Глинский Б. Б. 240, 241
 Говоров К. 204
 Гоголь Н. В. 7, 29, 55, 96—98, 102, 126—128, 133, 141, 188, 242, 243, 250—252
 Годвин У. 159—167
 Гойя Ф. 214
 Голенищев-Кутузов А. А. 278
 Голохвастова О. 259
 Гольбейн Г. 77, 94, 95
 Гомер 19
 Гончаров И. А. 96, 98, 100, 239, 242, 272
 Горбач В. И. 46
 Горемыкин 259
 Горький М. 75, 85, 204
 Гофман Э.-Т.-А. 150
 Григорий VI, патриарх 265
 Григорович Д. В. 239, 242, 250—253, 277
 Григорьев Ап. А. 168—173

 Гроссман Л. П. 7, 20, 98, 99, 137, 187, 213, 245, 250—256, 277, 279
 Грот Нат. 259
 Гуральник У. А. 45, 168
 Гурко Л. 157
 Гусев А. 259
 Гюго В. 7, 12, 21, 87, 97, 174, 240, 267

 Давилль Л. 259
 Даль В. И. 191, 259
 Данилевский Г. П. 274, 276
 Данилевский Н. Я. 170
 Дюринг Ф. 122
 Данте 231, 232, 234
 Дауденс Э. 259
 Де Воллан Г. А. 259
 Делакура И. 259
 Делянов И. Д. 197
 Де Пуле М. Ф. 171
 Десяткина Л. П. 256
 Дефо Д. 160
 Джеймс Г. 150, 151
 Дибелиус В. 160
 Диккенс Ч. 7, 12, 145, 159, 165
 Дмитриев А. Д. 193, 195
 Дмитриев Н. Н. 258
 Добролюбов Н. А. 5, 57, 81, 134
 Долинин А. С. 7, 14, 20, 151, 169, 243, 248, 276
 Достоевская А. Г. 94, 202, 203, 244—251, 255, 258, 269, 272—274, 277
 Достоевская М. Д. 279
 Достоевский А. М. 271
 Достоевский М. М. 169, 173, 269, 280
 Достоевский Ф. Ф. 254, 255
 Драгоманов М. П. 259
 Дружинин А. В. 65, 239, 242
 Дюма А. 80
 Дюринг Е. 122
 Дьяков А. А. 259

 Евгения Максимилиановна, принцесса Ольденбургская 249
 Евнин Ф. И. 8
 Егоров Б. Ф. 60

 Зайончковская Н. Д. 271
 Замоиский С. Г. 184
 Зарубин П. А. 260
 Зверев И. П. 195
 Зельдович М. Г. 60
 Злобин Г. 152
 Золя Э. 288

 Ибсен Г. 240
 Иван IV (Грозный) 38
 Иванов Вяч. И. 218—238
 Иванов Д. Л. 260

- Иванцов-Платонов А. М. 260, 269
 Игнатий, епископ 260
 Имрек см. Аксаков К. С.
 Иннокентий, архиепископ 260, 270
 Иосиф, архимандрит 203, 204
 Исаева М. Д. см. Достоевская М. Д.
 Ишимова А. О. 260
 Ищук Г. Н. 55, 66
- Кавелин К. Д. 279, 280
 Каминский В. И. 209
 Кант И. 90, 236
 Кантакузен М. Р. 193
 Капустин С. Я. 260
 Карабчевский Н. П. 276, 277
 Каракозов Д. В. 79, 241
 Карамзин Н. М. 188, 190
 Катков М. Н. 4, 45, 184, 241, 280
 Кашина Н. В. 63
 Квинси Т. де 7
 Кеплер И. 162
 Кийко Е. И. 118, 278
 Киреевский И. В. 15
 Кирпотин В. Я. 50, 51, 140
 Кишенский Д. Д. 49
 Ковалевский Е. П. 198
 Коган Г. Ф. 3, 241, 243, 252
 Кожевников В. А. 118
 Коломнин А. П. 278
 Коломнина А. А. 276—278
 Комарович В. Л. 8, 231
 Комиссаржевская В. Ф. 272
 Кони А. Ф. 19, 191, 272
 Константин М. Д. см. Достоевская М. Д.
 Костяков В. 154
 Котов А. К. 209
 Короленко В. Г. 123—143, 206—217
 Кочетов А. У. 195
 Кошелев А. И. 48
 Коялович М. 261
 Крамская С. Н. 276—278
 Крамской И. Н. 276—278
 Кривенко С. Н. 272
 Кроненберг С. Л. 187
 Кронрод И. А. 211
 Крылов И. А. 265
 Куприянова Е. Н. 59
 Курянов П. З. 243
 Кюри Ц. А. 274, 276
- Лакшин В. Я. 190
 Ландор М. 156
 Ларус П. 180
 Лассаль Ф. 240
 Лебедев В. К. 192, 196
 Лебедев Н. А. 261
 Левин Ю. Д. 240
 Леметр Ф. 181
- Ленин В. И. 48, 76, 81, 84
 Леонов Л. М. 9, 86
 Леонтьев К. Н. 70
 Лермонтов М. Ю. 15, 16, 21, 29, 151, 207, 261
 Лернер О. М. 261
 Леруа А. 177
 Лесков Н. С. 189, 261, 272, 276—278
 Ликург 162
 Линниченко А. И. 261
 Лихачев В. И. 276
 Лихачев Д. С. 8, 101
 Ломунов К. Н. 67
 Лорис-Меликов М. Т. 275, 277
 Лосев А. Ф. 41
 Луговой Ал. 240, 242
 Луначарский А. В. 68, 75, 81, 83, 89
 Любимов Н. А. 190
 Любимов Н. М. 191
- Маевский Т. А. 193
 Майков А. А. 280, 281
 Майков А. Н. 193, 204, 241, 242, 261, 278—281
 Майков В. А. 280
 Майков Н. А. 198, 204, 205
 Майкова А. И. 279
 Макарий (Мирослобов Н. К.) 261
 Манн Т. 75, 76, 80, 153
 Марин С. Н. 190
 Марк Подвижник 262
 Маркевич Б. М. 184
 Марков Е. Л. 184—187
 Маркс К. 41, 48, 51, 55, 81, 106, 107, 160, 268
 Мартынов А. А. 262
 Машинский С. О. 66
 Менчиц В. А. 262
 Мережковский Д. С. 76, 99, 101, 211, 273, 274
 Месерич И. 15
 Мещерский В. П. 5
 Мизантропов Н. см. Пятковский А. П.
 Миллер О. Ф. 193, 270
 Милль Д.-С. 265
 Мирослобов Н. К. см. Макарий (Мирослобов Н. К.)
 Митрофан (Алексеев В. И.) 262, 270
 Михайлов М. Л. 241
 Михайловский Н. К. 99, 114, 115, 122, 136, 187, 206
 Михельсон М. И. 184
 Мицкевич А. 240
 Млодецкий И. О. 275, 277
 Монастырский С. 270
 Монтеверде П. А. 178—180, 182
 Мордовцев Д. Л. 250
 Морозова Т. Г. 206
 Мотылева Т. А. 8, 144

- Моэм С. 150
 Мышкин И. Н. 81
 Мясоедов Г. Г. 274, 276
- Назирова Р. Г.** 8, 15—18, 58
 Наполеон I 162, 221
 Наставин А. 262
 Нейман И. 258
 Некрасов Н. А. 71, 189, 207, 239, 240, 242, 259, 271, 272
 Нелединский-Мелецкий Ю. А. 262
 Немирович-Данченко Вл. И. 128
 Нечаев С. Г. 86
 Нечаева В. С. 279
 Никандров П. 48
 Никитин Н. 277
 Николаи К.-Ф. 176
 Николаев П. А. 60
 Никольский Ю. 276
 Нильский И. Ф. 265
 Нобл Д. 154, 155
 Нотнагель Г. 270
 Ньютон И. 162
- Овсянников С. Т.** 186
 Огарев Н. П. 82
 Одинокое В. Г. 73
 Одоевский В. Ф. 15—18
 Олсон Д. 145
 Ольга Н. см. Энгельгардт С. В.
 Орликов К. 263
 Орлова Р. 156
 Островский А. Н. 29, 173, 272, 277, 278
- Павлов И. П.** 10
 Пантелеев Л. Ф. 243
 Пантюхов И. 263
 Паскаль Б. 145
 Переверзев В. Ф. 15, 83, 99
 Песталоцци Г. 92
 Петерсон Н. П. 119, 120, 122
 Петр I 29, 31, 32, 35, 38, 39, 52, 53, 194, 224, 275, 277
 Петрашевский М. В. 71
 Петров П. см. Монтеверде П. А.
 Пиа Ф. 181, 182
 Пиксанов Н. К. 123
 Писарев Д. И. 199
 Писемский А. Ф. 242
 Пифагор 258
 Платон 233, 234
 Платонов А. П. 123
 Плещеев А. Н. 240, 250
 По Э. 150, 214
 Победоносцев К. П. 70, 203, 263
 Погодин М. П. 4, 5
 Поддубная Р. Н. 21
 Покровский С. П. 270
 Полонский И. А. 6
- Полонский Я. П. 263, 272, 274—277
 Полотебнов А. 259
 Порецкий У. А. 5
 Потехин А. А. 250, 272
 Потехин Н. А. 272
 Потехин П. А. 186
 Прозоров В. Н. 66
 Прудков Н. И. 8, 42
 Пуцыкович В. Ф. 5, 278
 Пушкин А. С. 15, 16, 21, 25, 29, 30, 45, 57, 58, 100, 126, 151, 165, 171—173, 207, 221, 252, 268
 Пыпин А. Н. 188, 189, 261
 Пырьев И. А. 104
 Пыхачева Л. А. 242, 252
 Пэйр Г. 155
 Пятковский А. П. 187
- Радонежский А. А.** 193, 198
 Рачинский А. К. 205
 Рашевский И. Ф. 242, 248
 Редклиф Э. 160, 167
 Рейзов Б. Г. 7
 Респан Э. 106—122
 Решетников Ф. М. 5
 Рид Г. 167
 Ричардсон С. 160
 Ришар Л. Ф. 262
 Родевич М. В. 193
 Розенблюм Л. М. 8, 10, 19
 Рокелор Г.-Ж.-Б. 176, 177
 Роллан Р. 80
 Романов К. К. 277
 Романов Н. К. 263
 Роменский В. А. 263
 Ростовцев Я. И. 264
 Россбах Т. Г. 270
 Рот К. 263
 Рукавишников Н. В. 269, 270
 Ру-ский 263
 Руссо Ж.-Ж. 56, 84, 92
 Рюккерт Ф. 216, 217
- Савельев А.** 270
 Савина М. Г. 272
 Садовников Д. Н. 277
 Сазонов Н. Ф. 271—277
 Сазонова С. И. см. Смирнова (Сазонова) С. И.
 Салов И. А. 271
 Салов Н. Н. 263
 Салтыков-Щедрин М. Е. 85, 189, 240, 263, 270, 271
 Самарин Ю. Ф. 50, 170, 270
 Санд Ж. 7, 159, 182, 268
 Свищов А. Ф. 275
 Седкова С. К. 19—21
 Селиванов А. Ф. 198
 Селин А. И. 264, 264
 Семека В. А. 195, 198

- Семенов Е. И. 116
 Семенов Н. П. 264
 Сен-Симон К.-А. 23
 Сент-Бёв О. 183, 184, 268
 Сент-Илер К.-К. 193
 Сервантес М. де Сааведра 84
 Сергиевский Н. А. 269
 Сидоров М. 264
 Симеон Богопримец 269
 Скребицкий А. 264
 Славгородская Л. В. 95
 Слонимский А. Л. 11
 Случевский К. К. 198, 274, 275, 277
 Смирнова (Сазонова) С. И. 18, 271—278
 Соколов А. Ф. 198
 Соколов Т. С. см. Тихон, епископ
 Соловьев В. 264
 Соловьев С. М. 99, 260, 270, 271
 Солон 162
 Соркина Д. А. 109
 Софокл 224, 236
 Спасович В. Д. 184—188, 191
 Сперанский М. М. 188
 Спешнев Н. А. 71
 Старцев А. 154
 Стасюлевич М. М. 271
 Стейнбек Д. 144, 156—158
 Степанов Н. А. 243
 Стоюнин В. Я. 193, 202
 Страхов Н. Н. 3—6, 50, 108—122, 168—175, 188, 189, 199, 241, 265, 271
 Суворин А. С. 4, 171, 186, 187, 272, 274—277
 Суворина А. И. 276—278
 Сулье Ф. 7
 Сю Э. 7, 268
- Тарновская В. П. 242, 252
 Теодорович А. И. 193
 Тихон, епископ 265
 Тихонов А. А. см. Луговой Ал.
 Толстая А. А. 242, 249
 Толстой А. К. 265
 Толстой Л. Н. 15, 23, 24, 31, 45, 46, 55—67, 84, 98, 99, 104, 105, 114, 115, 117, 143, 151, 207, 249, 271
 Травес Ш.-Ж. 180
 Траншель А. 244
 Трефолев Л. Н. 265
 Туниманов В. А. 15, 20, 59
 Тургенев И. С. 29, 39, 40, 45, 84, 89, 97, 99, 105, 189, 204, 206, 207, 239, 242, 265, 272, 276, 277
 Тэн И. 183, 184, 268
 Тютчев Ф. И. 101
- Уоллес А.-Р. 259
 Успенский Гл. И. 5, 206
- Успенский Н. В. 65
 Ухтомский А. А. 10
- Фадеев Р. А. 116
 Фаррар Ф.-В. 265
 Федин К. А. 76, 100
 Федоров В. В. 195
 Федоров Н. В. 118—120
 Фет А. А. 265, 266
 Филдинг Г. 160
 Филиппов П. И. 265
 Филонов А. Г. 195
 Флобер Г. 80, 166
 Флоринский В. М. 197, 201
 Фолкнер У. 144, 151—156
 Фомин А. Г. 240
 Фонвизин Д. И. 264
 Фонвизина Н. Д. 109
 Фридлендер Г. М. 42, 43, 63, 121, 165, 173—175, 216
 Фурье Ш. 23, 60
- Хвольсон Д. А. 265
 Хемингуэй Э. 94, 156
 Хемницер И. И. 265
 Хитрово В. Н. 195, 198
 Ходотов Н. Н. 213, 214
 Хомяков А. С. 48, 265
 Храпченко М. Б. 8, 90
 Хрущов И. П. 193—195
 Худеков С. Н. 4
- Цвейг Ст. 76, 89
 Цедербаум А. О. 244
 Цейзинг А. 258
 Цейтлин А. Г. 7
 Цехновицер О. В. 159
 Цимбаев Н. И. 47, 48
- Чаадаев П. Я. 15
 Чаев Н. А. 266
 Человеков Ф. см. Платонов А. П.
 Червианскене Е. П. 74
 Черепин Л. В. 27
 Черепнин Н. П. 258
 Чернышевский Н. Г. 5, 82, 89, 136, 142, 159, 167
 Черняев М. Г. 274, 276
 Чехов А. П. 68, 73, 98, 204, 272, 274
 Чиж В. Ф. 199
 Чирков Н. М. 7, 98
 Чичерин А. В. 8, 102, 103
 Чугаевич П. 266
 Чудновский С. Л. 266
 Чудновский Ю. 266
- Шахова Е. 266
 Шевченко Т. Г. 117
 Шекспир В. 12, 19, 77, 239, 240, 259
 Шелгунов Н. В. 241

- Шеллинг Ф.-В.-И. 64
 Шемякин В. И. 193
 Шепфер К. 266
 Шестакова Л. И. 271
 Шиллер Фр. 11, 86
 Шкловский В. Б. 7, 102
 Шкляревский А. А. 266
 Шляпкин И. А. 205
 Шмидт Ю. 183, 184
 Шмулевич Я. М. 266
 Шолохов М. А. 94
 Шошенгауэр А. 266
 Штакеншнейдер Е. А. 170, 276, 277
 Шубинский С. Н. 276, 278
 Штраус Д.-Ф. 106
 Шульговский Д. Н. 258
- Щенников Г. К. 57, 63
 Щепкин М. С. 182
 Щербинский О. 184
- Эдельсон Е. Н. 170
 Элиасберг А. 76
 Энгельгардт Б. М. 54
 Энгельгардт Н. О. 205
 Энгельгардт С. В. 266
 Энгельс Ф. 41, 48, 51, 53, 106, 107, 159, 160
 Эсуэлл Э. 148
 Эсхил 11, 222—224, 236
- Юзефович М. В. 266
 Юнг К. 218
 Юркевич П. Д. 256
- Яновский С. Д. 280
 Яньшев И. 261, 267
 Ясинский И. И. 272
- Anderson Q. 151
- Bakounin см. Бакунин М. А.
 Bertaud L.-A. 180
 Brewster D. см. Брюстер Д.
- Carlyle Th. 267
 Charras J.-B. 267
 Corneille P. 267
- D'Arzac J. 267
 Desbarolles Ad. 267
 Dibelius W. см. Дибеллюс В.
 Du Camp M. 267
 Dostoiewsky A. см. Достоевский А. М.
- Figuier L.-C. 267
- Hugo V. см. Гюго В.
- Gurko L. см. Гурко Л.
- Ivanov V. см. Иванов Вяч. И.
- Kireieff O. 268
- Mann Th. см. Манн Т.
 Marx K. см. Маркс К.
 Mazzini D. 268
 Molière J.-B. 268
- Noble D.-W. см. Нобл Д.
- Peyre H. см. Пейр Г.
 Pouchkine A. см. Пушкин А. С.
- Racine J. 268
 Read H. см. Рид Г.
 Renan E. см. Ренан Э.
- Sainte-Beuve O. см. Сент-Бёв О.
 Sand G. см. Санд Ж.
 Scott W. 268
 Sue E. см. Сю Е.
- Taine H. см. Тэн И.
- Vieusseux G.-P. см. Вьёссё Дж. П.
- Watt F.-W. 157
 Wolfe Th. см. Вулф Т.
- Zweig St. см. Цвейг С.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Ф. М. Достоевский. Неопубликованное письмо к Н. Н. Страхову (публикация Г. Ф. Коган, Москва)	3
СТАТЬИ	
Г. М. Фридлиндер. О некоторых очередных задачах и проблемах изучения Достоевского	7
В. И. Кайгородов (Тобольск). Об историзме Достоевского	27
В. П. Попов (Краснодар). Проблема народа у Достоевского	41
Г. К. Щенников (Свердловск). Об эстетических идеалах Достоевского	55
Е. П. Червинскене (Вильнюс). Свобода личности в мире идей Достоевского	68
Р. Опитц (ГДР). Человечность Достоевского (роман «Идиот»)	75
А. П. Чудаков (Москва). Предметный мир Достоевского	96
Е. И. Кийко. Достоевский и Ренан	106
Т. Г. Морозова (Москва). Рассказ В. Г. Короленко «Ат-Давап» и традиции Достоевского	123
Ю. И. Сохряков (Ленинкан). Традиции Достоевского в восприятии Т. Вулфа, У. Фолкнера и Д. Стейнбека	144
СООБЩЕНИЯ. ЗАМЕТКИ	
Р. Г. Назиров (Уфа). Достоевский и роман У. Годвина	159
А. Л. Осповат (Москва). Заметки о почвенничестве	168
Достоевский — абонент флорентийской читальни	174
В. Д. Рак. Дополнения к комментарию «Полного собрания сочинений» Ф. М. Достоевского	176
М. Д. Эльзон. Две заметки к роману «Бесы»	188
В. Е. Ветловская. «Братья Карамазовы». Дополнения к комментарию	190
И. Л. Волгин (Москва). Достоевский и правительственная политика в области просвещения (1881—1917)	192
Ф. И. Евнин (Москва). Достоевский и русская литература конца XIX—начала XX века (заметки)	206
ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ	
И. Б. Роднянская (Москва). Вяч. И. Иванов. Свобода и трагическая жизнь. Исследование о Достоевском. (Реферат)	218
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Письма П. И. Вейнберга к Достоевскому (публикация Г. В. Степановой)	239
Л. П. Десяткина, Г. М. Фридлиндер. Библиотека Достоевского (новые материалы)	253
Н. Н. Мостовская. Достоевский в дневниках С. И. Смирновой (Сазоновой)	271
Из неизданных писем А. Н. Майкова о Достоевском (публикация И. Г. Ямпольского)	278
Указатель имен	282